Гиляровский Владимир
Собрание сочинений в четырех томах
Том 4. Москва и москвичи. Стихотворения и экспромты

Москва и москвичи

От автора

Я — москвич! Сколь счастлив тот, кто может произнести это слово, вкладывая в него всего себя, Я — москвич!

…Минувшее проходит предо мною…

Привожу слова пушкинского Пимена, но я его несравненно богаче: на пестром фоне хорошо знакомого мне прошлого, где уже умирающего, где окончательно исчезнувшего, я вижу растущую не по дням, а по часам новую Москву. Она ширится, стремится вверх и вниз, в неведомую доселе стратосферу и в подземные глубины метро, освещенные электричеством, сверкающие мрамором чудесных зал.

…В «гранит одетая» Москва-река окаймлена теперь тенистыми бульварами. От них сбегают широкие каменные лестницы. Скоро они омоются новыми волнами: Волга с каждым днем приближается к Москве.

Когда-то на месте этой каменной лестницы, на Болоте, против Кремля, стояла на шесте голова Степана Разина, казненного здесь. Там, где недавно, еще на моей памяти, были болота, теперь — асфальтированные улицы, прямые, широкие. Исчезают нестройные ряды устарелых домишек, на их месте растут новые, огромные дворцы. Один за другим поднимаются первоклассные заводы. Недавние гнилые окраины уже слились с центром и почти не уступают ему по благоустройству, а ближние деревни становятся участками столицы. В них входят стадионы — эти московские колизеи, где десятки и сотни тысяч здоровой молодежи развивают свои силы, подготовляют себя к геройским подвигам и во льдах Арктики, и в мертвой пустыне Кара-Кумов, и на «Крыше мира», и в ледниках Кавказа.

Москва вводится в план. Но чтобы создать новую Москву на месте старой, почти тысячу лет строившейся кусочками, где какой удобен для строителя, нужны особые, невиданные доселе силы…

Это стало возможно только в стране, где Советская власть.

Москва уже на пути к тому, чтобы сделаться первым городом мира. Это на наших глазах.

…Грядущее проходит предо мною…

И минувшее проходит предо мной. Уже теперь во многом оно непонятно для молодежи, а скоро исчезнет совсем. И чтобы знали жители новой столицы, каких трудов стоило их отцам выстроить новую жизнь на месте старой, они должны узнать, какова была старая Москва, как и какие люди бытовали в ней.

И вот «на старости я сызнова живу» двумя жизнями; «старой» и «новой». Старая — фон новой, который должен отразить величие второй. И моя работа делает меня молодым и счастливым — меня, прожившего и живущего

На грани двух столетий, На переломе двух миров.

Москва, декабрь 1934 г.

В Москве

Наш полупустой поезд остановился на темной наружной платформе Ярославского вокзала, и мы вышли на площадь, миновав галдевших извозчиков, штурмовавших богатых

пассажиров и не удостоивших нас своим вниманием. Мы зашагали, скользя и спотыкаясь, по скрытым снегом неровностям, ничего не видя ни под ногами, ни впереди. Безветренный снег валил густыми хлопьями, сквозь его живую вуаль изредка виднелись какие-то светлевшие пятна, и, только наткнувшись на деревянный столб, можно было удостовериться, что это фонарь для освещения улиц, но он освещал только собственные стекла, залепленные сырым снегом.

Мы шли со своими сундучками за плечами. Иногда нас перегоняли пассажиры, успевшие нанять извозчика. Но и те проехали. Полная тишина, безлюдье и белый снег, переходящий в неведомую и невидимую даль. Мы знаем только, что цель нашего пути — Лефортово, или, как говорил наш вожак, коренной москвич, «Лафортово».

— Во, это Рязанский вокзал! — указал он на темневший силуэт длинного, неосвещенного здания со светлым круглым пятном наверху; это оказались часы, освещенные изнутри и показывавшие половину второго.

Миновали вокзалы, переползли через сугроб и опять зашагали посредине узких переулков вдоль заборов, разделенных деревянными домишками и запертыми наглухо воротами. Маленькие окна отсвечивали кое-где желто-красным пятнышком лампадки… Темь, тишина, сон беспробудный.

Вдали два раза ударил колокол — два часа! — Это на Басманной. А это Ольховцы… — пояснил вожатый. И вдруг запел петухом:

— Ку-ка-ре-ку!..

Мы оторопели: что он, с ума спятил?

А он еще…

И вдруг — сначала в одном дворе, а потом и в соседних ему ответили проснувшиеся петухи. Удивленные несвоевременным пением петухов, сначала испуганно, а потом зло залились собаки. Ольховцы ожили. Кое-где засветились окна, кое-где во дворах застучали засовы, захлопали двери, послышались удивленные голоса: «Что за диво! В два часа ночи поют петухи!»

Мой друг Костя Чернов залаял по-собачьи; это он умел замечательно, а потом завыл по-волчьи. Мы его поддержали. Слышно было, как собаки гремят цепями и бесятся.

Мы уже весело шагали по Басманной, совершенно безлюдной и тоже темной. Иногда натыкались на тумбы, занесенные мягким снегом. Еще площадь. Большой фонарь освещает над нами подобие окна с темными и непонятными фигурами.

— Это Разгуляй, а это дом колдуна Брюса, — пояснил Костя.

Так меня встретила в первый раз Москва в октябре 1873 года.

Из Лефортова в Хамовники

На другой день после приезда в Москву мне пришлось из Лефортова отправиться в Хамовники, в Теплый переулок. Денег в кармане в обрез: два двугривенных да медяки. А погода такая, что сапог больше изорвешь. Обледенелые нечищеные тротуары да талый снег на огромных булыгах. Зима еще не устоялась.

На углу Гороховой — единственный извозчик, старик, в армяке, подпоясанном обрывками вылинявшей вожжи, в рыжей, овчинной шапке, из которой султаном торчит кусок пакли. Пузатая мохнатая лошаденка запряжена в пошевни — низкие лубочные санки с низким сиденьем для пассажиров и перекинутой в передней части дощечкой для извозчика. Сбруя и вожжи веревочные. За подпояской кнут.

— Дедушка, в Хамовники!

— Кое место?

— В Теплый переулок.

— Двоегривенный.

Мне показалось это очень дорого.

— Гривенник.

Ему показалось это очень дешево. Я пошел. Он двинулся за мной.

— Последнее слово — пятиалтынный? Без почину стою…

Шагов через десять он опять:

— Последнее слово — двенадцать копеек…

— Ладно.

Извозчик бьет кнутом лошаденку. Скользим легко то по снегу, то по оголенным мокрым булыгам, благо широкие деревенские полозья без железных подрезов. Они скользят, а не режут, как у городских санок. Зато на всех косогорах и уклонах горбатой улицы сани раскатываются, тащат за собой избочившуюся лошадь и ударяются широкими отводами о деревянные тумбы. Приходится держаться за спинку, чтобы не вылететь из саней.

Вдруг извозчик оборачивается, глядит на меня:

— А ты не сбежишь у меня? А то бывает: везешь, везешь, а он в проходные ворота — юрк!

— Куда мне сбежать — я первый день в Москве…

— То-то!

Жалуется на дорогу:

— Хотел сегодня на хозяйской гитаре выехать, а то туда, к Кремлю, мостовые совсем оголели…

— На чем? — спрашиваю. — На гитаре?

— Ну да, на колибере… вон на таком, гляди.

Из переулка поворачивал на такой же, как и наша, косматой лошаденке странный экипаж. Действительно, какая-то гитара на колесах. А впереди — сиденье для кучера. На этой «гитаре» ехали купчиха в салопе с куньим воротником, лицом и ногами в левую сторону, и чиновник в фуражке с кокардой, с портфелем, повернутый весь в правую сторону, к нам лицом.

Так я в первый раз увидел колибер, уже уступивший место дрожкам, высокому экипажу с дрожащим при езде кузовом, задняя часть которого лежала на высоких, полукругом, рессорах. Впоследствии дрожки были положены на плоские рессоры и стали называться, да и теперь зовутся, пролетками.

Мы ехали по Немецкой. Извозчик разговорился:

— Эту лошадь — завтра в деревню. Вчера на Конной у Илюшина взял за сорок рублей киргизку… Добрая. Четыре года. Износу ей не будет… На той неделе обоз с рыбой из-за Волги пришел. Ну, барышники у них лошадей укупили, а с нас вдвое берут. Зато в долг. Каждый понедельник трешку плати. Легко разве? Так все извозчики обзаводятся. Сибиряки привезут товар в Москву и половину лошадей распродадут…

Переезжаем Садовую. У Земляного вала — вдруг суматоха. По всем улицам извозчики, кучера, ломовики нахлестывают лошадей и жмутся к самым тротуарам. Мой возница остановился на углу Садовой.

Вдали звенят колокольчики.

Извозчик обернулся ко мне и испуганно шепчет:

— Кульеры! Гляди!

Колокольцы заливаются близко, слышны топот и окрики.

Вдоль Садовой, со стороны Сухаревки, бешено мчатся одна за другой две прекрасные одинаковые рыжие тройки в одинаковых новых коротеньких тележках. На той и на другой — разудалые ямщики, в шляпенках с павлиньими перьями, с гиканьем и свистом машут кнутами. В каждой тройке по два одинаковых пассажира: слева жандарм в серой шинели, а справа молодой человек в штатском.

Промелькнули бешеные тройки, и улица приняла обычный вид.

— Кто это? — спрашиваю.

— Жандармы. Из Питера в Сибирь везут. Должно, важнеющих каких. Новиков-сын на первой сам едет. Это его самолучшая тройка. Кульерская. Я рядом с Новиковым на дворе стою, нагляделся.

..Жандарм с усищами в аршин. А рядом с ним какой-то бледный Лет в девятнадцать господин… — вспоминаю Некрасова, глядя на живую иллюстрацию его стихов.

— В Сибирь на каторгу везут: это — которые супротив царя идут, — пояснил полушепотом старик, оборачиваясь и наклоняясь ко мне.

У Ильинских ворот он указал на широкую площадь. На ней стояли десятки линеек с облезлыми крупными лошадьми. Оборванные кучера и хозяева линеек суетились. Кто торговался с нанимателями, кто усаживал пассажиров: в Останкино, за Крестовскую заставу, в Петровский парк, куда линейки совершали правильные рейсы. Одну линейку занимал синодальный хор, певчие переругивались басами и дискантами на всю площадь.

— Куда-нибудь на похороны или на свадьбу везут, — пояснил мой возница и добавил: — Сейчас на Лубянке лошадку попоим. Давай копейку: пойло за счет седока.

Я исполнил его требование.

— Вот проклятущие! Чужих со своим ведром не пущают к фанталу, а за ихнее копейку выплачивай сторожу в будке. А тот с начальством делится.

Лубянская площадь — один из центров города. Против дома Мосолова (на углу Большой Лубянки) была биржа наемных экипажей допотопного вида, в которых провожали покойников. Там же стояло несколько более приличных карет; баре и дельцы, не имевшие собственных выездов, нанимали их для визитов. Вдоль всего тротуара — от Мясницкой до Лубянки, против «Гусенковского» извозчичьего трактира, стояли сплошь — мордами на площадь, а экипажами к тротуарам — запряжки легковых извозчиков. На морды лошадей были надеты торбы или висели на оглобле веревочные мешки, из которых торчало сено. Лошади кормились, пока их хозяева пили чай. Тысячи воробьев и голубей, шныряя безбоязненно под ногами, подбирали овес.

Из трактира выбегали извозчики — в расстегнутых синих халатах, с ведром в руке — к фонтану, платили копейку сторожу, черпали грязными ведрами воду и поили лошадей. Набрасывались на прохожих с предложением услуг, каждый хваля свою лошадь, величая каждого, судя по одежде, — кого «ваше степенство», кого «ваше здоровье», кого «ваше благородие», а кого «вась-сиясь!»[1]

Шум, гам, ругань сливались в общий гул, покрываясь раскатами грома от проезжающих по булыжной мостовой площади экипажей, телег, ломовых полков[2] и водовозных бочек.

Водовозы вереницами ожидали своей очереди, окружив фонтан, и, взмахивая черпаками-ведрами на длинных шестах над бронзовыми фигурами скульптора Витали, черпали воду, наливая свои бочки.

Против Проломных ворот десятки ломовиков то сидели идолами на своих полках, то вдруг, будто по команде, бросались и окружали какого-нибудь нанимателя, явившегося за подводой. Кричали, ругались. Наконец по общему соглашению устанавливалась цена, хотя нанимали одного извозчика и в один конец. Но для нанимателя дело еще не было кончено, и он не мог взять возчика, который брал подходящую цену. Все ломовые собирались в круг, и в чью-нибудь шапку каждый бросал медную копейку, как-нибудь меченную. Наниматель вынимал на чье-то «счастье» монету и с обладателем ее уезжал.

Пока мой извозчик добивался ведра в очереди, я на все успел насмотреться, поражаясь суете, шуму и беспорядочности этой самой тогда проезжей площади Москвы… Кстати сказать, и самой зловонной от стоянки лошадей.

Спустились к Театральной площади, «окружили» ее по канату. Проехали Охотный, Моховую. Поднялись в гору по Воздвиженке. У Арбата прогромыхала карета на высоких рессорах, с гербом на дверцах. В ней сидела седая дама. На козлах, рядом с кучером, —

---

[1] Ваше сиятельство

[2] Телега с плоским настилом

выездной лакей с баками, в цилиндре с позументом и в ливрее с большими светлыми пуговицами. А сзади кареты, на запятках, стояли два бритых лакея в длинных ливреях, тоже в цилиндрах и с галунами.

За каретой на рысаке важно ехал какой-то чиновный франт, в шинели с бобром и в треуголке с плюмажем, едва помещая свое солидное тело на узенькой пролетке, которую тогда называли эгоисткой…

Театральная площадь

Грохот трамваев. Вся расцвеченная, площадь то движется вперед, то вдруг останавливается, и тысячи людских голов поднимают кверху глаза: над Москвой мчатся стаи самолетов — то гусиным треугольником, то меняя построение, как стеклышки в калейдоскопе.

Рядом со мной, у входа в Малый театр, сидит единственный в Москве бронзовый домовладелец, в том же самом заячьем халатике, в котором он писал «Волки и овцы». На стене у входа я читаю афишу этой пьесы и переношусь в далекое прошлое.

К подъезду Малого театра, утопая железными шинами в несгребенном снегу и ныряя по ухабам, подползла облезлая допотопная театральная карета. На козлах качался кучер в линючем армяке и вихрастой, с вылезшей клочьями паклей шапке, с подвязанной щекой. Он чмокал, цыкал, дергал веревочными вожжами пару разномастных, никогда не чищенных «кабысдохов», из тех, о которых популярный в то время певец Паша Богатырев пел в концертах слезный романс:

Были когда-то и вы рысаками
И кучеров вы имели лихих…

В восьмидесятых годах девственную неприкосновенность Театральной площади пришлось ненадолго нарушить, и вот по какой причине.

Светловодная речка Неглинка, заключенная в трубу, из-за плохой канализации стала клоакой нечистот, которые стекали в Москву-реку и заражали воду.

С годами труба засорилась, ее никогда не чистили, и после каждого большого ливня вода заливала улицы, площади, нижние этажи домов по Неглинному проезду.

Потом вода уходила, оставляя на улице зловонный ил и наполняя подвальные этажи нечистотами.

Так шли годы, пока не догадались выяснить причину. Оказалось, что повороты (а их было два: один — под углом Малого театра, а другой — на площади, под фонтаном с фигурами скульптора Витали) были забиты отбросами города.

Подземные болота, окружавшие площадь, как и в древние времена, тоже не имели выхода.

Начали перестраивать Неглинку, открыли ее своды. Пришлось на площади забить несколько свай.

Поставили три высоких столба, привезли тридцатипудовую чугунную бабу, спустили вниз на блоке — и запели. Народ валил толпами послушать.

Эй, дубинушка, ухнем,
эй, зеленая, подернем!..

Поднимается артелью рабочих чугунная бабища и бьет по свае.

Чем больше собирается народу, тем оживленнее рабочие: они, как и актеры, любят петь и играть при хорошем сборе.

Запевала оживляется, — что видит, о том и поет. Вот он усмотрел толстую барыню-щеголиху и высоким фальцетом, отчеканивая слова, выводит:

У барыни платье длинно,
Из-под платья…

А уж дальше такое хватит, что барыня под улюлюканье и гоготанье рада сквозь землю провалиться. А запевала уже увидал франта в цилиндре:

Франт, рубаха — белый цвет,
А порткам, знать, смены нет.

И ржет публика, и все прибывает толпа. Артель утомилась, а хозяин требует; — Старайся, робя, наддай еще!

Встряхивается запевала и понаддает:

На дворе собака брешет,
А хозяин пузо чешет.

Толпа хохочет…

— Айда, робя, обедать.

«Дубинушку» пели, заколачивая сваи как раз на том месте, где теперь в недрах незримо проходит метро.

В городской думе не раз поговаривали о метро, но как-то неуверенно. Сами «отцы города» чувствовали, что при воровстве, взяточничестве такую панаму разведут, что никаких богатств не хватит…

— Только разворуют, толку не будет. А какой-то поп говорил в проповеди:

— За грехи нас ведут в преисподнюю земли. «Грешники» поверили и испугались.

Да кроме того, с одной «Дубинушкой» вместо современной техники далеко уехать было тоже мудрено.

Хитровка

Хитров рынок почему-то в моем воображении рисовался Лондоном, которого я никогда не видел.

Лондон мне всегда представлялся самым туманным местом в Европе, а Хитров рынок, несомненно, самым туманным местом в Москве.

Большая площадь в центре столицы, близ реки Яузы, окруженная облупленными каменными домами, лежит в низине, в которую спускаются, как ручьи в болото, несколько переулков. Она всегда курится. Особенно к вечеру. А чуть-чуть туманно или после дождя поглядишь сверху, с высоты переулка — жуть берет свежего человека: облако село! Спускаешься по переулку в шевелящуюся гнилую яму.

В тумане двигаются толпы оборванцев, мелькают около туманных, как в бане, огоньков. Это торговки съестными припасами сидят рядами на огромных чугунах или корчагах с «тушенкой», жареной протухлой колбасой, кипящей в железных ящиках над жаровнями, с бульонкой, которую больше называют «собачья радость»… Хитровские «гурманы» любят лакомиться объедками. «А ведь это был рябчик!» — смакует какой-то «бывший». А кто попроще — ест тушеную картошку с прогорклым салом, щековину, горло, легкое и завернутую рулетом коровью требуху с непромытой зеленью содержимого желудка — рубец, который здесь зовется «рябчик».

А кругом пар вырывается клубами из отворяемых поминутно дверей лавок и трактиров и сливается в общий туман, конечно, более свежий и ясный, чем внутри трактиров и ночлежных домов, дезинфицируемых только махорочным дымом, слегка уничтожающим запах прелых портянок, человеческих испарений и перегорелой водки.

Двух- и трехэтажные дома вокруг площади все полны такими ночлежками, в которых ночевало и ютилось до десяти тысяч человек. Эти дома приносили огромный барыш домовладельцам. Каждый ночлежник платил пятак за ночь, а «номера» ходили по двугривенному. Под нижними нарами, поднятыми на аршин от пола, были логовища на двоих; они разделялись повешенной рогожей. Пространство в аршин высоты и полтора аршина ширины между двумя рогожами и есть «нумер», где люди ночевали без всякой подстилки, кроме собственных отрепьев…

На площадь приходили прямо с вокзалов артели приезжих рабочих и становились под огромным навесом, для них нарочно выстроенным. Сюда по утрам являлись подрядчики и уводили нанятые артели на работу. После полудня навес поступал в распоряжение хитрованцев и барышников: последние скупали все, что попало. Бедняки, продававшие с себя платье и обувь, тут же снимали их и переодевались вместо сапог в лапти или опорки, а из костюмов — в «сменку до седьмого колена», сквозь которую тело видно…

Дома, где помещались ночлежки, назывались по фамилии владельцев: Бунина, Румянцева, Степанова (потом Ярошенко) и Ромейко (потом Кулакова). В доме Румянцева были два трактира — «Пересыльный» и «Сибирь», а в доме Ярошенко — «Каторга». Названия, конечно, негласные, но у хитрованцев они были приняты. В «Пересыльном» собирались бездомники, нищие и барышники, в «Сибири» — степенью выше — воры, карманники и крупные скупщики краденого, а выше всех была «Каторга» — притон буйного и пьяного разврата, биржа воров и беглых. «Обратник», вернувшийся из Сибири или тюрьмы, не миновал этого места. Прибывший, если он действительно «деловой», встречался здесь с почетом. Его тотчас же «ставили на работу».

Полицейские протоколы подтверждали, что большинство беглых из Сибири уголовных арестовывалось в Москве именно на Хитровке.

Мрачное зрелище представляла собой Хитровка в прошлом столетии. В лабиринте коридоров и переходов, на кривых полуразрушенных лестницах, ведущих в ночлежки всех этажей, не было никакого освещения. Свой дорогу найдет, а чужому незачем сюда соваться! И действительно, никакая власть не смела сунуться в эти мрачные бездны.

Всем Хитровым рынком заправляли двое городовых- Рудников и Лохматкин. Только их пудовых кулаков действительно боялась «шпана», а «деловые ребята» были с обоими представителями власти в дружбе и, вернувшись с каторги или бежав из тюрьмы, первым делом шли к ним на поклон. Тот и другой знали в лицо всех преступников, приглядевшись к ним за четверть века своей несменяемой службы. Да и никак не скроешься от них: все равно свои донесут, что в такую-то квартиру вернулся такой-то.

Стоит на посту властитель Хитровки, сосет трубку и видит — вдоль стены пробирается какая-то фигура, скрывая лицо.

— Болдох! — гремит городовой.

И фигура, сорвав с головы шапку, подходит.

— Здравствуйте, Федот Иванович! — Откуда?

— Из Нерчинска. Только вчера прихрял. Уж извините
пока что…

— То-то, гляди у меня, Сережка, чтоб тихо-мирно, а то…

— Нешто не знаем, не впервой. Свои люди…

А когда следователь по особо важным делам В. Ф. Кейзер спросил Рудникова:

— Правда ли, что ты знаешь в лицо всех беглых преступников на Хитровке и не арестуешь их?

— Вот потому двадцать годов и стою там на посту, а то и дня не простоишь, пришьют! Конечно, всех знаю.

И «благоденствовали» хитрованцы под такой властью.

Рудников был тип единственный в своем роде.

Он считался даже у беглых каторжников справедливым, и поэтому только не был убит, хотя бит и ранен при арестах бывал не раз. Но не со злобы его ранили, а только спасая свою

шкуру. Всякий свое дело делал: один ловил и держал, а другой скрывался и бежал.

Такова каторжная логика.

Боялся Рудникова весь Хитров рынок как огня:

— Попадешься — возьмет!

— Прикажут — разыщет.

За двадцать лет службы городовым среди рвани и беглых у Рудникова выработался особый взгляд на все:

— Ну, каторжник… Ну, вор… нищий… бродяга… Тоже люди, всяк жить хочет. А то что? Один я супротив всех их. Нешто их всех переловишь? Одного пымаешь — другие прибегут… Жить надо!

Во время моих скитаний по трущобам и репортерской работы по преступлениям я часто встречался с Рудниковым и всегда дивился его умению найти след там, где, кажется, ничего нет. Припоминается одна из характерных встреч с ним.

С моим другом, актером Васей Григорьевым, мы были в дождливый сентябрьский вечер у знакомых на Покровском бульваре. Часов в одиннадцать ночи собрались уходить, и тут оказалось, что у Григорьева пропало с вешалки его летнее пальто. По следам оказалось, что вор влез в открытое окно, оделся и вышел в дверь.

— Соседи сработали… С Хитрова. Это уж у нас бывалое дело. Забыли окно запереть! — сказала старая кухарка.

Вася чуть не плачет — пальто новое. Я его утешаю:

— Если хитрованцы, найдем.

Попрощались с хозяевами и пошли в 3-й участок Мясницкой части. Старый, усатый пристав полковник Шидловский имел привычку сидеть в участке до полуночи; мы его застали и рассказали о своей беде.

— Если наши ребята — сейчас достанем. Позвать Рудникова, он дежурный!

Явился огромный атлет, с седыми усами и кулачищами с хороший арбуз. Мы рассказали ему подробно о краже пальто.

— Наши! Сейчас найдем… Вы бы пожаловали со мной, а они пусть подождут. Вы пальто узнаете?

Вася остался ждать, а мы пошли на Хитров в дом Буниных. Рудников вызвал дворника, они пошептались.

— Ну, здесь взять нечего. Пойдем дальше!

Темь. Слякоть. Только окна «Каторги» светятся красными огнями сквозь закоптелые стекла да пар выходит из отворяющейся то и дело двери.

Пришли во двор дома Румянцева и прямо во второй этаж, налево в первую дверь от входа.

— Двадцать шесть! — крикнул кто-то, и все в ночлежке зашевелились.

В дальнем углу отворилось окно, и раздались один за другим три громких удара, будто от проваливающейся железной крыши.

— Каторга сигает! — пояснил мне Рудников и крикнул на всю казарму: — Не бойтесь, дьяволы! Я один, никого не возьму, так зашел…

— Чего ж пугаешь зря! — обиделся рыжий, солдатского вида здоровяк, приготовившийся прыгать из окна на крышу пристройки.

— А вот морду я тебе набью, Степка!

— За что же, Федот Иванович?

— А за то, что я тебе не велел ходить ко мне на Хитров. Где хошь пропадай, а меня не подводи. Тебя ищут… Второй побег. Я не потерплю!..

— Я уйду… Вон «маруха» завела! — И он подмигнул на девицу с синяком под глазом.

— П-пшел! Чтоб я тебя не видел! А кто в окно сиганул? Зеленщик? Эй, Болдоха, отвечай!

Молчание.

— Кто? Я спрашиваю! Чего молчишь? Что я тебе — сыщик, что ли? Ну, Зеленщик?

Говори! Ведь я его хромую ногу видел.

Болдоха молчит. Рудников размахивается и влепляет ему жесточайшую пощечину.

Поднимаясь с пола, Болдоха сквозь слезы говорит:

— Сразу бы так и спрашивал. А то канителится… Ну, Зеленщик!

— Черт с ним! Попадется, скажи ему, заберу. Чтоб утекал отсюда. Подводите, дьяволы. Пошлют искать — все одно возьму. Не спрашивают — ваше счастье, ночуйте. Я не за тем. Беги наверх, скажи им, дуракам, чтобы в окна не сигали, а то с третьего этажа убьются еще! А я наверх, он дома?

— Дрыхнет, поди!

Зашли в одну из ночлежек третьего этажа. Там та же история: отворилось окно, и мелькнувшая фигура исчезла в воздухе. Эту ночлежку Болдоха еще не успел предупредить.

Я подбежал к открытому окну. Подо мной зияла глубина двора, и какая-то фигура кралась вдоль стены. Рудников посмотрел вниз.

— Л ведь это Степка Махалкин! За то и Махалкиным прозвали, что сигать с крыш мастак. Он?

— Васьки Чуркина брат, Горшок, а не Махалкин, — послышался из-под нар бас-октава.

— Ну, вот он и есть, Махалкин. А это ты, Лавров? Ну-ка вылазь, покажись барину.

— Это наш протодьякон, — сказал Рудников, обращаясь ко мне.

Из-под нар вылез босой человек в грязной женской рубахе с короткими рукавами, открывавшей могучую шею и здоровенные плечи.

— Многая лета Федоту Ивановичу, многая лета! — загремел Лавров, но получив в морду, опять залез под нары.

— Соборным певчим был, семинарист. А вот до чего дошел! Тише вы, дьяволы! — крикнул Рудников, и мы начали подниматься по узкой деревянной лестнице на чердак. Внизу гудело «многая лета».

Поднялись. Темно. Остановились у двери. Рудников попробовал — заперто. Загремел кулачищем так, что дверь задрожала. Молчание. Он застучал еще сильнее. Дверь приотворилась на ширину железной цепочки, и из нее показался съемщик, приемщик краденого.

— Ну, что надо? И кто?

Поднимается кулак, раздается визг, дверь отворяется.

— И что вы деретесь? Я же человек!

— А коли ты человек — где пальто, которое тебе Сашка Пономарь сегодня принес?

— И что вы ночью беспокоите? Никакого пальта мне не приносили.

— Так. Повыдьте-ка отсюда, а мы поищем! — сказал мне Рудников, и, когда за мной затворилась дверь, опять послышались крики.

Потом все смолкло. Рудников вышел и вынес пальто.

— Вот оно! Проклятый черт запрятал в самый нижний сундук и сверху еще пять сундуков поставил.

Таков был Рудников.

Иногда бывали обходы, но это была только видимость обыска: окружат дом, где поспокойнее, наберут «шпаны», а «крупные» никогда не попадались.

А в «Кулаковку» полиция и не совалась.

«Кулаковкой» назывался не один дом, а ряд домов в огромном владении Кулакова между Хитровской площадью и Свиньинским переулком. Лицевой дом, выходивший узким концом на площадь, звали «Утюгом». Мрачнейший за ним ряд трехэтажных зловонных корпусов звался «Сухой овраг», а все вместе — «Свиной дом». Он принадлежал известному коллекционеру Свиньину. По нему и переулок назвали. Отсюда и кличка обитателей: «утюги» и «волки Сухого оврага».

Забирают обходом мелкоту, беспаспортных, нищих и административно высланных. На другой же день их рассортируют: беспаспортных и административных через пересыльную тюрьму отправят в места приписки, в ближайшие уезды, а они через неделю опять в Москве.

Придут этапом в какой-нибудь Зарайск, отметятся в полиции и в ту же ночь обратно. Нищие и барышники все окажутся москвичами или из подгородных слобод, и на другой день они опять на Хитровке, за своим обычным делом впредь до нового обхода.

И что им делать в глухом городишке? «Работы» никакой. Ночевать пустить всякий побоится, ночлежек нет, ну и пробираются в Москву и блаженствуют по-своему на Хитровке. В столице можно и украсть, и пострелять милостыньку, и ограбить свежего ночлежника; заманив с улицы или бульвара какого-нибудь неопытного беднягу бездомного, завести в подземный коридор, хлопнуть по затылку и раздеть догола. Только в Москве и житье. Куда им больше деваться с волчьим паспортом:[3] ни тебе «работы», ни тебе ночлега.

Я много лет изучал трущобы и часто посещал Хитров рынок, завел там знакомства, меня не стеснялись и звали «газетчиком».

Многие из товарищей-литераторов просили меня сводить их на Хитров и показать трущобы, но никто не решался войти в «Сухой овраг» и даже в «Утюг». Войдем на крыльцо, спустимся несколько шагов вниз в темный подземный коридор — и просятся назад.

Ни на кого из писателей такого сильного впечатления не производила Хитровка, как на Глеба Ивановича Успенского.

Работая в «Русских ведомостях», я часто встречался с Глебом Ивановичем. Не раз просиживали мы с ним подолгу и в компании и вдвоем, обедывали и вечера вместе проводили. Как-то Глеб Иванович обедал у меня, и за стаканом вина разговор пошел о трущобах.

— Ах, как бы я хотел посмотреть знаменитый Хитров рынок и этих людей, перешедших «рубикон жизни». Хотел бы, да боюсь. А вот хорошо, если б вместе нам отправиться!

Я, конечно, был очень рад сделать это для Глеба Ивановича, и мы в восьмом часу вечера (это было в октябре) подъехали к Солянке. Оставив извозчика, пешком пошли по грязной площади, окутанной осенним туманом, сквозь который мерцали тусклые окна трактиров и фонарики торговок-обжорок. Мы остановились на минутку около торговок, к которым подбегали полураздетые оборванцы, покупали зловонную пищу, причем непременно ругались из-за копейки или куска прибавки, и, съев, убегали в ночлежные дома.

Торговки, эти уцелевшие оглодки жизни, засаленные, грязные, сидели на своих горшках, согревая телом горячее кушанье, чтобы оно не простыло, и неистово вопили:

— Л-лап-ш-ша-лапшица! Студень свежий коровий! Оголовье! Свининка-рванинка вар-реная! Эй, кавалер, иди, на грош горла отрежу! — хрипит баба со следами ошибок молодости на конопатом лице.

— Горла, говоришь? А нос у тебя где?

— Нос? На кой мне ляд нос? И запела на другой голос:

— Печенка-селезенка горячая! Рванинка!

— Ну, давай всего на семитку!

Торговка поднимается с горшка, открывает толстую сальную покрышку, грязными руками вытаскивает «рванинку» и кладет покупателю на ладонь.

— Стюдню на копейку! — приказывает нищий в фуражке с подобием кокарды…

— Вот беда! Вот беда! — шептал Глеб Иванович, жадными глазами следил за происходящим и жался боязливо ко мне.

— А теперь, Глеб Иванович, зайдем в «Каторгу», потом в «Пересыльный», в «Сибирь», а затем пройдем по ночлежкам.

— В какую «Каторгу»?

— Так на хитровском жаргоне называется трактир, вот этот самый!

Пройдя мимо торговок, мы очутились перед низкой дверью трактира-низка в доме Ярошенко.

---

[3] Паспорт с отметкой, не дававшей права жительства в определенных местах

— Заходить ли? — спросил Глеб Иванович, держа меня под руку.

— Конечно!

Я отворил дверь, откуда тотчас же хлынул зловонный пар и гомон. Шум, ругань, драка, звон посуды…

Мы двинулись к столику, но навстречу нам с визгом пронеслась по направлению к двери женщина с окровавленным лицом и вслед за ней — здоровенный оборванец с криком:

— Измордую проклятую!

Женщина успела выскочить на улицу, оборванец был остановлен и лежал уже на полу: его «успокоили». Это было делом секунды.

В облаке пара на нас никто не обратил внимания. Мы сели за пустой грязный столик. Ко мне подошел знакомый буфетчик, будущий миллионер и домовладелец. Я приказал подать полбутылки водки, пару печеных яиц на закуску — единственное, что я требовал в трущобах.

Я протер чистой бумагой стаканчики, налил водки, очистил яйцо и чокнулся с Глебом Ивановичем, руки которого дрожали, а глаза выражали испуг и страдание.

Я выпил один за другим два стакана, съел яйцо, а он все сидит и смотрит.

— Да пейте же!

Он выпил и закашлялся. — Уйдем отсюда… Ужас!

Я заставил его очистить яйцо. Выпили еще по стаканчику.

— Кто же это там?

За средним столом, обнявшись с пьяной девицей, сидел угощавший ее парень, наголо остриженный брюнет с перебитым носом.

Перед ним, здоровенный, с бычьей шеей и толстым бабьим лицом, босой, в хламиде наподобие рубахи, орал

громоподобным басом «многая лета» бывший вышибала-пропойца.

Я объясняю Глебу Ивановичу, что это «фартовый» гуляет. А он все просит меня:

— Уйдем.

Расплатились, вышли.

— Позвольте пройти, — вежливо обратился Глеб Иванович к стоящей на тротуаре против двери на четвереньках мокрой от дождя и грязи бабе.

— Пошел в… Вишь, полон полусапожек…

И пояснила дальше хриплая и гнусавая баба историю с полусапожком, приправив крепким словом. Пыталась встать, но, не выдержав равновесия, шлепнулась в лужу.

Глеб Иванович схватил меня за руку и потащил на площадь, уже опустевшую и покрытую лужами, в которых отражался огонь единственного фонаря.

— И это перл творения — женщина! — думал вслух Глеб Иванович.

Мы шли. Нас остановил мрачный оборванец и протянул руку за подаянием. Глеб Иванович полез в карман, но я задержал его руку и, вынув рублевую бумажку, сказал хитрованцу:

— Мелочи нет, ступай в лавочку, купи за пятак папирос, принеси сдачу, и я тебе дам на ночлег.

— Сейчас сбегаю! — буркнул человек, зашлепал опорками по лужам, по направлению к одной из лавок, шагах в пятидесяти от нас, и исчез в тумане.

— Смотри, сюда неси папиросы, мы здесь подождем! — крикнул я ему вслед.

— Ладно, — послышалось из тумана.

Глеб Иванович стоял и хохотал.

— В чем дело? — спросил я.

— Ха-ха-ха, ха-ха-ха! Так он и принес сдачу. Да еще папирос! Ха-ха-ха!

Я в первый раз слышал такой смеху Глеба Ивановича.

Но не успел он еще как следует нахохотаться, как зашлепали по лужам шаги, и мой посланный, задыхаясь, вырос перед нами и открыл громадную черную руку, на которой лежали папиросы, медь и сверкало серебро.

— Девяносто сдачи. Пятак себе взял. Вот и «Заря», десяток.

— Нет, постой, что же это? Ты принес? — спросил Глеб Иванович.

— А как же не принести? Что я, сбегу, что ли, с чужими-то деньгами. Нешто я… — уверенно выговорил оборванец.

— Хорошо… хорошо, — бормотал Глеб Иванович.

Я отдал оборванцу медь, а серебро и папиросы хотел взять, но Глеб Иванович сказал:

— Нет, нет, все ему отдай… Все. За его удивительную честность. Ведь это…

Я отдал оборванцу всю сдачу, а он сказал удивленно вместо спасибо только одно:

— Чудаки господа! Нешто я украду, коли поверили?

— Пойдем! Пойдем отсюда… Лучшего нигде не увидим. Спасибо тебе! — обернулся Глеб Иванович к оборванцу, поклонился ему и быстро потащил меня с площади. От дальнейшего осмотра ночлежек он отказался.

Многих из товарищей-писателей водил я по трущобам, и всегда благополучно. Один раз была неудача, но совершенно особого характера. Тот, о ком я говорю, был человек смелости испытанной, не побоявшийся ни «Утюга», ни «волков Сухого оврага», ни трактира «Каторга», тем более, что он знал и настоящую сибирскую каторгу. Словом, это был не кто иной, как знаменитый П. Г. Зайчневский, тайно пробравшийся из места ссылки на несколько дней в Москву. Как раз накануне Глеб Иванович рассказал ему о нашем путешествии, и он весь загорелся. Да и мне весело было идти с таким подходящим товарищем. Около полуночи мы быстро шагали по Свиньинскому переулку, чтобы прямо попасть в «Утюг», где продолжалось пьянство после «Каторги», закрывавшейся в одиннадцать часов. Вдруг солдатский шаг: за нами, вынырнув с Солянки, шагал взвод городовых. Мы поскорее на площадь, а там из всех переулков стекаются взводами городовые и окружают дома: облава на ночлежников.

Дрогнула рука моего спутника:

— Черт знает… Это уже хужее!

— Не бойся, Петр Григорьевич, шагай смелее!..

Мы быстро пересекли площадь. Подколокольный переулок, единственный, где не было полиции, вывел нас на Яузский бульвар. А железо на крышах домов уже гремело. Это «серьезные элементы» выбирались через чердаки на крышу и пластами укладывались около труб, зная, что сюда полиция не полезет…

Петр Григорьевич на другой день в нашей компании смеялся, рассказывая, как его испугали толпы городовых. Впрочем, было не до смеху: вместо кулаковской «Каторги» он рисковал попасть опять в нерчинскую!

В «Кулаковку» даже днем опасно ходить — коридоры темные, как ночью. Помню, как-то я иду подземным коридором «Сухого оврага», чиркаю спичку и вижу — ужас! — из каменной стены, из гладкой каменной стены вылезает голова живого человека. Я остановился, а голова орет:

— Гаси, дьявол, спичку-то! Ишь шляются!

Мой спутник задул в моей руке спичку и потащил меня дальше, а голова еще что-то бурчала вслед.

Это замаскированный вход в тайник под землей, куда не то что полиция — сам черт не полезет.

В восьмидесятых годах я был очевидцем такой сцены в доме Ромейко.

Зашел я как-то в летний день, часа в три, в «Каторгу». Разгул уже был в полном разгаре. Сижу с переписчиком ролей Кириным. Кругом, конечно, «коты» с «марухами». Вдруг в дверь влетает «кот» и орет:

— Эй, вы, зеленые ноги! Двадцать шесть!

Все насторожились и навострили лыжи, но ждут объяснения.

— В «Утюге» кого-то пришили. За полицией побежали…

— Гляди, сюда прихондорят!

Первым выбежал здоровенный брюнет. Из-под нахлобученной шапки виднелся

затылок, правая половина которого обросла волосами много короче, чем левая. В те времена каторжным еще брили головы, и я понял, что ему надо торопиться. Выбежало еще человек с пяток, оставив «марух» расплачиваться за угощение.

Я заинтересовался и бросился в дом Ромейко, в дверь с площади. В квартире второго этажа, среди толпы, в луже крови лежал человек лицом вниз, в одной рубахе, обутый в лакированные сапоги с голенищами гармоникой. Из спины, под левой лопаткой, торчал нож, всаженный вплотную. Я никогда таких ножей не видал: из тела торчала большая, причудливой формы, медная блестящая рукоятка.

Убитый был «кот». Убийца — мститель за женщину. Его так и не нашли — знали, да не сказали, говорили: «хороший человек».

Пока я собирал нужные для газеты сведения, явилась полиция, пристав и местный доктор, общий любимец Д. П. Кувшинников.

— Ловкий удар! Прямо в сердце, — определил он.

Стали писать протокол. Я подошел к столу, разговариваю с Д. П. Кувшинниковым, с которым меня познакомил Антон Павлович Чехов.

— Где нож? Нож где? Полиция засуетилась.

— Я его сам сию минуту видел. Сам видел! — кричал пристав.

После немалых поисков нож был найден: его во время суматохи кто-то из присутствовавших вытащил и заложил за полбутылки в соседнем кабаке.

Чище других был дом Бунина, куда вход был не с площади, а с переулка. Здесь жило много постоянных хитрованцев, существовавших поденной работой вроде колки дров и очистки снега, а женщины ходили на мытье полов, уборку, стирку как поденщицы.

Здесь жили профессионалы-нищие и разные мастеровые, отрущобившиеся окончательно. Больше портные, их звали «раками», потому что они, голые, пропившие последнюю рубаху, из своих нор никогда и никуда не выходили. Работали день и ночь, перешивая тряпье для базара, вечно с похмелья, в отрепьях, босые.

А заработок часто бывал хороший. Вдруг в полночь вваливаются в «рачью» квартиру воры с узлами. Будят.

— Эй, вставай, ребята, на работу! — кричит разбуженный съемщик.

Из узлов вынимают дорогие шубы, лисьи ротонды и гору разного платья. Сейчас начинается кройка и шитье, а утром являются барышники и охапками несут на базар меховые шапки, жилеты, картузы, штаны.

Полиция ищет шубы и ротонды, а их уже нет: вместо них — шапки и картузы.

Главную долю, конечно, получает съемщик, потому что он покупатель краденого, а нередко и атаман шайки.

Но самый большой и постоянный доход давала съемщикам торговля вином. Каждая квартира — кабак. В стенах, под полом, в толстых ножках столов — везде были склады вина, разбавленного водой, для своих ночлежников и для их гостей. Неразбавленную водку днем можно было получить в трактирах и кабаках, а ночью торговал водкой в запечатанной посуде «шланбой».

В глубине бунинского двора был тоже свой «шланбой». Двор освещался тогда одним тусклым керосиновым фонарем. Окна от грязи не пропускали света, и только одно окно «шланбоя», с белой занавеской, было светлее других. Подходят кому надо к окну, стучат. Открывается форточка. Из-за занавесочки высовывается рука ладонью вверх. Приходящий кладет молча в руку полтинник. Рука исчезает и через минуту появляется снова с бутылкой смирновки, и форточка захлопывается. Одно дело — слов никаких. Тишина во дворе полная. Только с площади слышатся пьяные песни да крики «караул». Но никто не пойдет на помощь. Разденут, разуют и голым пустят. То и дело в переулках и на самой площади поднимали трупы убитых и ограбленных донага. Убитых отправляли в Мясницкую часть для судебного вскрытия, а иногда — в университет.

Помню, как-то я зашел в анатомический театр к профессору И. И. Нейдингу и застал его читающим лекцию студентам. На столе лежал труп, поднятый на Хитровом рынке.

Осмотрев труп, И. И. Нейдинг сказал:

— Признаков насильственной смерти нет.

Вдруг из толпы студентов вышел старый сторож при анатомическом театре, знаменитый Волков, нередко помогавший студентам препарировать, что он делал замечательно умело.

— Иван Иванович, — сказал он, — что вы, признаков нет! Посмотрите-ка, ему в «лигаментумнухе» насыпали! — Повернул труп и указал перелом шейного позвонка. — Нет уж, Иван Иванович, не было случая, чтобы с Хитровки присылали не убитых.

Много оставалось круглых сирот из рожденных на Хитровке. Вот одна из сценок восьмидесятых годов.

В туманную осеннюю ночь во дворе дома Буниных люди, шедшие к «шланбою», услыхали стоны с помойки. Увидели женщину, разрешавшуюся ребенком.

Дети в Хитровке были в цене: их сдавали с грудного возраста в аренду, чуть не с аукциона, нищим. И грязная баба, нередко со следами ужасной болезни, брала несчастного ребенка, совала ему в рот соску из грязной тряпки с нажеванным хлебом и тащила его на холодную улицу. Ребенок, целый день мокрый и грязный, лежал у нее на руках, отравляясь соской, и стонал от холода, голода и постоянных болей в желудке, вызывая участие у прохожих к «бедной матери несчастного сироты». Бывали случаи, что дитя утром умирало на руках нищей, и она, не желая потерять день, ходила с ним до ночи за подаянием. Двухлетних водили за ручку, а трехлеток уже сам приучался «стрелять».

На последней неделе великого поста грудной ребенок «покрикастее» ходил по четвертаку в день, а трехлеток — по гривеннику. Пятилетки бегали сами и приносили тятькам, мамкам, дяденькам и тетенькам «на пропой души» гривенник, а то и пятиалтынный. Чем больше становились дети, тем больше с них требовали родители и тем меньше им подавали прохожие.

Нищенствуя, детям приходилось снимать зимой обувь и отдавать ее караульщику за углом, а самим босиком метаться по снегу около выходов из трактиров и ресторанов. Приходилось добывать деньги всеми способами, чтобы дома, вернувшись без двугривенного, не быть избитым. Мальчишки, кроме того, стояли «на стреме», когда взрослые воровали, и в то же время сами подучивались у взрослых «работе».

Бывало, что босяки, рожденные на Хитровке, на ней и доживали до седых волос, исчезая временно на отсидку в тюрьму или дальнюю ссылку. Это мальчики.

Положение девочек было еще ужаснее.

Им оставалось одно: продавать себя пьяным развратникам. Десятилетние пьяные проститутки были не редкость.

Они ютились больше в «вагончике». Это был крошечный одноэтажный флигелек в глубине владения Румянцева. В первой половине восьмидесятых годов там появилась и жила подолгу красавица, которую звали «княжна». Она исчезала на некоторое время из Хитровки, попадая за свою красоту то на содержание, то в «шикарный» публичный дом, но всякий раз возвращалась а

«вагончик» и пропивала все свои сбережения. В «Каторге» она распевала французские шансонетки, танцевала модный тогда танец качучу.

В числе ее «ухажеров» был Степка Махалкин, родной брат известного гуслицкого разбойника Васьки Чуркина, прославленного даже в романе его имени.

Но Степка Махалкин был почище своего брата и презрительно называл его:

— Васька-то? Пустельга! Портяночник!

Как-то полиция, арестовала Степку и отправила в пересыльную, где его заковали в кандалы. Смотритель предложил ему:

— Хочешь, сниму кандалы, только дай слово не бежать.

— Ваше дело держать, а наше дело бежать! А слова тебе не дам. Наше слово крепко, а я уже дал одно слово.

Вскоре он убежал из тюрьмы, перебравшись через стену.

И прямо — в «вагончик», к «княжне», которой дал слово, что придет. Там произошла сцена ревности. Махалкин избил «княжну» до полусмерти. Ее отправили в Павловскую больницу, где она и умерла от побоев.

* * *

В адресной книге Москвы за 1826 год в списке домовладельцев значится: «Свиньин, Павел Петрович, статский советник, по Певческому переулку, дом № 24, Мясницкой части, на углу Солянки».

Свиньин воспет Пушкиным: «Вот и Свиньин, Российский Жук». Свиньин был человек известный: писатель, коллекционер и владелец музея. Впоследствии город переименовал Певческий переулок в Свиньинский.[4]

На другом углу Певческого переулка, тогда выходившего на огромный, пересеченный оврагами, заросший пустырь, постоянный притон бродяг, прозванный «вольным местом», как крепость, обнесенная забором, стоял большой дом со службами генерал-майора Николая Петровича Хитрова, владельца пустопорожнего «вольного места» вплоть до нынешних Яузского и Покровского бульваров, тогда еще носивших одно название: «бульвар Белого города». На этом бульваре, как значилось в той же адресной книге, стоял другой дом генерал-майора Хитрова, № 39. Здесь жил он сам, а в доме № 24, на «вольном месте», жила его дворня, были конюшни, погреба и подвалы. В этом громадном владении и образовался Хитров рынок, названный так в честь владельца этой дикой усадьбы.

В 1839 году умер Свиньин, и его обширная усадьба и барские палаты перешли к купцам Расторгуевым, владевшим ими вплоть до Октябрьской революции.

Дом генерала Хитрова приобрел Воспитательный дом для квартир своих чиновников и перепродал его уже во второй половине прошлого столетия инженеру Ромейко, а пустырь, все еще населенный бродягами, был куплен городом для рынка. Дом требовал дорогого ремонта. Его окружение не вызывало охотников снимать квартиры в таком опасном месте, и Ромейко пустил его под ночлежки: и выгодно, и без всяких расходов.

Страшные трущобы Хитровки десятки лет наводили ужас на москвичей.

Десятки лет и печать, и дума, и администрация, вплоть до генерал-губернатора, тщетно принимали меры, чтобы уничтожить это разбойное логово.

С одной стороны близ Хитровки — торговая Солянка с Опекунским советом, с другой — Покровский бульвар и прилегающие к нему переулки были заняты богатейшими особняками русского и иностранного купечества. Тут и Савва Морозов, и Корзинкины, и Хлебниковы, и Оловянишниковы, и Расторгуевы, и Бахрушины… Владельцы этих дворцов возмущались страшным соседством, употребляли все меры, чтобы уничтожить его, но ни речи, гремевшие в угоду им в заседаниях думы, ни дорого стоящие хлопоты у администрации ничего сделать не могли. Были какие-то тайные пружины, отжимавшие все их нападающие силы, — и ничего не выходило. То у одного из хитровских домовладельцев рука в думе, то у другого — друг в канцелярии генерал-губернатора, третий сам занимает важное положение в делах благотворительности.

И только советская власть одним постановлением Моссовета смахнула эту не излечимую при старом строе язву и в одну неделю в 1923 году очистила всю площадь с окружающими ее вековыми притонами, в несколько месяцев отделала под чистые квартиры недавние трущобы и заселила их рабочим и служащим людом. Самую же главную трущобу «Кулаковку» с ее подземными притонами в «Сухом овраге» по Свиньинскому переулку и огромным «Утюгом» срыла до основания и заново застроила. Все те же дома, но чистые снаружи… Нет заткнутых бумагой или тряпками или просто разбитых окон, из которых валит пар и несется пьяный гул… Вот дом Орлова — квартиры нищих-профессионалов и

---

[4] Теперь Астаховский

место ночлега новичков, еще пока ищущих поденной работы… Вот рядом огромные дома Румянцева, в которых было два трактира — «Пересыльный» и «Сибирь», а далее, в доме Степанова, трактир «Каторга», когда-то принадлежавший знаменитому укрывателю беглых и разбойников Марку Афанасьеву, а потом перешедший к его приказчику Кулакову, нажившему состояние на насиженном своим старым хозяином месте.

И в «Каторге» нет теперь двери, из которой валил, когда она отворялась, пар и слышались дикие песни, звон посуды и вопли поножовщины. Рядом с ним дом Буниных — тоже теперь сверкает окнами… На площади не толпятся тысячи оборванцев, не сидят на корчагах торговки, грязные и пропахшие тухлой селедкой и разлагающейся бульонкой и требухой. Идет чинно народ, играют дети… А еще совсем недавно круглые сутки площадь мельтешилась толпами оборванцев. Под вечер метались и галдели пьяные со своими «марухами». Не видя ничего перед собой, шатались нанюхавшиеся «марафету» кокаинисты обоих полов и всех возрастов. Среди них были рожденные и выращенные здесь же подростки-девочки и полуголые «огольцы» — их кавалеры.

«Огольцы» появлялись на базарах, толпой набрасывались на торговок и, опрокинув лоток с товаром, а то и разбив палатку, расхватывали товар и исчезали врассыпную.

Степенью выше стояли «поездошники», их дело — выхватывать на проездах бульваров, в глухих переулках и на темных вокзальных площадях из верха пролетки саки и чемоданы… За ними «фортачи», ловкие и гибкие ребята, умеющие лазить в форточку, и «ширмачи», бесшумно лазившие по карманам у человека в застегнутом пальто, заторкав и затырив его в толпе. И по всей площади — нищие, нищие… А по ночам из подземелий «Сухого оврага» выползали на фарт «деловые ребята» с фомками и револьверами… Толкались и «портяночники», не брезговавшие сорвать шапку с прохожего или у своего же хитрована-нищего отнять суму с куском хлеба.

Ужасные иногда были ночи на этой площади, где сливались пьяные песни, визг избиваемых «марух» да крики «караул». Но никто не рисковал пойти на помощь: раздетого и разутого голым пустят да еще изобьют за то, чтобы не лез куда не следует.

Полицейская будка ночью была всегда молчалива — будто ее и нет. В ней лет двадцать с лишком губернаторствовал городовой Рудников, о котором уже рассказывалось. Рудников ночными бездоходными криками о помощи не интересовался и двери в будке не отпирал.

Раз был такой случай. Запутался по пьяному делу на Хитровке сотрудник «Развлечения» Епифанов, вздумавший изучать трущобы. Его донага раздели на площади. Он — в будку. Стучит, гремит, «караул» кричит. Да так голый домой и вернулся. На другой день, придя в «Развлечение» просить аванс по случаю ограбления, рассказывал финал своего путешествия: огромный будочник, босой и в одном белье, которому он назвался дворянином, выскочил из будки, повернул его к себе спиной и гаркнул: «Всякая сволочь по ночам будет беспокоить!»- и так наподдал ногой — спасибо, что еще босой был, — что Епифанов отлетел далеко в лужу…

Никого и ничего не боялся Рудников. Даже сам Кулаков, со своими миллионами, которого вся полиция боялась, потому что «с Иваном Петровичем генерал-губернатор за ручку здоровался», для Рудникова был ничто. Он прямо являлся к нему на праздник и, получив от него сотенную, гремел:

— Ванька, ты шутишь, что ли? Аль забыл? А?.. Кулаков, принимавший поздравителей в своем доме, в Свиньинском переулке, в мундире с орденами, вспоминал что-то, трепетал и лепетал:

— Ах, извините, дорогой Федот Иваныч. И давал триста.

Давно нет ни Рудникова, ни его будки.

Дома Хитровского рынка были разделены на квартиры — или в одну большую, или в две-три комнаты, с нарами, иногда двухэтажными, где ночевали бездомники без различия пола и возраста. В углу комнаты — каморка из тонких досок, а то просто ситцевая занавеска, за которой помещаются хозяин с женой. Это всегда какой-нибудь «пройди свет» из отставных солдат или крестьян, но всегда с «чистым» паспортом, так как иначе нельзя

получить право быть съемщиком квартиры. Съемщик никогда не бывал одинокий, всегда вдвоем с женой и никогда — с законной. Законных жен съемщики оставляли в деревне, а здесь заводили сожительниц, аборигенок Хитровки, нередко беспаспортных…

У каждого съемщика своя публика: у кого грабители, у кого воры, у кого «рвань коричневая», у кого просто нищая братия.

Где нищие, там и дети — будущие каторжники. Кто родился на Хитровке и ухитрился вырасти среди этой ужасной обстановки, тот кончит тюрьмой. Исключения редки.

Самый благонамеренный элемент Хитровки — это нищие. Многие из них здесь родились и выросли; и если по убожеству своему и никчемности они не сделались ворами и разбойниками, а так и остались нищими, то теперь уж ни на что не променяют своего ремесла.

Это не те нищие, случайно потерявшие средства к жизни, которых мы видели на улицах: эти наберут едва-едва на кусок хлеба или на ночлег. Нищие Хитровки были другого сорта.

В доме Румянцева была, например, квартира «странников». Здоровеннейшие, опухшие от пьянства детины с косматыми бородами; сальные волосы по плечам лежат, ни гребня, ни мыла они никогда не видывали. Это монахи небывалых монастырей, пилигримы, которые век свой ходят от Хитровки до церковной паперти или до замоскворецких купчих и обратно.

После пьяной ночи такой страховидный дядя вылезает из-под нар, просит в кредит у съемщика стакан сивухи, облекается в страннический подрясник, за плечи ранец, набитый тряпьем, на голову скуфейку и босиком, иногда даже зимой по снегу, для доказательства своей святости, шагает за сбором.

И чего-чего только не наврет такой «странник» темным купчихам, чего только не всучит им для спасения души! Тут и щепочка от гроба господня, и кусочек лестницы, которую праотец Иаков во сне видел, и упавшая с неба чека от колесницы Ильи-пророка.

Были нищие, собиравшие по лавкам, трактирам и торговым рядам. Их «служба» — с десяти утра до пяти вечера. Эта группа и другая, называемая "с ручкой", рыскающая по церквам, — самые многочисленные. В последней — бабы с грудными детьми, взятыми напрокат, а то и просто с поленом, обернутым в тряпку, которое они нежно баюкают, прося на бедного сиротку. Тут же настоящие и поддельные слепцы и убогие.

А вот — аристократы. Они жили частью в доме Орлова, частью в доме Бунина. Среди них имелись и чиновники, и выгнанные со службы офицеры, и попы-расстриги.

Они работали коллективно, разделив московские дома на очереди. Перед ними адрес-календарь Москвы. Нищий-аристократ берет, например, правую сторону Пречистенки с переулками и пишет двадцать писем-слезниц, не пропустив никого, в двадцать домов, стоящих внимания. Отправив письмо, на другой день идет по адресам. Звонит в парадное крыльцо: фигура аристократическая, костюм, взятый напрокат, приличный. На вопрос швейцара говорит:

— Вчера было послано письмо по городской почте, так ответа ждут.

Выносят пакет, а в нем бумажка от рубля и выше.

В надворном флигеле дома Ярошенко квартира № 27 называлась «писучей» и считалась самой аристократической и скромной на всей Хитровке. В восьмидесятых годах здесь жили даже «князь с княгиней», слепой старик с беззубой старухой женой, которой он диктовал, иногда по-французски, письма к благодетелям, своим старым знакомым, и получал иногда довольно крупные подачки, на которые подкармливал голодных переписчиков. Они звали его «ваше сиятельство» и относились к нему с уважением. Его фамилия была Львов, по документам он значился просто дворянином, никакого княжеского звания не имел; в князья его произвели переписчики, а затем уж и остальная Хитровка. Он и жена — запойные пьяницы, но когда были трезвые, держали себя очень важно и на вид были весьма представительны, хотя на «князе» было старое тряпье, а на «княгине» — бурнус, зачиненный разноцветными заплатами.

Однажды приехали к ним родственники откуда-то с Волги и увезли их, к крайнему

сожалению переписчиков и соседей-нищих.

Проживал там также горчайший пьяница, статский советник, бывший мировой судья, за что хитрованцы, когда-то не раз судившиеся у него, прозвали его «цепной», намекая на то, что судьи при исполнении судебных обязанностей надевали на шею золоченую цепь.

Рядом с ним на нарах спал его друг Добронравов, когда-то подававший большие надежды литератор. Он печатал в мелких газетах романы и резкие обличительные фельетоны. За один из фельетонов о фабрикантах он был выслан из Москвы по требованию этих фабрикантов. Добронравов берег у себя, как реликвию, наклеенную на папку вырезку из газеты, где был напечатан погубивший его фельетон под заглавием «Раешник». Он прожил где-то в захолустном городишке на глубоком севере несколько лет, явился в Москву на Хитров и навсегда поселился в этой квартире. На вид он был весьма представительный и в минуты трезвости говорил так, что его можно было заслушаться.

Вот за какие строки автор «Раешника» был выслан из Москвы:

«…Пожалте сюда, поглядите-ка. Хитра купецкая политика. Не хлыщ, не франт, а мильонщик-фабрикант, попить, погулять охочий на каторжный труд, на рабочий. Видом сам авантажный, вывел корпус пятиэтажный, ткут, снуют да мотают, тысячи людей на него одного работают. А народ-то фабричный, ко всякой беде привычный, кости да кожа, да испитая рожа. Плохая кормежка да рваная одежка. И подводит живот да бока у рабочего паренька.

Сердешные!

А директора беспечные по фабрике гуляют, на стороне не дозволяют покупать продукты: примерно, хочешь лук ты — посылай сынишку забирать на книжку в заводские лавки, там, мол, без надбавки!

Дешево и гнило!

А ежели нутро заговорило, не его, вишь, вина, требует вина, тоже дело — табак, опять беги в фабричный кабак, хозяйское пей, на другом будешь скупей. А штучка не мудра, дадут в долг и полведра.

А в городе хозяин вроде как граф, на пользу ему и штраф, да на прибыль и провизия — кругом, значит, в ремизе я. А там на товар процент, куда ни глянь, все дивидент. Нигде своего не упустим, такого везде «Петра Кириллова» запустим. Лучше некуда!»

Рядом с «писучей» ночлежкой была квартира «подшибал». В старое время типографщики наживали на подшибалах большие деньги. Да еще говорили, что благодеяние делают: «Куда ему, голому да босому, деваться! Что ни дай — все пропьет!»

* * *

Разрушение «Свиного дома», или «Утюга», а вместе с ним и всех флигелей «Кулаковки» началось с первых дней революции. В 1917 году ночлежники «Утюга» все, как один, наотрез отказались платить съемщикам квартир за ночлег, и съемщики, видя, что жаловаться некому, бросили все и разбежались по своим деревням. Тогда ночлежники первым делом разломали каморки съемщиков, подняли доски пола, где разыскали целые склады бутылок с водкой, а затем и самые стенки каморок истопили в печках. За ночлежниками явились учреждения и все деревянное, до решетника крыши, увезли тоже на дрова. В домах без крыш, окон и дверей продолжал ютиться самый оголтелый люд. Однако подземные тайники продолжали оставаться нетронутыми. «Деловые» по-прежнему выходили на фарт по ночам. «Портяночники» — днем и в сумерки. Первые делали набеги вдали от своей «хазы», вторые грабили в потемках пьяных и одиночек и своих же нищих, появлявшихся вечером на Хитровской площади, а затем разграбили и лавчонки на Старой площади.

Это было голодное время гражданской войны, когда было не до Хитровки.

По Солянке было рискованно ходить с узелками и сумками даже днем, особенно женщинам: налетали хулиганы, выхватывали из рук узелки и мчались в Свиньинский

переулок, где на глазах преследователей исчезали в безмолвных грудах кирпичей. Преследователи останавливались в изумлении — и вдруг в них летели кирпичи. Откуда — неизвестно… Один, другой… Иногда проходившие видели дымок, вьющийся из мусора.

— Утюги кашу варят!

По вечерам мельтешились тени. Люди с чайниками и ведерками шли к реке и возвращались тихо: воду носили.

Но пришло время — и Моссовет в несколько часов ликвидировал Хитров рынок.

Совершенно неожиданно весь рынок был окружен милицией, стоявшей во всех переулках и у ворот каждого дома. С рынка выпускали всех — на рынок не пускали никого. Обитатели были заранее предупреждены о предстоящем выселении, но никто из них и не думал оставлять свои «хазы».

Милиция, окружив дома, предложила немедленно выселяться, предупредив, что выход свободный, никто задержан не будет, и дала несколько часов сроку, после которого «будут приняты меры». Только часть нищих-инвалидов была оставлена в одном из надворных флигелей «Румянцевки»…

Штурман дальнего плавания

Был в начале восьмидесятых годов в Москве очень крупный актер и переводчик Сарду Н. П. Киреев. Он играл в Народном театре на Солянке и в Артистическом кружке. Его сестра, О. П. Киреева, — оба они были народники — служила акушеркой в Мясницкой части, была любимицей соседних трущоб Хитрова рынка, где ее все звали по имени и отчеству; много восприняла она в этих грязных ночлежках будущих нищих и воров, особенно, если, по несчастью, дети родились от матерей замужних, считались законными, а потому и не принимались в воспитательный дом, выстроенный исключительно для незаконнорожденных и подкидышей. Врачом полицейским был такой же, как Ольга Петровна, благодетель хитровской рвани, описанный портретно в рассказе А. П. Чехова «Попрыгунья», — Д. П. Кувшинников, нарочно избравший себе этот участок, чтобы служить бедноте. О. П. Киреева была знакома с нашей семьей, и часто ее маленькая дочка Леля бывала у нас, и мы с женой бывали в ее маленькой квартирке в третьем этаже промозглого грязно-желтого здания, под самой каланчой. Внизу была большая квартира доктора, где я не раз бывал по субботам, где у Софьи Петровны, супруги доктора, страстной поклонницы литераторов и художников, [5] устраивались вечеринки, где читали, рисовали и потом ужинали. Бывал там и А. П. Чехов, и его брат художник

Николай, и И. Левитан, — словом, весь наш небольшой кружок «начинающих» и не всегда вкусно сытых молодых будущих…

Как-то днем захожу к Ольге Петровне. Она обмывает в тазике покрытую язвами ручонку двухлетнего ребенка, которого держит на руках грязная нищенка, баба лет сорока. У мальчика совсем отгнили два пальца: средний и безымянный. Мальчик тихо всхлипывал и таращил на меня глаза: правый глаз был зеленый, левый — карий. Баба ругалась: «У, каторжный, дармоедина! Удавить тебя мало».

Я прошел в следующую комнату, где кипел самовар.

Вернувшись, Ольга Петровна рассказала мне обыкновенную хитровскую историю: на помойке ночлежки нашли солдатку-нищенку, где она разрешилась от бремени этим самым младенцем. Когда Ольгу Петровну позвали, мать была уже мертвой. Младенец был законнорожденный, а потому его не приняли в воспитательный дом, а взяла его ночлежница-нищенка и стала с ним ходить побираться. Заснула как-то пьяная на рождество на улице, и отморозил ребенок два пальца, которые долго гнили, а она не лечила — потому подавали больше: высунет он перед прохожим изъязвленную руку… ну и подают

---

[5] С нее А. Чехов написал «Попрыгунью»

сердобольные… А раз Сашка Кочерга наткнулась на полицию, и ее отправили в участок, а оттуда к Ольге Петровне, которая ее знала хорошо, на перевязку.

Плохой, лядащий мальчонок был; до трех лет за грудного выдавала, и раз нарвалась: попросила на улице у проходившего начальника сыскной полиции Эффенбаха помочь грудному ребенку.

— Грудной, говоришь? Что-то велик для грудного… Высунулся малый из тряпок и тычет культяпой ручонкой — будто козу делает…

— А тебе сто за дело?.. Свелось эдакая… Посел к… Кончилось отправлением в участок, откуда малого снесли в ночлежку, а Сашку Кочергу препроводили по характеру болезни в Мясницкую больницу, и больше ее в ночлежке не видали.

Вскоре Коську стали водить нищенствовать за ручку — перевели в «пешие стрелки». Заботился о Коське дедушка Иван, старик ночлежник, который заботился о матери, брал ее с собой на все лето по грибы. Мать умерла, а ребенок родился 22 февраля, почему и окрестил его дедушка Иван Касьяном.

— Касьян праведный! — звал его потом старик за странность характера: он никогда не лгал.

И сам старик был такой.

— Правдой надо жить, неправдой не проживешь! — попрекал он Сашку Кочергу, а Коська слушал и внимал.

Три года водил за ручку Коську старик по зимам на церковные паперти, а летом уходил с ним в Сокольники и дальше, в Лосиный остров по грибы и тем зарабатывал пропитание. Тут Коська от него и о своей матери узнал. Она по зимам занималась стиркой в ночлежках, куда приходили письма от мужа ее, солдата, где-то за Ташкентом, а по летам собирала грибы и носила в Охотный. Когда Коське минуло шесть лет, старик умер в больнице. Остался Коська один в ночлежке. Малый бойкий, ловкий и от лесной жизни сильный и выносливый. Стал нищенствовать по ночам у ресторанов «в разувку» — бегает босой по снегу, а за углом у товарища валенки. Потом сошелся с карманниками, стал «работать» на Сухаревке и по вагонам конки, но сам в карманы никогда не лазил, а только был «убегалой», то есть ему передавали кошелек, а он убегал. Ему верили: никогда ни копейки не возьмет. Потом на стреме стал стоять. Но стоило городовому спросить: «Что ты тут делаешь, пащенок?» — он обязательно всю правду ахнет: «Калаулю. Там наши лебята лавку со двсла подламывают».

Уж и били его воры за правду, а он все свое. Почему такая правда жила в ребенке — никто не знал. Покойный старик грибник объяснял по-своему эту черту своего любимца:

— Касьяном зову — потому и не врет. Такие в три года один раз родятся… Касьяны все правдивые бывают!..

Коська слышал эти слова его часто и еще правдивее становился…

Умер старик, прогнали Коську из ночлежки, прижился он к подзаборной вольнице, которая шайками ходила по рынкам и ночевала в помойках, в пустых подвалах под Красными воротами, в башнях на Старой площади, а летом в парке и Сокольниках, когда тепло, когда «каждый кустик ночевать пустит».

Любимое место у них было под Сокольниками, на Ширяевом поле, где тогда навезли целые бунты толстенных чугунных труб для готовившейся в Москве канализации. Тут жили и взрослые бродяги, и детвора бездомная. Ежели заглянуть днем во внутренность труб, то там лежат стружки, солома, рогожи, бумага афишная со столбов, тряпье… Это постели ночлежников.

Коська со своей шайкой жил здесь, а потом все «переехали» на Балкан, в подземелья старого водопровода. Так бродячая детвора, промышлявшая мелким воровством, чтобы кое-как пожрать только, ютилась и существовала. Много их попадало в Рукавишниковский исправительный приют, много их высылали на родину, а шайки росли и росли, пополняемые трущобами, где плодилась нищета, и беглыми мальчишками из мастерских, где подчас жизнь их была невыносима. И кто вынесет побои колодкой по голове от пьяного сапожника и тому подобные способы воспитания, веками внедрявшиеся в обиход тогдашних мастерских, куда

приводили из деревень и отдавали мальчуганов по контракту в ученье на года, чтобы с хлеба долой! И не все выносили эту пятилетнюю кабалу впроголодь, в побоях. Целый день полуголодный, босой или в рваных опорках зимой, видит малый на улицах вольных ребятишек и пристает к ним… И бежали в трущобу, потому что им не страшен ни холод, ни голод, ни тюрьма, ни побои… А ночевать в мусорной яме или в подвале ничуть не хуже, чем у хозяина в холодных сенях на собачьем положении… Здесь спи сколько влезет, пока брюхо хлеба не запросит, здесь никто не разбудит до света пинком и руганью:

— Чего дрыхнешь, сволочь! Вставай, дармоедище! — визжит хозяйка.

И десятилетний «дармоедище» начинает свой рабочий день, таща босиком по снегу или грязи на помойку полную лоханку больше себя.

Ольге Петровне еще раз пришлось повидать своего пациента. Он караулил на остановке конки у Страстного и ожидал, когда ему передадут кошелек… Увидал он, как протискивалась на площадку Ольга Петровна, как ее ребята «затырили» и свистнули ее акушерскую сумочку, как она хватилась и закричала отчаянным голосом…

Через минуту Koське передали сумочку, и он убежал с ней стремглав, но не в условленное место, в Поляков-ский сад на Бронной, где ребята обыкновенно «тырбанили слам», а убежал он по бульварам к Трубе, потом к Покровке, а оттуда к Мясницкой части, где я сел у ворот, в сторонке. Спрятал под лохмотья сумку и ждет. Показывается Ольга Петровна, идет, шатается как-то… Глаза заплаканы… В ворота… По двору… Он за ней, догоняет на узкой лестнице и окликает:

— Ольга Петровна. Остановилась. Спрашивает:

— Ты что, Коська? — А сама плачет…

— Ольга Петровна. Вот ваша сумка, все цело, ни синь пороха не тронуто…

— Это был счастливейший день в моей жизни, во всей моей жизни, — рассказывала она мне.

Оказывается, что в сумке, кроме инструментов, были казенные деньги и документы. Пропажа сумки была погибелью для нее: под суд!

— Коська сунул мне в руку сумку и исчез… Когда я выбежала за ним на двор, он был уже в воротах и убежал, — продолжала она.

Через год она мне показала единственное письмо от Коськи, где он сообщает — письмо писано под его диктовку, — что пришлось убежать от своих «ширмачей», «потому, что я их обманул и что правду им сказать было нельзя… Убежал я в Ярославль, доехал под вагоном, а оттуда попал летом в Астрахань, где работаю на рыбных промыслах, а потом обещали меня взять на пароход. Я выучился читать».

Это было последнее известие о Коське.

Давно умерла Ольга Петровна…

* * *

1923 год. Иду в домком. В дверях сталкиваюсь с человеком в черной шинели и тюленьей кепке,

— Извиняюсь.

— Извиняюсь.

Он поднимает левую руку, придерживая дверь, и я вижу перед собой только два вытянутых пальца — указательный и мизинец, а двух средних нет. Улыбающееся, милое, чисто выбритое лицо, и эти пальцы… Мы извинились и разошлись. За столом управляющий. Сажусь.

— Встретили вы сейчас интересного человека?

— Да, пальцев на руке нет. Будто козу кажет!

— Что пальцы? А глаза-то у него какие: один — зеленый, а другой — карий… И оба смеются…

— Наш жилец?

— К сожалению, нет. Приходил отказываться от комнаты. Третьего дня отвели ему в № 6 по ордеру комнату, а сегодня отказался. Какой любезный! Вызывают на Дальний Восток, в плавание. Только что приехал, и вызывают. Моряк он, всю жизнь в море пробыл. В Америке, в Японии, в Индии… Наш, русский, старый революционер 1905 года… Заслуженный. Какие рекомендации! Жаль такого жильца… Мы бы его сейчас в председатели заперли…

— Интересный? — говорю.

— Да, очень. Вот от него мне памятка осталась. Тогда я ему бланк нашей анкеты дал, он написал, а я прочел и усомнился. А он говорит: «Все правда. Как написано — так и есть. Врать не умею».

Управляющий передает мне нашу домовую анкету. Читаю по рубрикам:

«Касьян Иванович Иванов, 45 лет.

Место рождения: Москва, дом Ромейко на Хитровке.

Мать: солдатка-нищенка.

Отец: неизвестный».

А в самом верху анкеты, против рубрики «Должность», написано: «Штурман дальнего плавания».

Сухаревка

Сухаревка — дочь войны. Смоленский рынок — сын чумы.

Он старше Сухаревки на 35 лет. Он родился в 1777 году. После московской чумы последовал приказ властей продавать подержанные вещи исключительно на Смоленском рынке и то только по воскресеньям во избежание разнесения заразы.

После войны 1812 года, как только стали возвращаться в Москву москвичи и начали разыскивать свое разграбленное имущество, генерал-губернатор Растопчин издал приказ, в котором объявил, что «все вещи, откуда бы они взяты ни были, являются неотъемлемой собственностью того, кто в данный момент ими владеет, и что всякий владелец может их продавать, но только один раз в неделю, в воскресенье, в одном только месте, а именно на площади против Сухаревской башни». И в первое же воскресенье горы награбленного имущества запрудили огромную площадь, и хлынула Москва на невиданный рынок.

Это было торжественное открытие вековой Сухаревки.

Сухарева башня названа Петром I в честь Сухарева, стрелецкого полковника, который единственный со своим полком остался верен Петру во время стрелецкого бунта.

Высоко стояла вековая Сухарева башня с ее огромными часами. Издалека было видно. В верхних ее этажах помещались огромные цистерны водопровода, снабжавшего водой Москву.

Много легенд ходило о Сухаревой башне: и «колдун Брюс» делал там золото из свинца, и черная книга, написанная дьяволом, хранилась в ее тайниках. Сотни разных легенд — одна нелепее другой.

По воскресеньям около башни кипел торг, на который, как на праздник, шла вся Москва, и подмосковный крестьянин, и заезжий провинциал.

Против роскошного дворца Шереметевской больницы вырастали сотни палаток, раскинутых за ночь на один только день. От рассвета до потемок колыхалось на площади море голов, оставляя узкие дорожки для проезда по обеим сторонам широченной в этом месте Садовой улицы. Толклось множество народа, и у всякого была своя цель.

Сюда в старину москвичи ходили разыскивать украденные у них вещи, и не безуспешно, потому что исстари Сухаревка была местом сбыта краденого. Вор-одиночка тащил сюда под полой «стыренные» вещи, скупщики возили их возами. Вещи продавались на Сухаревке дешево, «по случаю». Сухаревка жила «случаем», нередко несчастным. Сухаревский торговец покупал там, где несчастье в доме, когда все нипочем; или он «укупит» у не знающего цену нуждающегося человека, или из-под полы «товарца»

приобретет, а этот «товарец» иногда дымом поджога пахнет, иногда и кровью облит, а уж слезами горькими — всегда. За бесценок купит и дешево продает…

Лозунг Сухаревки: «На грош пятаков!»

Сюда одних гнала нужда, других — азарт наживы, а третьих — спорт, опять-таки с девизом «на грош пятаков». Один нес последнее барахло из крайней нужды и отдавал за бесценок: окружат барышники, чуть не силой вырвут. И тут же на глазах перепродадут втридорога. Вор за бесценок — только бы продать поскорее — бросит тем же барышникам свою добычу. Покупатель необходимого являлся сюда с последним рублем, зная, что здесь можно дешево купить, и в большинстве случаев его надували. Недаром говорили о платье, мебели и прочем: «Сухаревской работы!»

Ходили сюда и московские богачи с тем же поиском «на грош пятаков».

Я много лет часами ходил по площади, заходил к Бакастову и в другие трактиры, где с утра воры и бродяги дуются на бильярде или в азартную биксу или фортунку, знакомился с этим людом и изучал разные стороны его быта. Чаще всего я заходил в самый тихий трактир, низок Григорьева, посещавшийся более скромной сухаревской публикой: тут игры не было, значит, и воры не заходили.

Я подружился с Григорьевым, тогда еще молодым человеком, воспитанным и образованным самоучкой. Жена его, вполне интеллигентная, стояла за кассой, получая деньги и гремя трактирными медными марками — деньгами, которые выбрасывали из «лопаточников» (бумажников) юркие ярославцы-половые в белых рубашках.

Я садился обыкновенно направо от входа, у окна, за хозяйский столик вместе с Григорьевым и беседовал с ним часами. То и дело подбегал к столу его сын, гимназист-первоклассник, с восторгом показывал купленную им на площади книгу (он увлекался «путешествиями»), брал деньги и быстро исчезал, чтобы явиться с новой книгой.

Кругом, в низких прокуренных залах, галдели гости, к вечеру уже подвыпившие. Среди них сновали торгаши с мелочным товаром, бродили вокруг столов случайно проскользнувшие нищие, гремели кружками монашки-сборщицы.

Влетает оборванец, выпивает стакан водки и хочет убежать. Его задерживают половые. Скандал. Кликнули с поста городового, важного, толстого. Узнав, в чем дело, он плюет и, уходя, ворчит:

— Из-за пятака правительство беспокоють!

Изредка заходили сыщики, но здесь им делать было нечего. Мне их указывал Григорьев и много о них говорил. И многое из того, что он говорил, мне пригодилось впоследствии.

У Григорьева была большая прекрасная библиотека, составленная им исключительно на Сухаревке. Сын его, будучи студентом, участвовал в революции. В 1905 году он был расстрелян царскими войсками. Тело его нашли на дворе Пресненской части, в груде трупов. Отец не пережил этого и умер. Надо сказать, что и ранее Григорьев

считался неблагонадежным и иногда открыто воевал с полицией и ненавидел сыщиков…

Настоящих сыщиков до 1881 года не было, потому что сыскная полиция как учреждение образовалась только в 1881 году. До тех пор сыщиками считались только два пристава — Замайский и Муравьев, имевшие своих помощников из числа воров, которым мирволили в мелких кражах, а крупные преступления они должны были раскрывать и важных преступников ловить. Кроме этих двух, был единственно знаменитый в то время сыщик Смолин, бритый плотный старик, которому поручались самые важные дела. Центр района его действия была Сухаревка, а отсюда им были раскинуты нити повсюду, и он один только знал все. Его звали «Сухаревский губернатор».

Десятки лет он жил на 1-й Мещанской в собственном двухэтажном домике вдвоем со старухой прислугой. И еще, кроме мух и тараканов, было только одно живое существо в его квартире — это состарившаяся с ним вместе большущая черепаха, которую он кормил из своих рук, сажал на колени, и она ласкалась к нему своей голой головой с умными глазами.

Он жил совершенно одиноко, в квартире его — все знали — было много драгоценностей, но он никого не боялся: за него горой стояли громилы и берегли его, как он их берег, когда это было возможно. У него в доме никто не бывал: принимал только в сенях. Дружил с ворами, громилами, и главным образом с шулерами, бывая в игорных домах, где его не стеснялись. Он знал все, видел все — и молчал. Разве уж если начальство прикажет разыскать какую-нибудь дерзкую кражу, особенно у известного лица, — ну, разыщет, сами громилы скажут и своего выдадут…

Был с ним курьезный случай: как-то украли медную пушку из Кремля, пудов десяти весу, приказало ему начальство через три дня пушку разыскать. Он всех воров на ноги.

— Чтоб была у меня пушка! Свалите ее на Антроповых ямах в бурьян… Чтоб завтра пушка оказалась, где приказано.

На другой день пушка действительно была на указанном пустыре. Начальство перевезло ее в Кремль и водрузило на прежнем месте, у стены. Благодарность получил.

Уже много лет спустя выяснилось, что пушка для Смолина была украдена другая, с другого конца кремлевской стены послушными громилами, принесена на Антроповы ямы и возвращена в Кремль, а первая так и исчезла.

В преклонных годах умер Смолин бездетным. Пережила его только черепаха. При описи имущества, которое в то время, конечно, не все в опись попало, найдено было в его спальне два ведра золотых и серебряных часов, цепочек и портсигаров.

Громилы и карманники очень соболезновали:

— Сколько добра-то у нас пропало! Оно ведь все наше добро-то было… Ежели бы знать, что умрет Андрей Михайлович, — прямо голыми руками бери!

Десятки лет околачивался при кварталах сыщиком Смолин. Много легенд по Сухаревке ходило о нем. Еще до русско-турецкой войны в Златоустенском переулке в доме Медынцева совершенно одиноко жил богатый старик индеец. Что это был за человек, никто не знал. Кто говорил, что он торгует восточными товарами, кто его считал за дисконтера. Кажется, то и другое имело основание. К нему иногда ходили какие-то восточные люди, он был окружен сплошной тайной. Восточные люди вообще жили тогда на подворьях Ильинки и Никольской. И он жил в таком переулке, где днем торговля идет, а ночью ни одной души не увидишь. Кому какое дело — живет индеец и живет! Мало ли какого народу в Москве.

Вдруг индейца нашли убитым в квартире. Все было снаружи в порядке: следов грабежа не видно. В углу, на столике, стоял аршинный Будда литого золота; замки не взломаны. Явилась полиция для розысков преступников. Драгоценности целыми сундуками направили в хранилище Сиротского суда: бриллианты, жемчуг, золото, бирюза — мерами! Напечатали объявление о вызове наследников. Заторговала Сухаревка! Бирюзу горстями покупали, жемчуг… бриллианты…

Дело о задушенном индейце в воду кануло, никого не нашли. Наконец года через два явился законный наследник — тоже индеец, но одетый по-европейски. Он приехал с деньгами, о наследстве не говорил, а цель была одна — разыскать убийц дяди. Его сейчас же отдали на попечение полиции и Смолина.

Смолин первым делом его познакомил с восточными людьми Пахро и Абазом, и давай индейца для отыскивания следов по шулерским мельницам таскать — выучил пить и играть в модную тогда стуколку… Запутали, закружили юношу. В один прекрасный день он поехал ночью из игорного притона домой — да и пропал. Поговорили и забыли.

А много лет спустя как-то в дружеском разговоре с всеведущим Н. И. Пастуховым я заговорил об индейце. Оказывается, он знал много, писал тогда в «Современных известиях», но об индейце генерал-губернатором было запрещено даже упоминать.

— Кто же был этот индеец? — спрашиваю.

— Темное дело. Говорят, какой-то скрывавшийся глава секты душителей.

— Отчего же запретил о нем писать генерал-губернатор?

— Да оттого, что в спальне у Закревского золотой Будда стоял!

— Разве Закревский был буддист?!

— Как же, с тех пор, как с Сухаревки ему Будду этого принесли!

Небольшого роста, плечистый, выбритый и остриженный начисто, в поношенном черном пальто и картузе с лаковым козырьком, солидный и степенный, точь-в-точь камердинер средней руки, двигается незаметно Смолин по Сухаревке. Воры исчезают при его появлении. Если увидят, то знают, что он уже их заметил — и, улуча удобную минуту, подбегают к нему… Рыжий, щеголеватый карманник Пашка Рябчик что-то спроворил в давке и хотел скрыться, но взгляд сыщика остановился на нем. Сделав круг, Рябчик был уже около и что-то опустил в карман пальто Смолина.

— Щучка здесь… с женой… Проигрался… Зло работает…

— С Аннушкой?

— Да-с… Юрка к Замайскому поступил… Игроки с деньгами! У старьевщиков покупают… Вьюн… Голиаф… Ватошник… Кукиш и сам Цапля. Шуруют вон, гляди…

Быстро выпалил и исчез. Смолин переложил серебряные часы в карман брюк.

Издали углядел в давке высокую женщину в ковровом платке, а рядом с ней козлиную бородку Щучки. Женщина увидала и шепнула бороде. Через минуту Щучка уже терся как незнакомый около Смолина.

— Сегодня до кишок меня раздели… У Васьки Темного… проигрался!

— Ничего, злее воровать будешь! Щучка опустил ему в карман кошелек.

— Аннушка сработала?

— Она… Сам не знаю, что в нем…

— А у Цапли что?

— Прямо плачу, что не попал, а угодил к Темному! Вот дело было! Сашку Утюга сегодня на шесть тысяч взяли…

— Сашку? Да он сослан в Сибирь!

— Какое! Всю зиму на Хитровке околачивался… болел… Марк Афанасьев подкармливал. А в четверг пофартило, говорят, в Гуслицах с кем-то купца пришил… Как одну копейку шесть больших отдал. Цапля метал… Архивариус метал. Резал Назаров.

— Расплюев!

— Да, вон он с Цаплей у палатки стоит… Андрей Михайлович, первый фарт тебе отдал!.. Дай хоть копеечку на счастье…

— На, разживайся! — И отдал обратно кошелек.

— Вот спасибо! Век не забуду… Ведь почин дороже денег… Теперь отыграюсь! Да! Сашку до копья разыграли. Дали ему утром сотенный билет, он прямо на вокзал в Нижний… А Цапля завтра новую мельницу открывает, богатую.

Смолин подходит к Цапле.

— С добычей! Когда на новоселье позовешь? У Цапли и лицо вытянулось.

— Сашку-то сегодня на шесть больших слопали! Ну, когда новоселье?..

Оторопел окончательно старый Цапля.

— Цапля! Это что ты отобрал? Портреты каких-то вельмож польских… На что они тебе?

— Для дураков, Андрей Михайлович, для дураков… Повешу в гостиной — за моих предков сойдут… Так в четверг, милости просим, там же на Цветном, над моей старой квартирой… сегодня снял в бельэтаже…

— Сашку на Волгу спровадили?

Добивает Цаплю всеведущий сыщик и идет дальше, к ювелирным палаткам, где выигравшие деньги шулера обращают их в золотые вещи, чтоб потом снова проиграться на мельницах…

Поговорит с каждым, удивит каждого своими познаниями, а от них больше выудит…

— Это кто такой франт, что с Абазом стоит?

— Невский гусь… как его…

— Кихибарджи?.. Зачем он здесь?

— За кем-то из купцов охотится… в «Славянском базаре» в сорокарублевом номере

остановились. И Караулов с ними…

И по развалу проползет тенью Смолин. Увидал Комара.

— Ну как твои куклы?

Все Смолин знает — не то, что где было, а что и когда будет и где…

И знает, и будет молчать, пока его самого начальство не прищучит!

* * *

Из властей предержащих почти никто не бывал на Сухаревке, кроме знаменитого московского полицмейстера Н. И. Огарева, голова которого с единственными в Москве усами черными, лежащими на груди, изредка по воскресеньям маячила над толпой около палаток антикваров. В палатках он время от времени покупал какие-нибудь удивительные стенные часы. И всегда платил за них наличные деньги, и никогда торговцы с него, единственного, может быть, не запрашивали лишнего. У него была страсть к стенным часам. Его квартира была полна стенными часами, которые били на разные голоса непрерывно, одни за другими. Еще он покупал карикатуры на полицию всех стран, и одна из его комнат была увешана такими карикатурами. Этим товаром снабжали его букинисты и цензурный комитет, задерживавший такие издания.

Особенно он дорожил следующей карикатурой.

Нарисован забор. Вдали каланча с вывешенными шарами и красным флагом (сбор всех частей). На заборе висят какие-то цветные лохмотья, а обозленная собака стоит на задних лапках, карабкается к лохмотьям и никак не может их достать.

Подпись:

«Далеко Арапке до тряпки» (в то время в Петербурге был обер-полицмейстером Трепов, а в Москве — Арапов).

— Вот идиоты, — говорил Н. И. Огарев.

Ну кто бы догадался! Так бы и прошла насмешка незаметно… Я видел этот номер «Будильника», внимания на него не обратил до тех пор, пока городовые не стали отбирать журнал у газетчиков. Они все и рассказали.

В те времена палаток букинистов было до тридцати. Здесь можно было приобрести все, что хочешь. Если не найдется нужный том какого-нибудь разрозненного сочинения, только закажи, к другому воскресенью достанут. Много даже редчайших книг можно было приобрести только здесь. Библиофилы не пропускали ни одного воскресенья. А как к этому дню готовились букинисты! Шесть дней рыщут — ищут товар по частным домам, усадьбам, чердакам, покупают целые библиотеки у наследников или разорившихся библиофилов, а «стрелки» скупают повсюду книги и перепродают их букинистам, собиравшимся в трактирах на Рождественке, в Большом Кисельном переулке и на Малой Лубянке. Это была книжная биржа, завершавшаяся на Сухаревке, где каждый постоянный покупатель знал каждого букиниста и каждый букинист знал каждого покупателя: что ему надо и как он платит. Особым почетом у букинистов пользовались профессора И. Е. Забелин, Н. С. Тихонравов и Е. В. Барсов.

Любили букинисты и студенческую бедноту, делали для нее всякие любезности. Приходит компания студентов, человек пять, и общими силами покупают одну книгу или издание лекций совсем задешево, и все учатся по одному экземпляру. Или брали напрокат книгу, уплачивая по пятачку в день. Букинисты давали книги без залога, и никогда книги за студентами не пропадали.

Букинисты и антиквары (последних звали «старьевщиками») были аристократической частью Сухаревки. Они занимали место ближе к Спасским казармам. Здесь не было той давки, что на толкучке. Здесь и публика была чище: коллекционеры и собиратели библиотек, главным образом из именитого купечества.

Всем букинистам был известен один собиратель, каждое воскресенье копавшийся в палатках букинистов и в разваленных на рогожах книгах, оставивший после себя ценную

библиотеку. И рассчитывался он всегда неуклонно так: сторгует, положим, книгу, за которую просили пять рублей, за два рубля, выжав все из букиниста, и лезет в карман. Вынимает два кошелька, из одного достает рубль, а из другого вываливает всю мелочь и дает один рубль девяносто три копейки.

— Семи копеечек нет… Вот получите.

Знают эту систему букинисты, знают, что ни за что не добавит, и отдают книгу.

А один букинист раз сказал ему:

— Ну как вам не совестно копеечки-то у нашего брата вымарщивать?

— Ты ничего не понимаешь! А в год-то их сколько накопится?

Знали еще букинисты одного курьезного покупателя. Долгое время ходил на Сухаревку старый лакей с аршином, в руках и требовал книги в хороших переплетах и непременно известного размера. За ценой не стоял. Его чудак-барин, разбитый параличом и не оставлявший постели, таким образом составлял библиотеку, вид которой утешал его.

На этой «аристократической» части Сухаревки вперемежку с букинистами стояли и палатки антикваров.

Уважаемым покупателем у последних был Петр Иванович Щукин. Сам он редко бывал на Сухаревке. К нему товар носили на дом. Дверь его кабинета при амбаре на Ильинке, запертая для всех, для антикваров всегда была открыта. Вваливаются в амбар барахольщики с огромными мешками, их сейчас же провожают в кабинет без доклада. Через минуту Петр Иванович погружается в тучу пыли, роясь в грудах барахла, вываленного из мешков. Отбирает все лучшее, а остатки появляются на Сухаревке в палатках или на рогожах около них. Сзади этих палаток, к улице, барахольщики второго сорта раскидывали рогожи, на которых был разложен всевозможный чердачный хлам: сломанная медная ручка, кусок подсвечника, обломок старинной канделябры, разрозненная посуда, ножны от кинжала.

И любители роются в товаре и всегда находят что купить. Время от времени около этих рогож появляется владелец колокольного завода, обходит всех и отбирает обломки лучшей бронзы, которые тут же отсылает домой, на свой завод. Сам же направляется в палатки антикваров и тоже отбирает лом серебра и бронзы.

— Что покупаете? — спрашиваю как-то его.

— Серебряный звон!

Для Сухаревки это развлечение.

Колокол льют! Шушукаются по Сухаревке — и тотчас же по всему рынку, а потом и по городу разнесутся нелепые россказни и вранье. И мало того, что чужие повторяют, а каждый сам старается похлеще соврать, и обязательно действующее лицо, время и место действия точно обозначит.

— Слышали, утром-то сегодня? Под Каменным мостом кит на мель сел… Народищу там!

— В беговой беседке у швейцара жена родила тройню — и все с жеребячьими головами.

— Сейчас Спасская башня провалилась. Вся! И с часами! Только верхушку видать.

Новичок и в самом деле поверит, а настоящий москвич выслушает и виду не подает, что вранье, не улыбается, а сам еще чище что-нибудь прибавит. Такой обычай:

— Колокол льют!

Сотни лет ходило поверье, что чем больше небылиц разойдется, тем звонче колокол отольется. А потом встречаются:

— Чего ты назвонил, что башня провалилась? Бегал — на месте стоит, как стояла!

— У Финляндского на заводе большой колокол льют! Ха-ха-ха!

С восьмидесятых годов, когда в Москве начали выходить газеты и запестрели объявлениями колокольных заводов, Сухаревка перестала пускать небылицы, которые в те времена служили рекламой. А колоколозаводчик неукоснительно появлялся на Сухаревке и скупал «серебряный звон». За ним очень ухаживали старьевщики, так как он был не из типов, искавших «на грош пятаков».

Это был покупатель со строго определенной целью — купить «серебряный звон», а не «на грош пятаков». Близок к нему был еще один «чайник», не пропускавший ни одного воскресенья, скупавший, не выжиливая копеечку и фарфор, и хрусталь, и картины…

Между любителями-коллекционерами были знатоки, особенно по хрусталю, серебру и фарфору, но таких было мало, большинство покупателей мечтало купить за «красненькую» настоящего Рафаэля, чтобы потом за тысячи перепродать его, или купить из «первых рук» краденое бриллиантовое колье за полсотни… Пускай потом картина Рафаэля окажется доморощенной мазней, а колье — бутылочного стекла, покупатель все равно идет опять на Сухаревку в тех же мечтах и до самой смерти будет искать «на грош пятаков». Ни образования, ни знания, ничего, кроме тятенькиных капиталов и природного уменья наживать деньги, у него не имеется.

И торгуются такие покупатели из-за копейки до слез, и радуются, что удалось купить статуэтку голой женщины с отбитой рукой и поврежденным носом, и уверяют они знакомых, что даром досталась:

— Племянница Венеры Милосской!

— Что?!

— А рука-то где! А вы говорите!

Еще обидится! И пойдет торговаться с извозчиком из-за гривенника.

Много таких ходило по Сухаревке, но посещали Сухаревку и истинные любители старины, которые оставили богатые коллекции, ставшие потом народным достоянием.

…Но много их и пропало. Все делалось как-то втихомолку, по-сухаревски.

И все эти антиквары и любители были молчаливы, как будто они покупали краденое. Купит, спрячет и молчит. И все в одиночку, тайно друг от друга.

Но раз был случай, когда они все жадной волчьей стаей или, вернее, стаей пугливого воронья набросились па крупную добычу. Это было в восьмидесятых годах.

Тогда умер знаменитый московский коллекционер М. М. Зайцевский, более сорока лет собиравший редкости изящных искусств, рукописей, пергаментов, первопечатных книг. Полвека его знала вся Сухаревка.

За десятки лет все его огромные средства были потрачены на этот музей, закрытый для публики и составлявший в полном смысле этого слова жизнь для своего старика владельца, забывавшего весь мир ради какой-нибудь «новенькой старинной штучки» и никогда не отступившего, чтобы не приобрести ее.

Он ухаживал со страстью и терпением за какой-нибудь серебряной крышкой от кружки и не успокаивался, пока не приобретал ее. Я знаком был с М. М. Зайцевским, но трудно было его уговорить показать собранные им редкости. Да никому он их и не показывал. Сам, один любовался своими сокровищами, тщательно их охраняя от постороннего глаза.

Прошло сорок лет, а у меня до сих пор еще мелькают перед глазами редкости этих четырех больших комнат его собственного дома по Хлебному переулку. Стены комнат тесно увешаны массой старинных картин. На первом плане картина, изображающая святого Иеронима. Это оригинал замечательного художника. Некоторые знатоки приписывали его кисти Луки Джиордано. Рядом с этой картиной помещались две громадные картины фламандской школы, изображающие пир и торжественный выход какого-то властителя. Далее картина Лессуера «Христос с детьми», картина Адриана Стаде и множество других картин прошлых веков.

В следующей комнате огромная коллекция редчайших икон, начиная с икон строгановского письма, кончая иконами, уцелевшими чуть не со времен гонения на христиан. Тут же коллекция крестов. Между ними золотой складень с надписью: «Моление головы московских стрельцов Матвея Тимофеевича Синягина». Третья комната занята портретами на кости и на металле. Портрет Екатерины II, сделанный из немецких букв, которые можно рассмотреть только в лупу. Из букв составлялась вся история царствования. Еще два портрета маслом с графа Орлова-Чесменского. На одном портрете граф изображен на своем Барсе верхом, а на другом — в санях, запряженных Свирепым. Около на столе

лежит кованая, вся в бирюзе, сбруя Свирепого. Далее сотни часов, рогов, кружек, блюд, а посреди их статуя Ермака Тимофеевича, грудь которого сделана из огромной цельной жемчужины. Она стоит на редчайшем серебряном блюде XI века.

Перечислить все, что было в этих залах, невозможно. А на дворе, кроме того, большой сарай был завален весь разными редкостями более громоздкими. Тут же вся его библиотека. В отделении первопечатных книг была книга «Учение Фомы Аквинского», напечатанная в 1467 году в Майнце, в типографии Шефера, компаньона изобретателя книгопечатания Гутенберга.

В отделе рукописей были две громадные книги на пергаменте с сотнями рисунков рельефного золота. Это «Декамерон» Боккаччо, писанная по-французски в 1414 году.

После смерти владельца его наследники, не открывая музея для публики, выставили некоторые вещи в залах Исторического музея и снова взяли их, решив продать свой музей, что было необходимо для дележа наследства. Ученые-археологи, профессора, хранители музеев дивились редкостям, высоко ценили их и соболезновали, что казна не может их купить для своих хранилищ.

Три месяца музей стоял открытым для покупателей, но продать, за исключением мелочей, ничего не удалось: частные московские археологи, воспитанные на традициях Сухаревки с девизом «на грош пятаков», ходили стаями и ничего не покупали. Сухаревские старьевщики-барахольщики типа Ужо, коллекционеры, бесящиеся с жиру или собирающие коллекции, чтобы похвастаться перед знакомыми, или скупающие драгоценности для перевода капиталов из одного кармана в другой, или просто желающие помаклачить искатели «на грош пятаков», вели себя возмутительно.

Они с видом знатоков старались «овладеть» своими глазами, разбегающимися, как у вора на ярмарке, при виде сокровищ, поднимали голову и, рассматривая истинно редкие, огромной ценности вещи, говорили небрежно:

— М…н…да… Но это не особенная редкость! Пожалуй, я возьму ее. Пусть дома валяется… Целковых двести дам.

Так ценили финифтьевый ларец, стоивший семь тысяч рублей.

Об этом ларце в воскресенье заговорили молчаливые раритетчики на Сухаревке. Предлагавший двести рублей на другой день подсылал своего подручного купить его за три тысячи рублей. Но наследники не уступили. А Сухаревка, обиженная, что в этом музее даром ничего не укупишь, начала «колокола лить».

Несколько воскресений между антикварами только и слышалось, что лучшие вещи уже распроданы, что наследники нуждаются в деньгах и уступают за бесценок, но это не помогло сухаревцам укупить «на грош пятаков».

В один прекрасный день на двери появилась вывеска, гласившая, что Сухаревских маклаков и антикваров из переулков (были названы два переулка) просят «не трудиться звонить».

Дальнейшую судьбу музея и его драгоценностей я не знаю.

Помню еще, что сын владельца музея В. М. Зайцевский, актер и рассказчик, имевший в свое время успех на сцене, кажется, существовал только актерским некрупным заработком, умер в начале этого столетия. Его знали под другой, сценической фамилией, а друзья, которым он в случае нужды помогал щедрой рукой, звали его просто — Вася Днепров.

Что он Зайцевский — об этом и не знали. Он как-то зашел ко мне и принес изданную им книжку стихов и рассказов, которые он исполнял на сцене. Книжка называлась «Пополам». Меня он не застал и через день позвонил по телефону, спросив, получил ли я ее.

— Спасибо, — ответил я, — жаль, что не застал меня. Кстати, скажи, цел ли отцовский музей?

— Эге! Хватился! Только и остался портрет отца, и то я его этой зимой на Сухаревке купил.

* * *

Неизменными посетителями Сухаревки были все содержатели антикварных магазинов. Один из них являлся с рассветом, садился на ящик и смотрел, как расставляют вещи. Сидит, глядит и, чуть усмотрит что-нибудь интересное, сейчас ухватит раньше любителей-коллекционеров, а потом перепродаст им же втридорога.

Нередко антиквары гнали его:

— Да уходите, не мешайте, дайте разложиться!

— Ужо! Ужо! — отвечает он всегда одним и тем же словом и сидит, как примороженный.

Так и звали его торговцы: «Ужо!»

Любил рано приходить на Сухаревку и Владимир Егорович Шмаровин. Он считался знатоком живописи и поповского фарфора.[6] Он покупал иногда серебряные чарочки, из которых мы пили на его «средах», покупал старинные дешевые медные, бронзовые серьги. Он прекрасно знал старину, и его обмануть было нельзя, хотя подделок фарфора было много, особенно поповского. Делали это за границей, откуда приезжали агенты и привозили товар.

На Сухаревке была одна палатка, специально получавшая из-за границы поддельного «Попова». Подделки практиковались во всех областях.

Нумизматы неопытные также часто попадались на сухаревскую удочку. В серебряном ряду у антикваров стояли витрины, полные старинных монет. Кроме того, на застекленных лотках продавали монеты ходячие нумизматы. Спускали по три, по пяти рублей редкостные рубли Алексея Михайловича и огромные четырехугольные фальшивые медные рубли московской и казанской работы.

Поддельных Рафаэлей, Корреджио, Рубенсов — сколько хочешь. Это уж специально для самых неопытных искателей «на грош пятаков». Настоящим знатокам их даже и не показывали, а товар все-таки шел.

Был интересный случай. К палатке одного антиквара подходит дама, долго смотрит картины и останавливается на одной с надписью: «И. Репин»; на ней ярлык: десять рублей.

— Вот вам десять рублей. Я беру картину. Но если она не настоящая, то принесу обратно. Я буду у знакомых, где сегодня Репин обедает, и покажу ему.

Приносит дама к знакомым картину и показывает ее И. Е. Репину. Тот хохочет. Просит перо и чернила и подписывает внизу картины: «Это не Репин. И. Репин».

Картина эта опять попала на Сухаревку и была продана благодаря репинскому автографу за сто рублей.

Старая Сухаревка занимала огромное пространство в пять тысяч квадратных метров. А кругом, кроме Шереметевской больницы, во всех домах были трактиры, пивные, магазины, всякие оптовые торговли и лавки — сапожные и с готовым платьем, куда покупателя затаскивали чуть ли не силон. В ближайших переулках — склады мебели, которую по воскресеньям выносили на площадь.

Главной же, народной Сухаревкой была толкучка и развал.

Какие два образных слова: народ толчется целый день в одном месте, и так попавшего в те места натолкают, что потом всякое место болит! Или развал: развалят нескончаемыми рядами на рогожах немудрый товар и торгуют кто чем: кто рваной обувью, кто старым железом; кто ключи к замкам подбирает и тут же подпиливает, если ключ не подходит. А карманники по всей площади со своими тырщиками снуют: окружат, затырят, вытащат. Кричи «караул» — никто и не послушает, разве за карман схватится, а он, гляди, уже пустой, и сам поет: «Караул! Ограбили!» И карманники шайками ходят, и кукольники с подкидчиками шайками ходят, и сменщики шайками, и барышники шайками.

На Сухаревке жулью в одиночку делать нечего. А сколько сортов всякого жулья! Взять хоть «играющих»: во всяком удобном уголку садятся прямо на мостовую трое-четверо и

---

[6] Фарфоровый завод Попова

открывают игру в три карты — две черные, одна красная. Надо угадать красную. Или игра в ремешок: свертывается кольцом ремешок, и надо гвоздем попасть так, чтобы гвоздь остался в ремешке. Но никогда никто не угадает красной, и никогда гвоздь не останется в ремне. Ловкость рук поразительная.

И десятки шаек игроков шатаются по Сухаревке, и сотни простаков, желающих нажить, продуваются до копейки. На лотке с гречневиками тоже своя игра; ею больше забавляются мальчишки в надежде даром съесть вкусный гречневик с постным маслом. Дальше ходячая лотерея — около нее тоже жулье.

Имеются жулики и покрупнее.

Пришел, положим, мужик свой последний полушубок продавать. Его сразу окружает шайка барышников. Каждый торгуется, каждый дает свою цену. Наконец, сходятся в цене. Покупающий неторопливо лезет в карман, будто за деньгами, и передает купленную вещь соседу. Вдруг сзади мужика шум, и все глядят туда, а он тоже туда оглядывается. А полушубок в единый миг, с рук на руки, и исчезает.

— Что же деньги-то, давай!

— Че-ево?

— Да деньги за шубу!

— За какую? Да я ничего и не видал!

Кругом хохот, шум. Полушубок исчез, и требовать не с кого.

Шайка сменщиков: продадут золотые часы, с пробой, или настоящее кольцо с бриллиантом, а когда придет домой покупатель, поглядит — часы медные и без нутра, и кольцо медное, со стеклом.

Положим, это еще Кречинский делал. Но Сухаревка выше Кречинского. Часы или булавку долго ли подменить! А вот подменить дюжину штанов — это может только Сухаревка. Делалось это так: ходят малые по толкучке, на плечах у них перекинуты связки штанов, совершенно новеньких, только что сшитых, аккуратно сложенных.

— Почем штаны?

— По четыре рубля. Нет, ты гляди, товар-то какой… По случаю аглицкий кусок попал. Тридцать шесть пар вышло. Вот и у него, и у него. Сейчас только вынесли.

Покупатель и у другого смотрит.

— По три рубля… пару возьму.

— Эка!

— Ну, красненькую за трое… Берешь?

— По четыре… А вот что, хошь ежели, бери всю дюжину за три красных…

У покупателя глаза разгорелись: кому ни предложи, всякий купит по три, а то и по четыре рубля. А сам у того и другого смотрит и считает, — верно, дюжина. А у третьего тоже кто-то торгует тут рядом.

Сторговались за четвертную. Покупатель отдает деньги, продавец веревочкой связывает штаны… Вдруг покупателя кто-то бьет по шее. Тот оглядывается.

— Извини, обознался, за приятеля принял!

Покупатель получает штаны и уходит. Приносит домой. Оказывается, одна штанина сверху и одна снизу, а между ними — барахло.

Сменили пачку, когда он оглянулся.

Купил «на грош пятаков»!

Около селедочниц, сидящих рядами и торгующих вонючей обжоркой, жулья меньше; тут только снуют, тоже шайками, бездомные ребятишки, мелкие карманники и поездошники, таскающие у проезжих саквояжи из пролеток. Обжорка — их любимое место, их биржа. Тухлая колбаса в жаровнях, рванинка, бульонка, обрезки, ржавые сельди, бабы на горшках с тушеной картошкой… Вдруг ливень. Развал закутывает рогожами товар. Кто может, спасается под башню. Только обжорка недвижима — бабы поднимают сзади подолы и окутывают голову… Через несколько минут опять голубое небо, и толпа опять толчется на рынке.

После дождя и в дождь особенно хорошо торгуют обувью.

В одну из палаток удалось затащить чиновника в сильно поношенной шинели. Его долго рвали пополам два торговца — один за правую руку, другой за левую.

За два рубля чиновник покупает подержанные штиблеты, обувается и уходит, лавируя между лужами.

Среди торговцев — спор:

— Не дойдет!

— Дойдет!

— На пару пива?

— На скольки?

— На четверть часа.

— Пошло.

— Нет, бриться идет!

Чиновник уселся на тумбу около башни. Небритый и грязный цирюльник мигнул вихрастому мальчишке, тот схватил немытую банку из-под мази, отбежал, черпнул из лужи воды и подал. Здесь бритье стоило три копейки, а стрижка — пять.

По утрам, когда нет клиентов, мальчишки обучались этому ремеслу на отставных солдатах, которых брили даром. Изрежет неумелый мальчуган несчастного, а тот сидит и терпит, потому что в билете у него написано: «бороду брить, волосы стричь, по миру не ходить». Через неделю опять солдат просит побрить!

— Ну, недорезанный, садись! — приглашает его на тумбу московский Фигаро.

Я любил останавливаться и подолгу смотреть на эту галдящую орду, а иногда и отдаваться воле зазывал.

Идешь по тротуару мимо лавок, а тебя за полы хватают.

— Пожалте-с, у нас покупали!

Тащат и тащат. Хочешь не хочешь, заведут в лавку. А там уже обступят другие приказчики: всякий свое дело Делает и свои заученные слова говорит. Срепетовка ролей и исполнение удивительные. Заставят пересмотреть, а то и примерить всё: и шубу, и пальто, и поддевку.

— Да ведь мне ничего не надо!

— Теперь не надо. Опосля понадобится. Лишнее знание не повредит. Окромя пользы, от этого ничего. Может, что знакомым понадобится, вот и знаете, где купить, а каков товар — своими глазами убедились.

Шумит зазывала на улице у лавки.

Идет строгая дама.

— Сударыня! У нас покупали. Для супруга пальто, для деток поддевки-с…

Дама гордо проходит мимо. Тон зазывалы меняется.

— Сударыня, сударыня! Из брюк чего-нибудь не желаете ли!.. — кричит ей вдогонку при общем хохоте зазывала и ловит новых прохожих.

А какие там типы были! Я знал одного из них. Он брал у хозяина отпуск и уходил на масленицу и пасху в балаганы на Девичьем поле в деды-зазывалы. Ему было под сорок, жил он с мальчиков у одного хозяина. Звали его Ефим Макариевич. Не Макарыч, а из почтения — Макариевич.

У лавки солидный и важный, он был в балагане неузнаваем с своей седой подвязанной бородой. Как заорет на все поле:

— Рррра-ррр-ра-а! К началу! У нас Юлия Пастраны [7] — двоюродная внучка от облизьяны! Дыра на боку, вся в шелку!.. — И пойдет и пойдет…

Толпа уши развесит. От всех балаганов сбегаются люди «Юшку-комедианта» слушать. Таращим и мы на него глаза, стоя в темноте и давке, задрав головы. А он седой бородой

---

[7] Женщина с бородой, которую в то время показывали в цирках и балаганах

трясет да над нами же издевается. Вдруг ткнет в толпу пальцем да как завизжит:

— Чего ты чужой карман шаришь?

И все завертят головами, а он уже дальше: ворону увидал — и к ней.

— Дура ты дура! Куда тебя зря нечистая сила прет… Эх ты, девятиногая буфетчица из помойной ямы!.. Рр-ра-ра! К началу-у, к началу!

Сорвет бороду, махнет ею над головой и исчезнет вниз.

А через минуту опять выскакивает, на ходу бороду нацепляет:

— Эге-ге-гей! Публик почтенная, полупочтенная и которая так себе! Начинайте торопиться, без вас не начнем. Знай наших, не умирай скорча.

Вдруг остановится, сделает серьезную физиономию, прислушивается. Толпа замрет.

— Ой-ой-ой! Да никак начали! Торопись, ребя! И балаган всегда полон, где Юшка орет. Однажды, беседуя с ним за чайком, я удивился тому, как он ловко умеет владеть толпою. Он мне ответил:

— Это что, толпа — баранье стадо. Куда козел, туда и она. Куда хочешь повернешь. А вот на Сухаревке попробуй! Мужику в одиночку втолкуй, какому-нибудь коблу лесному, а еще труднее — кулугуру степному, да заставь его в лавку зайти, да уговори его ненужное купить. Это, брат, не с толпой под Девичьим, а в сто раз потруднее! А у меня за тридцать лет на Сухаревке никто мимо лавки не прошел. А ты — толпа. Толпу… зимой купаться уговорю!

Сухаревка была особым миром, никогда более не повторяемым. Она вся в этом анекдоте:

Один из посетителей шмаровинских «сред», художник-реставратор, возвращался в одно из воскресений с дачи и прямо с вокзала, по обыкновению, заехал на Сухаревку, где и купил великолепную старую вазу, точь-в-точь под пару имеющейся у него.

Можете себе представить радость настоящего любителя, приобретшего такое ценное сокровище!

А дома его встретила прислуга и сообщила, что накануне громилы обокрали его квартиру.

Он купил свою собственную вазу!

Под китайской стеной

Постройка Китайской стены, отделяющей Китай-город от Белого города, относится к половине XVI века. Мать Иоанна Грозного, Елена Глинская, назвала эту часть города Китай-городом в воспоминание своей родины — Китай-городка на Подолии.

В начале прошлого столетия, в 1806 году, о китайгородской стене писал П. С. Валуев: «Стены Китая от злоупотребления обращены в постыдное положение. В башнях заведены лавки немаловажных чиновников; к стенам пристроены в иных местах неблаговидные лавочки, в других погреба, сараи, конюшни… Весьма много тому способствуют и фортификационные укрепления земляные, бастион и ров, которых в древности никогда не было. Ими заложены все из города стоки. Нечистоты заражают воздух. Такое злоупотребление началось по перенесении столицы в Петербург… Кругом всей стены Китай-города построены каменные и деревянные лавки».

После этого как раз перед войной 1812 года, насколько возможно, привели стену в порядок. С наружной стороны уничтожили пристройки, а внутренняя сторона осталась по-старому, и вдобавок на Старой площади, между Ильинскими и Никольскими воротами, открылся Толкучий рынок, который в половине восьмидесятых годов был еще в полном блеске своего безобразия. Его великолепно изобразил В. Е. Маковский на картине, которая находится в Третьяковской галерее. Закрыли толкучку только в восьмидесятых годах, но следы ее остались,-

она развела трущобы в самом центре города, которые уничтожила только советская власть. Это были лавочки, пристроенные к стене вплоть до Варварских ворот, а с наружной — Лубянская площадь с ее трактирами-притонами и знаменитой «Шиповской крепостью».

В екатерининские времена на этом месте стоял дом, в котором помещалась типография Н. И. Новикова, где он печатал свои издания. Дом этот был сломан тогда же, а потом, в первой половине прошлого столетия, был выстроен новый, который принадлежал генералу Шипову, известному богачу, имевшему в столице силу, человеку весьма оригинальному: он не брал со своих жильцов плату за квартиру, разрешал селиться по сколько угодно человек в квартире, и никакой не только прописки, но и записей жильцов не велось…

Полиция не смела пикнуть перед генералом, и вскоре дом битком набился сбежавшимися отовсюду ворами и бродягами, которые в Москве орудовали вовсю и носили плоды ночных трудов своих скупщикам краденого, тоже ютившимся в этом доме. По ночам пройти по Лубянской площади было рискованно.

Обитатели «Шиповской крепости» делились на две категории: в одной — беглые крепостные, мелкие воры, нищие, сбежавшие от родителей и хозяев дети, ученики и скрывшиеся из малолетнего отделения тюремного замка, затем московские мещане и беспаспортные крестьяне из ближних деревень. Все это развеселый пьяный народ, ищущий здесь убежища от полиции.

Категория вторая — люди мрачные, молчаливые. Они ни с кем не сближаются и среди самого широкого разгула, самого сильного опьянения никогда не скажут своего имени, ни одним словом не намекнут ни на что былое. Да никто из окружающих и не смеет к ним подступиться с подобным вопросом. Это опытные разбойники, дезертиры и беглые с каторги. Они узнают друг друга с первого взгляда и молча сближаются, как люди, которых связывает какое-то тайное звено. Люди из первой категории понимают, кто они, но, молча, под неодолимым страхом, ни словом, ни взглядом не нарушают их тайны.

Первая категория исчезает днем для своих мелких Делишек, а ночью пьянствует и спит.

Вторая категория днем спит, а ночью «работает» по Москве или ее окрестностям, по барским и купеческим усадьбам, по амбарам богатых мужиков, по проезжим дорогам. Их работа пахнет кровью. В старину их называли «Иванами» а впоследствии — «деловыми ребятами».

И вот, когда полиция после полуночи окружила однажды дом для облавы и заняла входы, в это время возвращавшиеся с ночной добычи «иваны» заметили неладное, собрались в отряды и ждали в засаде. Когда полиция начала врываться в дом, они, вооруженные, бросились сзади на полицию, и началась свалка. Полиция, ворвавшаяся в дом, встретила сопротивление портяночников изнутри и налет «Иванов» снаружи. Она позорно бежала, избитая и израненная, и надолго забыла о новой облаве.

«Иваны», являясь с награбленным имуществом, с огромными узлами, а иногда с возом разного скарба на отбитой у проезжего лошади, дожидались утра и тащили добычу в лавочки Старой и Новой площади, открывавшиеся с рассветом. Ночью к этим лавочкам подойти было нельзя, так как они охранялись огромными цепными собаками. И целые возы пропадали бесследно в этих лавочках, пристроенных к стене, где имелись такие тайники, которых в темных подвалах и отыскать было нельзя.

Лавочки мрачны даже днем, — что в них лежит, разглядеть нельзя. С виду, по наружно выставленному товару, каждая из этих лавочек как бы имеет свою специальную, небогатую торговлю. В одной продавали дешевые меха, в другой — старую, чиненую обувь, в третьей — шерсть и бумагу, в четвертой — лоскут, в пятой — железный и медный лом… Но все это только приличная обстановка для непосвященных, декорация, за которой скрывается самая суть дела. В этих лавчонках, принималось все, что туда ни привозилось и ни приносилось, — от серебряной ложки до самовара и от фарфоровой чашки до надгробного памятника…

Как-то полиции удалось разыскать здесь даже медную десятипудовую пушку, украденную из Кремля.

Днем лавочки принимали розницу от карманников и мелких воришек — от золотых часов до носового платка или сорванной с головы шапки, а на рассвете оптом, узлами, от «иванов» — ночную добычу, иногда еще с необсохшей кровью. Получив деньги, «иваны» шли пировать в свои притоны, излюбленные кабаки и трактиры, в «Ад»

на Трубу или «Поляков трактир». Мелкие воры и жулики сходились в притоны вечером, а «иваны» — к утру, иногда даже не заходя в лавочки у стены, и прямо в трактирах, в секретных каморках «тырбанили слам» — делили добычу и тут же сбывали ее трактирщику или специальным скупщикам.

В дни существования «Шиповской крепости» главным разбойничьим притоном был близ Яузы «Поляков трактир», наполненный отдельными каморками, где производился дележ награбленного и продажа его скупщикам. Здесь собирались бывшие люди, которые ничего не боялись и ни над чем не задумывались…

В одной из этих каморок четверо грабителей во время дележа крупной добычи задушили своего товарища, чтобы завладеть его долей… Здесь же, на чердаке, были найдены трубочистом две отрубленные ноги в сапогах.

После дележа начиналось пьянство с женщинами или игра. Серьезные «иваны» не увлекались пьянством и женщинами. Их страстью была игра. Тут «фортунка» и «судьба» и, конечно, шулера.

Трактир Полякова продолжал процветать, пока не разогнали Шиповку. Но это сделала не полиция. Дом после смерти слишком человеколюбивого генерала Шилова приобрело императорское человеколюбивое общество и весьма не человеколюбиво принялось оно за старинных вольных квартирантов. Все силы полиции и войска, которые были вызваны в помощь ей, были поставлены для осады неприступной крепости. Старики, помнящие эту ночь, рассказывали так:

— Нахлынули в темную ночь солдаты — тишина и мрак во всем доме. Входят в первую квартиру — темнота, зловоние и беспорядок, на полах рогожи, солома, тряпки, поленья. Во всей квартире оказалось двое: хозяин да его сын-мальчишка.

В другой та же история, в третьей — на столе полштофа вина, куски хлеба и огурцы — и ни одного жильца. А у всех выходов — солдаты, уйти некуда. Перерыли сараи, погреба, чуланы — нашли только несколько человек, молчаливых как пни, и только утром заря и первые лучи солнца открыли тайну, осветив крышу, сплошь усеянную оборванцами, лежащими и сидящими. Их согнали вниз, даже не арестовывали, а просто выгнали из дома, и они бросились толпами на пустыри реки Яузы и на Хитров рынок, где пооткрывался ряд платных ночлежных домов. В них-то и приютились обитатели Шиповки из первой категории, а «иваны» первое время поразбрелись, а потом тоже явились на Хитров и заняли подвалы и тайники дома Ромейко в «Сухом овраге».

Человеколюбивое общество, кое-как подремонтировав дом, пустило в него такую же рвань, только с паспортами, и так же тесно связанную с толкучкой. Заселили дом сплошь портные, сапожники, барышники и торговцы с рук, покупщики краденого.

Целые квартиры заняли портные особой специальности — «раки». Они были в распоряжении хозяев, имевших свидетельство из ремесленной управы. «Раками» их звали потому, что они вечно, «как рами на мели», сидели безвыходно в своих норах, пропившиеся до последней рубашки.

Шипов дом не изменил своего названия и сути. Прежде был он населен грабителями, а теперь заселился законно прописанными «коммерсантами», неусыпно пекущимися об исчезновении всяких улик кражи, грабежа и разбоя, «коммерсантами», сделавшими из этих улик неистощимый источник своих доходов, скупая и перешивая краденое.

Смело можно сказать, что ни один домовладелец не получал столько верных и громадных процентов, какие получали эти съемщики квартир и приемщики краденого.

В этом громадном трехэтажном доме, за исключением нескольких лавок, харчевен, кабака в нижнем этаже и одного притона-трактира, вся остальная площадь состояла из мелких, грязных квартир. Они были битком набиты базарными торговками с их мужьями или просто сожителями.

Квартиры почти все на имя женщин, а мужья состоят при них. Кто портной, кто сапожник, кто слесарь. Каждая квартира была разделена перегородками на углы и койки… В такой квартире в трех-четырех разгороженных комнатках жило человек тридцать, вместе с

детьми…

Летом с пяти, а зимой с семи часов вся квартира на ногах. Закусив наскоро, хозяйки и жильцы, перекидывая на руку вороха разного барахла и сунув за пазуху туго набитый кошелек, грязные и оборванные, бегут на толкучку, на промысел. Это съемщики квартир, которые сами работают с утра до ночи. И жильцы у них такие же. Даже детишки вместе со старшими бегут на улицу и торгуют спичками и папиросами без бандеролей, тут же сфабрикованными черт знает из какого табака.

Раз в неделю хозяйки кое-как моют и убирают свою квартиру или делают вид, что убирают, — квартиры загрязнены до невозможности, и их не отмоешь. Но есть хозяйки, которые никогда или, за редким исключением, не больше двух раз в году убирают свои квартиры, населенные ворами, пьяницами и проститутками.

Эти съемщицы тоже торгуют хламьем, но они выходят позже на толкучку, так как к вечеру обязательно напиваются пьяные со своими сожителями…

Первая категория торговок являлась со своими мужьями и квартирантами на толкучку чуть свет и сразу успевала запастись свежим товаром, скупаемым с рук, и надуть покупателей своим товаром. Они окружали покупателя, и всякий совал, что у него есть: и пиджак, и брюки, и фуражку, и белье.

Все это рваное, линючее, ползет чуть не при первом прикосновении. Калоши или сапоги окажутся подклеенными и замазанными, черное пальто окажется серо-буро-малиновым, на фуражке после первого дождя выступит красный околыш, у сюртука одна пола окажется синей, другая — желтой, а полспины — зеленой. Белье расползается при первой стирке. Это все «произведения» первой категории шиповских ремесленников, «выдержавших экзамен» в ремесленной управе.

Чуть свет являлись на толкучку торговки, барахольщики первой категории и скупщики из «Шилова дома», а из желающих продать — столичная беднота: лишившиеся места чиновники приносили последнюю шинелишку с собачьим воротником, бедный студент продавал сюртук, чтобы заплатить за угол, из которого его гонят на улицу, голодная мать, продающая одеяльце и подушку своего ребенка, и жена обанкротившегося купца, когда-то богатая, боязливо предлагала самовар, чтобы купить еду сидящему в долговом отделении мужу.

Вот эти-то продавцы от горькой нужды — самые выгодные для базарных коршунов. Они стаей окружали жертву, осыпали ее насмешками, пугали злыми намеками и угрозами и окончательно сбивали с толку.

— Почем?

— Четыре рубля, — отвечает сконфуженный студент, никогда еще не видавший толкучки.

— Га! Четыре! А рублевку хошь?

Его окружали, щупали сукно, смеялись и стояли все на рубле, и каждый бросал свое едкое слово:

— Хапаный!.. Покупать не стоит. Еще попадешься! Студент весь красный… Слезы на глазах. А те рвут-рвут…

Плачет голодная мать.

— Может, нечистая еще какая!

И торговка, вся обвешанная только что купленным грязным тряпьем, с презрением отталкивает одеяло и подушку, а сама так и зарится на них, предлагая пятую часть назначенной цены.

— Должно быть, краденый, — замечает старик барышник, напрасно предлагавший купчихе три рубля за самовар, стоящий пятнадцать, а другой маклак ехидно добавлял, видя, что бедняга обомлела от ужаса:

— За будочником бы спосылать…

Эти приемы всегда имели успех: и сконфуженный студент, и горемыка-мать, и купчиха уступали свои вещи за пятую часть стоимости, только видавший виды чиновник равнодушно

твердит свое да еще заступается за других, которых маклаки собираются обжулить. В конце концов, он продает свой собачий воротник за подходящую цену, которую ему дают маклаки, чтобы только он «не отсвечивал».

Это картина самого раннего утра, когда вторая категория еще опохмеляется. Но вот выползает и она. Площадь меняет свое население, часы обирательства бедноты сменяются часами эксплуатации пороков и слабостей человеческих. На толкучке толчется масса пьяниц, притащивших и свое и чужое добро, чтобы только добыть на опохмелку. Это типы, подходящие к маклакам второй категории, и на них другой способ охоты приноровлен, потому что эти продавцы — народ не совестливый и не трусливый, их и не запугаешь и не заговоришь. На одно слово десять в ответ, да еще родителей до прабабушки помянут.

Сомнительного продавца окружают маклаки. Начинают рассматривать вещь, перевертывать на все стороны, смотреть на свет и приступают к торгу, предлагая свою цену:

— Два рубля? Полтора! Гляди сам, больше не стоит!

— Сказал два, меньше ни копья!

— Ну без четверти бери, леший ты упрямый!

— Два! — безапелляционно отрезает тот.

— Ну, держи деньги, что с тобой делать! — как бы нехотя говорит торговка, торопливо сует продавцу горсть мелочи и вырывает у него купленную вещь.

Тот начинает считать деньги, и вместо двух у него оказывается полтора.

— Давай полтину! Ведь я за два продавал. Торговка стоит перед ним невозмутимо.

— Отдай мою вещь назад!

— Да бери, голубок, бери, мы ведь силой не отнимаем, — говорит торговка и вдруг с криком ужаса: — Да куды ж это делось-то? Ах, батюшки-светы, ограбили, среди белого дня ограбили!

И с этими словами исчезает в толпе.

Жаждущие опохмелиться отдают вещь за то, что сразу дадут, чтобы только скорее вина добыть — нутро горит.

Начиная с полдня являются открыто уже не продающие ничего, а под видом покупки проходят в лавочки, прилепленные в Китайской стене на Старой площади, где, за исключением двух-трех лавочек, все занимаются скупкой краденого.

На углу Новой площади и Варварских ворот была лавочка рогожского старообрядца С. Т. Большакова, который торговал старопечатными книгами и дониконовскими иконами. Его часто посещали ученые и писатели. Бывали профессора университета и академики. Рядом с ним еще были две такие же старокнижные лавки, а дальше уж, до закрытия толкучки, в любую можно сунуться с темным товаром.

Толкучка занимала всю Старую площадь — между Ильинкой и Никольской, и отчасти Новую — между Ильинкой и Варваркой. По одну сторону — Китайская стена, по другую — ряд высоких домов, занятых торговыми помещениями. В верхних этажах — конторы и склады, а в нижних — лавки с готовым платьем и обувью.

Все это товар дешевый, главным образом русский: шубы, поддевки, шаровары или пальто и пиджачные и сюртучные пары, сшитые мешковато для простого люда. Было, впрочем, и «модье» с претензией на шик, сшитое теми же портными.

Лавки готового платья. И здесь, так же как на Сухаревке, насильно затаскивали покупателя. Около входа всегда галдеж от десятка «зазывал», обязанностью которых было хватать за полы проходящих по тротуарам и тащить их непременно в магазин, не обращая внимания, нужно или не нужно ему готовое платье.

— Да мне не надо платья! — отбивается от двух молодцов в поддевках, ухвативших его за руки, какой-нибудь купец или даже чиновник.

— Помилте, вышздоровье, — или, если чиновник, —васкобродие, да вы только поглядите товар.

И каждый не отстает от него, тянет в свою сторону, к своей лавке.

А если удастся затащить в лавку, так несчастного заговорят, замучат примеркой и

уговорят купить, если не для себя, то для супруги, для деток или для кучера… Великие мастера были «зазывалы»!

— У меня только в лавку зайди, не надо, да купит! Уговорю!.. — скажет хороший «зазывала». И действительно уговорит.

Такие же «зазывалы» были и у лавок с готовой обувью на Старой площади, и в закоулках Ямского приказа на Москворецкой улице.

И там и тут торговали специально грубой привозной обувью — сапогами и башмаками, главным образом кимрского производства. В семидесятых годах еще практиковались бумажные подметки, несмотря на то, что кожа сравнительно была недорога, но уж таковы были девизы и у купца и у мастера: «на грош пятаков» и «не обманешь — не продашь».

Конечно, от этого страдал больше всего небогатый люд, а надуть покупателя благодаря «зазывалам» было легко. На последние деньги купит он сапоги, наденет, пройдет две-три улицы по лужам в дождливую погоду — глядь, подошва отстала и вместо кожи бумага из сапога торчит. Он обратно в лавку… «Зазывалы» уж узнали, зачем, и на его жалобы закидают словами и его же выставят мошенником: пришел, мол, халтуру сорвать, купил на базаре сапоги, а лезешь к нам…

— Ну, ну, в какой лавке купил?

Стоит несчастный покупатель, растерявшись, глядит — лавок много, у всех вывески и выходы похожи и у каждой толпа «зазывал»…

Заплачет и уйдет под улюлюканье и насмешки… Был в шестидесятых годах в Москве полицмейстер Лужин, страстный охотник, державший под Москвой свою псарню. Его доезжачему всучили на Старой площади сапоги с бумажными подошвами, и тот пожаловался на это своему барину, рассказав, как и откуда получается купцами товар. Лужин послал его узнать подробности этой торговли. Вскоре охотник пришел и доложил, что сегодня рано на Старую площадь к самому крупному оптовику-торговцу привезли несколько возов обуви из Кимр.

Лужин, захватив с собой наряд полиции, помчался на Старую площадь и неожиданно окружил склады обуви, указанные ему. Местному приставу он ничего не сказал, чтобы тот не предупредил купца. Лужин поспел в то самое время, когда с возов сваливали обувь в склады. Арестованы были все: и владельцы складов, и их доверенные, и приехавшие из Кимр с возами скупщики, и продавцы обуви. Опечатав товар и склады, Лужин отправил арестованных в городскую полицейскую часть, где мушкетеры выпороли и хозяев склада, и кимрских торговцев, привезших товар.

Купцы под розгами клялись, что никогда таким товаром торговать не будут, а кимряки после жестокой порки дали зарок, что не только они сами, а своим детям, внукам и правнукам закажут под страхом отцовского проклятия ставить бумажные подошвы.

И действительно, кимряки стали работать по чести, о бумажных подметках вплоть до турецкой войны 1877–1878 годов не слышно было.

Но во время турецкой войны дети и внуки кимряков были «вовлечены в невыгодную сделку», как они объясняли на суде, поставщиками на армию, которые дали огромные заказы на изготовление сапог с бумажными подметками. И лазили по снегам балканским и кавказским солдаты в разорванных сапогах, и гибли от простуды… И опять с тех пор пошли бумажные подметки… на Сухаревке, на Смоленском рынке и по мелким магазинам с девизом «на грош пятаков» и «не обманешь — не продашь».

Только с уничтожением толкучки в конце восьмидесятых годов очистилась Старая площадь, и «Шипов дом» принял сравнительно приличный вид.

Отдел благоустройства МКХ в 1926 году привел китайгородскую стену — этот памятник старой Москвы — в тот вид, в каком она была пятьсот лет назад, служа защитой от набегов врага, а не тем, что застали позднейшие поколения.

Вспоминается бессмертный Гоголь:

«Возле того забора навалено на сорок телег всякого мусора. Что за скверный город. Только поставь какой-нибудь памятник или просто забор — черт их знает, откудова и

нанесут всякой дряни…»

Такова была до своего сноса в 1934 году китайгородская стена, еще так недавно находившаяся в самом неприглядном виде. Во многих местах стена была совершенно разрушена, в других чуть не на два метра вросла в землю, башни изуродованы поселившимися в них людьми, которые на стенах развели полное хозяйство: дачи не надо!

…Возле древней башни
На стенах старинных были чуть не пашни.

Из расщелин стен выросли деревья, которые были видны с Лубянской, Варварской, Старой и Новой площадей.

Тайны Неглинки

Трубную площадь и Неглинный проезд почти до самого Кузнецкого моста тогда заливало при каждом ливне, и заливало так, что вода водопадом хлестала в двери магазинов и в нижние этажи домов этого района. Происходило это оттого, что никогда не чищенная подземная клоака Неглинки, проведенная от Самотеки под Цветным бульваром, Неглинным проездом, Театральной площадью и под Александровским садом вплоть до Москвы-реки, не вмещала воды, переполнявшей ее в дождливую погоду. Это было положительно бедствием, но «отцы города» не обращали на это никакого внимания.

В древние времена здесь протекала речка Неглинка. Еще в екатерининские времена она была заключена в подземную трубу: набили свай в русло речки, перекрыли каменным сводом, положили деревянный пол, устроили стоки уличных вод через спускные колодцы и сделали подземную клоаку под улицами. Кроме «законных» сточных труб, проведенных с улиц для дождевых и хозяйственных вод, большинство богатых домовладельцев провело в Неглинку тайные подземные стоки для спуска нечистот, вместо того чтобы вывозить их в бочках, как это было повсеместно в Москве до устройства канализации. И все эти нечистоты шли в Москву-реку.

Это знала полиция, обо всем этом знали гласные-домовладельцы, и все, должно быть, думали: не нами заведено, не нами и кончится!

Побывав уже под Москвой в шахтах артезианского колодца и прочитав описание подземных клоак Парижа в романе Виктора Гюго «Отверженные», я решил во что бы то ни стало обследовать Неглинку. Это было продолжение моей постоянной работы по изучению московских трущоб, с которыми Неглинка имела связь, как мне пришлось узнать в притонах Грачевки и Цветного бульвара.

Мне не трудно было найти двух смельчаков, решившихся на это путешествие. Один из них — беспаспортный водопроводчик Федя, пробавлявшийся поденной работой, а другой — бывший дворник, солидный и обстоятельный. На его обязанности было опустить лестницу, спустить нас в клоаку между Самотекой и Трубной площадью и затем встретить нас у соседнего пролета и опустить лестницу для нашего выхода. Обязанность Феди — сопутствовать мне в подземелье и светить.

И вот в жаркий июльский день мы подняли против дома Малюшина, близ Самотеки, железную решетку спускного колодца, опустили туда лестницу. Никто не обратил внимания на нашу операцию — сделано было все очень скоро: подняли решетку, опустили лестницу. Из отверстия валил зловонный пар. Федя-водопроводчик полез первый; отверстие, сырое и грязное, было узко, лестница стояла отвесно, спина шаркала о стену. Послышалось хлюпанье воды и голос, как из склепа:

— Лезь, что ли!

Я подтянул выше мои охотничьи сапоги, застегнул на все пуговицы кожаный пиджак и стал спускаться. Локти и плечи задевали за стенки трубы. Руками приходилось крепко держаться за грязные ступени отвесно стоявшей, качающейся лестницы, поддерживаемой, впрочем, рабочим, оставшимся наверху. С каждым шагом вниз зловоние становилось все сильнее и сильнее. Становилось жутко. Наконец послышались шум воды и хлюпанье. Я

посмотрел наверх. Мне видны были только четырехугольник голубого, яркого неба и лицо рабочего, державшего лестницу. Холодная, до костей пронизывающая сырость охватила меня.

Наконец я спустился на последнюю ступеньку и, осторожно опуская ногу, почувствовал, как о носок сапога зашуршала струя воды.

— Опускайся смелей; становись, неглубоко тутотка, — глухо, гробовым голосом сказал мне Федя.

Я встал на дно, и холодная сырость воды проникла сквозь мои охотничьи сапоги.

— Лампочку зажечь не могу, спички подмокли! — жалуется мой спутник.

У меня спичек не оказалось. Федя полез обратно.

Я остался один в этом замурованном склепе и прошел по колено в бурлящей воде шагов десять. Остановился. Кругом меня был мрак. Мрак непроницаемый, полнейшее отсутствие света. Я повертывал голову во все стороны, но глаз мой ничего не различал.

Я задел обо что-то головой, поднял руку и нащупал мокрый, холодный, бородавчатый, покрытый слизью каменный свод и нервно отдернул руку… Даже страшно стало. Тихо было, только внизу журчала вода. Каждая секунда ожидания рабочего с огнем мне казалась вечностью. Я еще подвинулся вперед и услышал шум, похожий на гул водопада. Действительно, как раз рядом со мной гудел водопад, рассыпавшийся миллионами грязных брызг, едва освещенных бледно-желтоватым светом из отверстия уличной трубы. Это оказался сток нечистот из бокового отверстия в стене. За шумом я не слыхал, как подошел ко мне Федя и толкнул меня в спину. Я обернулся. В руках его была лампочка в пять рожков, но эти яркие во всяком другом месте огоньки здесь казались красными звездочками без лучей, ничего почти не освещавшими, не могшими побороть и фута этого мрака. Мы пошли вперед по глубокой воде, обходя по временам водопады стоков с улиц, гудевшие под ногами. Вдруг страшный грохот, будто от рушащихся зданий, заставил меня вздрогнуть. Это над нами проехала телега. Я вспомнил подобный грохот при моем путешествии в тоннель артезианского колодца, но здесь он был несравненно сильнее. Все чаще и чаще над моей головой гремели экипажи. С помощью лампочки я осмотрел стены подземелья, сырые, покрытые густой слизью. Мы долго шли, местами погружаясь в глубокую тину или невылазную, зловонную жидкую грязь, местами наклоняясь, так как заносы грязи были настолько высоки, что невозможно было идти пря-мо — приходилось нагибаться, и все же при этом я доставал головой и плечами свод. Ноги проваливались в грязь, натыкаясь иногда на что-то плотное. Все это заплыло жидкой грязью, рассмотреть нельзя было, да и до того ли было.

Дошагали в этой вони до первого колодца и наткнулись на спущенную лестницу. Я поднял голову, обрадовался голубому небу,

— Ну, целы? Вылазь! — загудел сверху голос.

— Мы пройдем еще, спускай через пролет.

— Ну-к что ж, уж глядеть так глядеть!

Я дал распоряжение перенести лестницу на два пролета вперед; она поползла вверх. Я полюбовался голубым небом, и через минуту, утопая выше колен в грязи и каких-то обломках и переползая уличные отбросы, мы зашагали дальше.

Опять над нами четырехугольник ясного неба. Через несколько минут мы наткнулись на возвышение под ногами. Здесь была куча грязи особенно густой, и, видимо, под грязью было что-то навалено… Полезли через кучу, осветив ее лампочкой. Я ковырнул ногой, и под моим сапогом что-то запружинило… Перешагнули кучу и пошли дальше. В одном из таких заносов мне удалось рассмотреть до половины занесенный илом труп громадного дога. Особенно трудно было перебраться через последний занос перед выходом к Трубной площади, где ожидала нас лестница. Здесь грязь была особенно густа, и что-то все время скользило под ногами. Об этом боязно было думать.

А Федю все-таки прорвало:

— Верно говорю: по людям ходим.

Я промолчал. Смотрел вверх, где сквозь железную решетку сияло голубое небо. Еще пролет, и нас ждут уже открытая решетка и лестница, ведущая на волю.

* * *

Мои статьи о подземной клоаке под Москвой наделали шуму. Дума постановила начать перестройку Неглинки, и дело это было поручено моему знакомому инженеру Н. М. Левачеву, известному охотнику, с которым мы ездили не раз на зимние волчьи охоты.

С ним, уже во время работ, я спускался второй раз в Неглинку около Малого театра, где канал делает поворот и где русло было так забито разной нечистью, что вода едва проходила сверху узкой струйкой: здесь и была главная причина наводнений.

Наконец в 1886 году Неглинка была перестроена.

Репортерская заметка сделала свое дело. А моего отчаянного спутника Федю Левачев взял в рабочие, как-то устроил ему паспорт и сделал потом своим десятником.

* * *

За десятки лет после левачевской перестройки снова грязь и густые нечистоты образовали пробку в повороте канала под Китайским проездом, около Малого театра. Во время войны наводнение было так сильно, что залило нижние жилые этажи домов и торговые заведения, но никаких мер сонная хозяйка столицы — городская дума не принимала.

Только в 1926 году взялся за Неглинку Моссовет и, открыв ее от Малого театра, под который тогда подводился фундамент, до половины Свердловской площади, вновь очистил загрязненное русло и прекратил наводнения.

Я как-то шел по Неглинной и против Государственного банка увидал посреди улицы деревянный барак, обнесенный забором, вошел в него, встретил инженера, производившего работы, — оказалось, что он меня знал, и на мою просьбу осмотреть работы изъявил согласие. Посредине барака зияло узкое отверстие, из которого торчал конец лестницы.

Я попробовал спуститься, но шуба мешала, — а упускать случай дать интересную заметку в «Вечернюю Москву», в которой я тогда работал, не хотелось. Я сбросил шубу и в одном пиджаке спустился вниз.

Знакомый подземный коридор, освещенный тусклившимися сквозь туман электрическими лампочками. По всему желобу был настлан деревянный помост, во время оттепели все-таки заливавшийся местами водой. Работы уже почти кончились, весь ил был убран, и подземная клоака была приведена в полный порядок.

Я прошел к Малому театру и, продрогший, промочив ноги и нанюхавшись запаха клоаки, вылез по мокрой лестнице. Надел шубу, которая меня не могла согреть, и направился в редакцию, где сделал описание работ и припомнил мое старое путешествие в клоаку.

На другой день я читал мою статью уже лежа в постели при высокой температуре, от гриппа я в конце концов совершенно оглох на левое ухо, а потом и правое оказалось поврежденным.

Это было эпилогом к моему подземному путешествию в бездны Неглинки сорок лет назад.

Ночь на Цветном бульваре

Дырка в кармане! Что может быть ничтожнее этого?

А случилось так, что именно эта самая маленькая, не замеченная вовремя дырка оказалась причиной многих моих приключений.

Был август 1883 года, когда я вернулся после пятимесячного отсутствия в Москву и отдался литературной работе: писал стихи и мелочи в «Будильнике», «Развлечении»,

«Осколках», статьи по различным вопросам, давал отчеты о скачках и бегах в московские газеты. Между ипподромными знакомыми всех рангов и положений пришлось познакомиться с людьми самых темных профессий, но всегда щегольски одетых, крупных игроков в тотализатор. Я усиленно поддерживал подобные знакомства: благодаря им я получал интересные сведения для газет и проникал иногда в тайные игорные дома, где меня не стеснялись и где я встречал таких людей, которые были приняты в обществе, состояли даже членами клубов, а на самом деле были или шулера, или аферисты, а то и атаманы шаек. Об этом мирке можно написать целую книгу. Но я ограничусь только воспоминаниями об одном завсегдатае бегов, щеголе-блондине с пушистыми усами, имевшем даже собственного рысака, бравшего призы.

В тот день, когда произошла история с дыркой, он подошел ко мне на ипподроме за советом: записывать ли ему свою лошадь на следующий приз, имеет ли она шансы? На подъезде, после окончания бегов, мы случайно еще раз встретились, и он предложил по случаю дождя довезти меня в своем экипаже до дому. Я отказывался, говоря, что еду на Самотеку, а это ему не по пути, но он уговорил меня и, отпустив кучера, лихо домчал в своем шарабане до Самотеки, где я зашел к моему старому другу художнику Павлику Яковлеву.

Дорогой все время разговаривали о лошадях, — он считал меня большим знатоком и уважал за это.

От Яковлева я вышел около часа ночи и зашлепал в своих высоких сапогах по грязи средней аллеи Цветного бульвара, по привычке сжимая в правом кармане неразлучный кастет — подарок Андреева-Бурлака. Впрочем, эта предосторожность была излишней: ни одной живой души, когда

Осенний мелкий дождичек
Сеет, сеет сквозь туман.

Ночь была непроглядная. Нигде ни одного фонаря, так как по думскому календарю в те ночи, когда должна светить луна, уличного освещения не полагалось, а эта ночь по календарю считалась лунной. А тут еще вдобавок туман. Он клубился над кустами, висел на деревьях, казавшихся от этого серыми призраками.

В такую только ночь и можно идти спокойно по этому бульвару, не рискуя быть ограбленным, а то и убитым ночными завсегдатаями, выходящими из своих трущоб в грачевских переулках и Арбузовской крепости, этого громадного бывшего барского дома, расположенного на бульваре.

Самым страшным был выходящий с Грачевки на Цветной бульвар Малый Колосов переулок, сплошь занятый полтинными, последнего разбора публичными домами. Подъезды этих заведений, выходящие на улицу, освещались обязательным красным фонарем, а в глухих дворах ютились самые грязные тайные притоны проституции, где никаких фонарей не полагалось и где окна завешивались изнутри.

Характерно, что на всех таких дворах не держали собак… Здесь жили женщины, совершенно потерявшие образ человеческий, и их «коты», скрывавшиеся от полиции, такие, которым даже рискованно было входить в ночлежные дома Хитровки. По ночам «коты» выходили на Цветной бульвар и на Самотеку, где их «марухи» замарьяживали пьяных. Они или приводили их в свои притоны, или их тут же раздевали следовавшие по пятам своих «дам» «коты». Из последних притонов вербовались «составителями» громилы для совершения преступлений, и сюда никогда не заглядывала полиция, а если по требованию высшего начальства, главным образом прокуратуры, и делались обходы, то «хозяйки» заблаговременно знали об этом, и при «внезапных» обходах никогда не находили того, кого искали…

Хозяйки этих квартир, бывшие проститутки большей частью, являлись фиктивными содержательницами, а фактическими были их любовники из беглых преступников,

разыскиваемых полицией, или разные не попавшиеся еще аферисты и воры.

У некоторых шулеров и составителей игры имелись при таких заведениях сокровенные комнаты, «мельницы», тоже самого последнего разбора, предназначенные специально для обыгрывания громил и разбойников, которые только в такие трущобы являлись для удовлетворения своего азарта совершенно спокойно, зная, что здесь не будет никого чужого. Пронюхают агенты шулера — составителя игры, что у какого-нибудь громилы после удачной работы появились деньги, сейчас же устраивается за ним охота. В известный день его приглашают на «мельницу» поиграть в банк — другой игры на «мельницах» не было, — а к известному часу там уж собралась стройно спевшаяся компания шулеров, приглашается и исполнитель, банкомет, умеющий бить наверняка каждую нужную карту, — и деньги азартного вора переходят компании. Специально для этого и держится такая «мельница», а кроме того, в ней в дни, не занятые «деловыми», играет всякая шпана мелкотравчатая и дает верный доход — с банка берут десять процентов. На большие «мельницы», содержимые в шикарных квартирах, «деловые ребята» из осторожности не ходили — таких «мельниц» в то время в Москве был десяток на главных улицах.

* * *

Временем наибольшего расцвета такого рода заведений были восьмидесятые годы. Тогда содержательницы притонов считались самыми благонамеренными в политическом отношении и пользовались особым попустительством полиции, щедро ими оплачиваемой, а охранное отделение не считало их «опасными для государственного строя» и даже покровительствовало им вплоть до того, что содержатели притонов и «мельниц» попадали в охрану при царских проездах. Тогда полиция была занята только вылавливанием «неблагонадежных», революционно настроенных элементов, которых арестовывали и ссылали сотнями.

И блаженствовал трущобный мир на Грачевке и Цветном бульваре…

Я шагал в полной тишине среди туманных призраков и вдруг почувствовал какую-то странную боль в левой ноге около щиколотки; боль эта стала в конце концов настолько сильной, что заставила меня остановиться. Я оглядывался, куда бы присесть, чтоб переобуться, но скамейки нигде не было видно, а нога болела нестерпимо.

Тогда я прислонился к дереву, стянул сапог и тотчас открыл причину боли: оказалось, что мой маленький перочинный ножик провалился из кармана и сполз в сапог. Сунув ножик в карман, я стал надевать сапог и тут услышал хлюпанье по лужам и тихий разговор. Я притих за деревом. Со стороны Безымянки темнеет на фоне радужного круга от красного фонаря тихо движущаяся группа из трех обнявшихся человек.

— Заморился, отдохнем… Ни живой собаки нет…

— Эх, нюня дохлая! Ну, опускай…

Крайние в группе наклонились, бережно опуская на землю среднего.

«Пьяного ведут», — подумал я.

Успеваю рассмотреть огромную фигуру человека в поддевке, а рядом какого-то куцего, горбатого. Он качал рукой и отдувался.

— Какой здоровущий был, все руки оттянул! А здоровущий лежал плашмя в луже.

— Фокач, бросим его тут… а то в кусты рядом…

— Это у будки-то, дуроплясина! Побегут завтра лягаши по всем «хазам»…

— В трубу-то вернее, и концы в воду!

— Делать, так делать вглухую. Ну, берись! Теперь на руках можно.

Большой взял за голову, маленький — за ноги, и понесли, как бревно.

Я — за ними, по траве, чтобы не слышно. Дождик перестал. Журчала вода, стекая по канавке вдоль тротуара, и с шумом падала в приемный колодец подземной Неглинки сквозь железную решетку. Вот у нее-то «труженики» остановились и бросили тело на камни.

— Поднимай решеть!

Маленький наклонился, а потом выпрямился: — Чижало, не могу!

— Эх, рвань дохлая!

Гигант рванул и сдвинул решетку. «Эге, — сообразил я, — вот что значит: «концы в воду». Я зашевелился в кустах, затопал и гаркнул на весь бульвар:

— Сюда, ребята! Держи их!

И, вынув из кармана полицейский свисток, который на всякий случай всегда носил с собой, шляясь по трущобам, дал три резких, продолжительных свистка.

Оба разбойника метнулись сначала вдоль тротуара, а потом пересекли улицу и скрылись в кустах на пустыре.

Я подбежал к лежавшему, нащупал лицо. Борода и усы бритые… Большой стройный человек. Ботинки, брюки, жилет, а белое пятно оказалось крахмальной рубахой. Я взял его руку — он шевельнул пальцами. Жив!

Я еще тройной свисток — и мне сразу откликнулись с двух разных сторон. Послышались торопливые шаги: бежал дворник из соседнего дома, а со стороны бульвара — городовой, должно быть, из будки… Я спрятался в кусты, чтобы удостовериться, увидят ли человека у решетки. Дворник бежал вдоль тротуара и прямо наткнулся на него и засвистал. Подбежал городовой… Оба наклонились к лежавшему. Я хотел выйти к ним, но опять почувствовал боль в ноге: опять провалился ножик в дырку!

И это решило дальнейшее: зря рисковать нечего, завтра узнаю.

Я знал, что эта сторона бульвара принадлежит первому участку Сретенской части, а противоположная с Безымянкой, откуда тащили тело, — второму.

На Трубной площади я взял извозчика и поехал домой.

К десяти часам утра я был уже под сретенской каланчой, в кабинете приставаЛарепланда. Я с ним был хорошо знаком и не раз получал от него сведения для газет. У него была одна слабость. Бывший кантонист, десятки лет прослужил в московской полиции, дошел из городовых до участкового, получил чин коллежского асессора и был счастлив, когда его называли капитаном, хотя носил погоны гражданского ведомства.

— Капитан, я сейчас получил сведения, что сегодня ночью нашли убитого на Цветном бульваре.

— Во-первых, никакого убитого не было, а подняли пьяного, которого ограбили на Грачевке, перетащили его в мой участок и подкинули. Это уж у воров так заведено, — чтобы хлопот меньше и им и нам. Кому надо в чужом участке доискиваться! А доказать, что перетащили, нельзя. Это первое. А второе: покорнейшая к вам просьба об этом ни слова в газете не писать. Я даже протокола не составлял и дело прикончил сам. Откуда только вы узнали — диву даюсь! Этого никто, кроме поднявших городовых да потерпевшего, не знает… А он-то и просил прекратить дело. Нет, уж вы, пожалуйста, не пишите, а то меня подведете, — я и обер-полицмейстеру не доносил.

И рассказал мне Ларепланд, что ночью привезли бесчувственно пьяного, чуть не догола раздетого человека, которого подняли на мостовой, в луже.

— Сперва думали — мертвый, положили в часовню, где два тела опившихся лежали, а он зашевелился и заговорил. Сейчас — в приемный покой, отходили, а утром я с ним разговаривал. Оказался богатый немец, в конторе Вогау его брат служит. Сейчас же его вызвали, он приехал в карете и увез брата. Немец загулял, попал в притон, девки затащили, а там опоили его «малинкой», обобрали и выбросили на мой участок. Это у нас то и Дело бывает… То из того ко мне подарок, то наши ребята во второй подкинут… Там капитан Капени (тоже кантонист) мой приятель, ну и прекращаем дело. Да и пользы никому нет — все по-старому будет, одни хлопоты. Хорошо, что еще жив остался — вовремя признак жизни подал!

Молодой, красивый немец… Попал в притон в нетрезвом виде, заставили его пиво пить вместе с девками. Помнит только, что все пили из стаканов, а ему поднесли в граненой кружке с металлической крышкой, а на крышке птица, — ее только он и запомнил…

Я пообещал ничего не писать об этом происшествии и, конечно, ничего не рассказал

приставу о том, что видел ночью, но тогда же решил заняться исследованием Грачевки, так похожей на Хитровку, Арженовку, Хапиловку и другие трущобы, которые я не раз посещал.

Кружка с орлом

В свободный вечер попал на Грачевку.

Послушав венгерский хор в трактире «Крым» на Трубной площади, где встретил шулеров — постоянных посетителей скачек — и кой-кого из знакомых купцов, я пошел по грачевским притонам, не официальным, с красными фонарями, а по тем, которые ютятся в подвалах на темных, грязных дворах и в промозглых «фатерах» «Колосовки», или «Безымянки», как ее еще иногда называли.

К полуночи этот переулок, самый воздух которого был специфически зловонен, гудел своим обычным шумом, в котором прорывались звуки то разбитого фортепьяно, то скрипки, то гармоники; когда отворялись двери под красным фонарем, то неслись пьяные песни.

В одном из глухих, темных дворов свет из окон почти не проникал, а по двору двигались неясные тени, слышались перешептывания, а затем вдруг женский визг или отчаянная ругань…

Передо мной одна из тех трущоб, куда заманиваются пьяные, которых обирают дочиста и выбрасывают на пустыре.

Около входов стоят женщины, показывают «живые картины» и зазывают случайно забредших пьяных, обещая за пятак предоставить все радости жизни вплоть до папироски за ту же цену…

Когда я пересек двор и подошел к входу в подвал, расположенному в глубине двора, то услыхал приглашение на французском языке и далее по-русски:

— Зайдите к нам, у нас весело!

От стены отделилась высокая женщина и за рукав потащила меня вниз по лестнице.

— У нас и водка и пиво есть.

Вошли. Перед глазами мельтешился красноватый свет среди пара и копоти. Хаос звуков. Под черневшими сводами огромной комнаты стояли три стола. На стене близ двери коптила жестяная лампочка, и черная струйка дыма расходилась воронкой под сводом, сливаясь незаметно с черным от сажи потолком. На двух столах стояли такие же лампочки, пустые бутылки, валялись объедки хлеба, огурцов, селедки. На крайнем к окну столе шла ожесточенная игра в банк. Метал плотный русак богатырского сложения, с окладистой, степенной бородой, в поддевке. Засученные рукава открывали громадные кулаки, в которых почти исчезала колода карт. Кругом теснились оборванные, бледные, с пылающими взорами понтеры.

— Семитка око…

— Имею — пятак. На пе.

— Угол от пятака… — слышались возгласы игроков. Дальше, сквозь отворенную дверь, виднелась другая

такая же комната. Там тоже стоял в глубине стол, но уже с двумя свечками, и за столом тоже шла игра в карты…

Передо мной, за столом без лампы, сидел небритый бледный человек в форменной фуражке, обнявшись с пьяной бабой, которая выводила фальцетом:

И чай пил-ла, и б-булк-и ела,
Поз-за-была и с кем си-идела.

Испитой юноша, на вид лет семнадцати, в лакированных сапогах, в венгерке и в новом картузе на затылке, стуча дном водочного стакана по столу, убедительно доказывал что-то маленькому потрепанному человечку:

— Слушай, ты…

— И что слушай? Что слушай? Работали вместе, и слам пополам…

— Оно пополам и есть!.. Ты затырка, я по ширмохе, тебе лопатошник, а мне бака… В лопатошнике две красных!..

— Бака-то полета ходит, небось анкер…

— Провалиться, за четвертную ушла… — Заливаешь!

— Пра-слово! Чтоб сдохнуть! — Где же они?

— Прожил! Вот коньки лаковые, вот чепчик… Ни финаги в кармане!

— Глянь-ка, Оська, какой стрюк заполз!

Испитой юноша посмотрел на меня, и я услышал, как он прошептал:

— Не лягаш[8] ли?

— Тебе все лягавые чудятся…

— Не-ет. Просто стрюк шатаный…

— Да вот сейчас узнаем… — Он обратился к приведшей меня «даме»: — Па-алковни-ца, что, кредитного сво-во, что ли, привела?

Полковница повернула в говорившему свое строгое, густо наштукатуренное лицо, подмигнула большими черными, глубоко запавшими глазами и крикнула:

— Барин выпить хочет. Садитесь, садитесь! Je vous prie![9]

— Садись — гость будешь, вина купишь — хозяин будешь! — крикнул бородач-банкомет, тасовавший карты.

Я сел рядом с Оськой.

— Что ж, барин, ставь вина, угощай свою полковницу, — проговорил юноша в венгерке.

— Изволь!

— Да уж расшибись на рупь-целковый, всех угощай. Вон и барон мучится с похмелья.

Мужчина в форменной фуражке лихо подлетел ко мне и скороговоркой выпалил:

— Барон Дорфгаузен… Отто Карлович… Прошу любить и жаловать, — он шаркнул ножкой в опорках.

— Вы барон? — спросил я.

— Ma parole! Даю слово! Барон и губернский секретарь… В Лифляндии родился, в Берлине обучался, в Москве с кругу спился и вдребезги проигрался… Одолжите двугривенный. Пойду отыгрываться… До первой встречи.

— Извольте!

И через минуту слышался его властный голос:

— Куш под картой. Имею… Имею…

— Верно, господин, он настоящий барон, — зашептал мне Оська. — Теперь свидетельства на бедность да разные фальшивые удостоверения строчит… А как печати на копченом стекле салит! Ежели желаете вид на жительство — прямо к нему. И такция недорогая… Сейчас ежели плакат, окромя бланка, полтора рубля, вечность — три.

— Вечность?

— Да, дворянский паспорт или указ об отставке… С чинами, с орденами пропишет…

— Барон… Полковница… — в раздумье проговорил я.

— И полковница настоящая, а не то что какая-нибудь подполковница… Она с самим живет… Заведение на ее имя.

Тут полковница перебила его и, пересыпая речь безграмотными французскими фразами, начала рассказывать, как ее выдали подростком еще за старика, гарнизонного полковника, как она с соседом-помещиком убежала за границу, как тот ее в Париже бросил, как впоследствии она вернулась домой, да вот тут в Безымянке и очутилась.

---

8 Сыщик

9 Прошу вас! (фр.)

— Ну ты, стерва, будет языком трепать, тащи пива! — крикнул, не оглядываясь, банкомет.

— Несу, оголтелый, чего орешь, каторга!

— Унгдюк! Не везет… А? Каково? Нет, вы послушайте. Ставлю на шестерку куш — дана! На пё. Имею полкуша на пё, очки вперед… Взял. Отгибаюсь — бита. Тем же кушем иду-бита… Ставлю на смарку — бита! Подряд, подряд!..

— Проиграли, значит?

— Вдрызг! А ведь только последнюю бы дали — и я крез! Талию изучил — и вдруг бита!.. Одолжите еще… до первой встречи… Тот же куш…

Опять даю двугривенный.

— Ол-райт! Это по-барски… До первой встречи!..

Полковница налила пива в четыре стакана, а для меня в хрустальную кружку с мельхиоровой крышкой, на которой красовался орел.

Барон оторвался на минуту от карт и, подняв стакан, молодецки возгласил:

— За здоровье дам! Ур-ра!..

— А вы что же не пьете? Кушайте! — обратилась ко мне полковница.

— Не пью пива… — коротко ответил я. В это время игра кончилась.

Банкомет, сунув карты и деньги в карман и убавив огонь в лампе, встал.

— Шабаш, до завтра! Выкидывайтесь все отсель.

Игроки, видимо привыкшие ему повиноваться, мгновенно поднялись и молча ушли. Остался только барон, все еще ерепенившийся. Банкомет выкинул ему двугривенный:

— Подавись и выкидывайся!.. Надоел ты мне. Куш под картой, очки вперед!.. На грош амуниции, на рубль амбиции! Уходи, не проедайся!

Банкомет взял за плечи барона и вмиг выставил его за дверь, которую тотчас же запер на крюк. Даже выругаться барон не успел. Остались: Оська, карманник в венгерке, пьяная баба, полковница и банкомет. Он подсел к нам.

Из соседней комнаты доносились восклицания картежников. Там, должно быть, шла игра серьезная.

Полковница вновь наполнила пивом стаканы, а мне придвинула мою нетронутую кружку:

— Кушайте же, не обижайте нас.

— Да ведь не один же я? Вот и молодой человек не пьет…

— Шалунок-то? Ему нельзя, — сказал Оська.

— Ему доктор запретил… — успокоила полковница.

— А вот вы, барин, чего не пьете? У нас так не полагается. Извольте пить! — сказал бородач-банкомет и потянулся ко мне чокаться.

Я отказался.

— Считаю это за оскорбление. Вы брезгуете нами! Это у нас не полагается. Пейте! Ну? Не доводи до греха, пей!

— Нет!

— А, нет? Оська, лей ему в глотку!

Банкомет вскочил со стула, схватил меня одной рукой за лоб, а другой за подбородок, чтобы раскрыть мне рот. Оська стоял с кружкой, готовый влить пиво насильно мне в рот.

Это был решительный момент. Я успел выхватить из кармана кастет и прямым ударом ткнул в зубы нападавшего. Он с воем грохнулся на пол.

— Что еще там? — раздался позади меня голос, и из двери вышел человек в черном сюртуке, а следом за ним двое остановились на пороге, заглядывая к нам. Человек в сюртуке повернулся ко мне, и мы оба замерли от удивления.

— Это вы? — воскликнул человек в сюртуке и одним взмахом отшиб в сторону вскочившего с пола и бросившегося на меня банкомета, борода которого была в крови. Тот снова упал. Передо мной, сконфуженный и пораженный, стоял беговой «спортсмен», который вез меня в своем шарабане. Все остальные окаменели.

Он выхватил из рук еще стоявшего у стола Оськи кружку с пивом и выплеснул на пол.

— Убери! — приказал он дрожавшей от страха полковнице. — Владимир Алексеевич, как вы сюда попали? Зайдемте ко мне в комнату.

— Ну вас к черту! Я домой…

И, надвинув шапку, я шагнул к двери. На полу стонал, лежа на брюхе и выплевывая зубы, банкомет.

— Нет, нет, я вас провожу!..

Выскочил за мной, под локоть помогая мне подняться по избитым камням лестницы, и бормотал извинения…

Я упорно молчал. В голове мелькало: «Концы в воду, Ларепланд с «малинкой», немец, кружка с птицей…»

«Спортсмен» продолжал рассыпаться передо мной в извинениях и между прочим сказал:

— Все-таки я вас спас от Самсона. Он ведь мог вас изуродовать.

— Ну, спас-то я себя сам, потому что «малинки» не выпил.

— Откуда вы знаете? — встрепенулся он и вдруг спохватился и уже другим тоном добавил: — Какой такой «малинки»?

— А которую ты выплеснул из кружки. Мало ли что я знаю.

— Вы… вы… — Зубы стучали, слово не выходило.

— Все знаю, да молчать умею.

— Вижу-с. Вот потому-то я хотел, чтобы вы ко мне в комнату зашли. Там отдельный выход. Приятели собрались… В картишки поиграть. Ведь я здесь не живу.

— Видел… Голиафа, маркера, узнал.

— Да… он под рукой сидел… метал Кречинский. Там еще Цапля… Потом Ватошник, потом…

— Ватошник? Тимошка? Да ведь он сыщик!

— Кому сыщик, а нам дружок… Еще раз, простите великодушно.

— Помни: я все знаю, но и виду не подам никогда. Будто ничего не было. Прощай! — крикнул я ему уже из калитки…

При встречах «спортсмен» старался мне не показываться на глаза, но раз поймал меня одного на беговой аллее и дрожащим голосом зашептал:

— Обещались, Владимир Алексеевич, а вот в газете-то что написали? Хорошо, что никто внимания не обратил, прошло пока… А ведь как ясно — Феньку все знают за полковницу, а барона по имени-отчеству целиком назвали, только фамилию другую поставили, его ведь вся полиция знает, он даже прописанный. Главное вот барон…

— Ну, успокойся, больше не буду. Действительно, я напечатал рассказ «В глухую», где подробно описал виденный мною притон, игру в карты, отравленного «малинкой» гостя, которого потащили сбросить в подземную клоаку, приняв за мертвого. Только Колосов переулок назвал Безымянным. Обстановку описал и в подробностях, как живых, действующих лиц. Барон Дорфгаузен, Отто Карлович… и это действительно было его настоящее имя.

А эпиграф к рассказу был такой:

«…При очистке Неглинного канала находили кости, похожие на человеческие…»

Драматурги из «Собачьего зала»

Все от пустяков — вроде дырки в кармане. В те самые времена, о которых я пишу сейчас, был у меня один разговор:

— Персидская ромашка! О нет, вы не шутите, это в жизни вещь великая. Не будь ее на свете — не был бы я таким, каким вы меня видите, а мой патрон не состоял бы в членах Общества драматических писателей и не получал бы тысячи авторского гонорара, а «Собачий зал»… Вы знаете, что такое «Собачий зал»?..

— Не знаю.

— А еще репортер известный, «Собачьего зала» не знаете!

Разговор этот происходил на империале вагона конки, тащившей нас из Петровского парка к Страстному монастырю. Сосед мой, в свеженькой коломянковой паре, шляпе калабрийского разбойника и шотландском шарфике, завязанном «неглиже с отвагой, а ля черт меня побери», был человек с легкой проседью на висках и с бритым актерским лицом. Когда я на станции поднялся по винтовой лестнице на империал, он назвал меня по фамилии и, подвинувшись, предложил место рядом. Он курил огромную дешевую сигару. Первые слова его были:

— Экономия: внизу в вагоне пятак, а здесь, на свежем воздухе, три копейки… И не из экономии я езжу здесь, а вот из-за нее… — И погрозил дымящейся сигарищей. — Именно эти сигары только и курю… Три рубля вагон, полтора рубля грядка, да-с, — клопосдохс, настоящий империал, потому что только на империале конки и курить можно… Не хотите ли сделаться империалистом? — предлагает мне сигару.

— Не курю, — и показал ему в доказательство табакерку, предлагая понюшку.

— Нет уж, увольте. Будет с меня домашнего чиханья.

А потом и бросил ту фразу о персидской ромашке… Швырнул в затылок стоявшего на Садовой городового окурок сигары, достал из кармана свежую, закурил и отрекомендовался:

— Я — драматург Глазов. Вас я, конечно, знаю.

— А какие ваши пьесы? — Мои? А вот…

И он перечислил с десяток пьес, которые, судя по афишам, принадлежали перу одного известного режиссера, прославившегося обилием переделок иностранных пьес. Его я знал и считал, что он автор этих пьес.

— Послушайте, да вы перечисляете пьесы, принадлежащие… — Я назвал фамилию.

— Да, они принадлежали ему, а автор их — я. Семнадцать пьес в прошлом году ему сделал и получил за это триста тридцать четыре рубля. А он на каждой сотни наживает, да и писателем драматическим числится, хотя собаку через «ять» пишет. Прежде в парикмахерской за кулисами мастерам щипцы подавал, задаром нищих брил, постигая ремесло, а теперь вот и деньги, и почет, и талантом считают… В Обществе драматических писателей заседает… Больше ста пьес его числится по каталогу, переведенных с французского, английского, испанского, польского, венгерского, итальянского и пр. и пр. А все они переведены с «арапского»!

— Как же это случилось?

— Да так. Года два назад написал я комедию. Туда, сюда — не берут. Я — к нему в театр. Не застаю. Иду на дом. Он принимает меня в роскошном кабинете. Сидит важно, развалясь в кресле у письменного стола.

— Написал я пьесу, а без имени не берут. Не откажите поставить свое имя рядом с моим, и гонорар пополам, — предлагаю ему,

Он взял пьесу и начал читать, а мне дал сигару и газету.

— И талант у вас есть, и сцену знаете, только мне свое имя вместе с другим ставить неудобно. К нашему театру пьеса тоже не подходит.

— Жаль!

— Вам, конечно, деньги нужны? Да?

— Прямо жить нечем.

— Ну так вот, переделайте мне эту пьесу.

И подал мне французскую пьесу, переведенную одним небезызвестным переводчиком, жившим в Харькове.

Я посмотрел новенькую, только что процензурованную трехактную пьесу.

— Как переделать? Да ведь она переведена!

— Да очень просто: сделать нужно так, чтобы пьеса осталась та же самая, но чтобы и автор и переводчик не узнали ее. Я бы это сам сделал, да времени нет… Как эту сделаете, я сейчас же другую дам.

Я долго не понимал сначала, чего он, собственно, хочет, а он начал мне способы переделки объяснять, и так-то образно, что я сразу постиг, в чем дело.

— Ну-с, так через неделю чтобы пьеса была у меня. Неделя — это только для начала, а там надо будет пьесы в два дня перешивать.

Через неделю я принес. Похвалил, дал денег и еще пьесу. А там и пошло, и пошло; два дня — трехактный фарс и двадцать пять рублей. Пьеса его и подпись его, а работа целиком моя.

Я заинтересовался, слушал и ровно ничего не понимал.

Вагон остановился у Страстного, и, слезая с империала, Глазов предложил мне присесть на бульваре, у памятника Пушкину. Он рассказывал с увлечением. Я слушал со вниманием.

— Как же вы переделывали и что? Откуда же режиссер брал столько пьес для переделки? — спросил я.

— Да ведь он же режиссер. Ну, пришлют ему пьесу для постановки в театре, а он сейчас же за мной. Прихожу к нему тайком в кабинет. Двери позатворяет, слышу — в гостиной знакомые голоса, товарищи по сцене там, а я, как краденый. Двери кабинета на ключ. Подает пьесу — только что с почты — и говорит:

— Сделай к пятнице. В субботу должны отослать обратно. Больше двух дней держать нельзя.

Раз в пьесе, полученной от него, письмо попалось: писал он сам автору, что пьеса поставлена быть не может по независящим обстоятельствам. Конечно, зачем чужую ставить, когда своя есть! Через два дня я эту пьесу перелицевал, через месяц играли ее, а фарс с найденным письмом отослали автору обратно в тот же день, когда я возвратил его.

Мой собеседник увлекся.

— И сколько пьес я для него переделал! И как это просто! Возьмешь, это самое, новенькую пьесу, прочитаешь и первое дело даешь ей подходящее название. Например, автор назвал пьесу «В руках», а я сейчас — «В рукавицах», или назовет автор — «Рыболов», а я — «На рыбной ловле». Переменишь название, принимаешься за действующих лиц. Даешь имена, какие только в голову взбредут, только бы на французские походили. Взбрело в голову первое попавшееся слово, и сейчас его на французское. Маленьких персонажей перешиваешь по-своему: итальянца делаешь греком, англичанина — американцем, лакея — горничной… А чтобы пьесу совсем нельзя было узнать, вставишь автомата или попугая. Попугай или автомат на сцене, а нужные слова за него говорят за кулисами. Ну-с, с действующими лицами покончишь, декорации и обстановку переиначишь. Теперь надо изменять по-своему каждую фразу и перетасовывать явления. Придумываешь эффектный конец, соль оригинала заменяешь сальцем, и пьеса готова.

Он сразу впал в минорный тон.

— Обворовываю талантливых авторов! Ведь на это я пошел, когда меня с квартиры гнали… А потом привык. Я из-за куска хлеба, а тот имя свое на пьесах выставляет, слава и богатство у него. Гонорары авторские лопатой гребет, на рысаках ездит… А я? Расходы все мои, получаю за пьесу двадцать рублей, из них пять рублей переписчикам… Опохмеляю их, оголтелых, чаем пою… Пока не опохмелишь, руки-то у них ходуном ходят…

Он много еще говорил и взял с меня слово обязательно посетить его.

— Мы только с женой вдвоем. Она — бывшая провинциальная артистка, драматическая инженю. Завтра я свободен, заказов пока нет, Итак, завтра в час дня.

— Даю слово.

На другой день я спускался в подвальный этаж домишка рядом с трактиром «Молдавия», на Живодерке,[10] в квартиру Глазова.

В темных сенцах, куда выходили двери двух квартир, стояли три жалких человека,

---

[10] Теперь на улице Красина

одетых в лохмотья; четвертый — в крахмальной рубахе и в одном жилете — из большой коробки посыпал оборванцев каким-то порошком. Пахло чем-то знакомым.

— Здравствуйте, Глазов! — крикнул я с лестницы.

— А, это вы? Владимир Алексеевич! Сейчас… Только пересыплю этих дьяволов. — И он бросал горстями порошок за ворот, за пазуху, даже за пояс брюк трем злополучникам.

Несчастные ежились, хохотали от щекотки и чихали.

— Ну, подождите, пока не повылазят. А мы пойдем. Пожалуйте!

И он отворил передо мной дверь в свою довольно чистую квартирку.

— Что за история? — спрашиваю я.

— Переписчики пришли, — серьезно ответил мне Глазов. — Сейчас заказ принесли срочный.

— Так в чем же дело?

— Персидской ромашкой я пересыпаю… А без этого их нельзя… Извините меня… Я сейчас оденусь.

Он накинул пиджак.

— Эллен! Ко мне мой друг пришел… Писатель… Приготовь нам закусить… Да иди сюда.

— Mille pardon… Я не одета еще.

Из спальни вышла молодая особа с папильотками в волосах и следами грима и пудры на усталом лице.

— Моя жена… Стасова-Сарайская… Инженивая драмати.

— Ах, Жорж! Не может он без глупых шуток! — улыбнулась она мне. — Простите, у нас беспорядок. Жорж возится с этой рванью, с переписчиками… Сидят и чешутся… На сорок копеек в день персидской ромашки выходит… А то без нее такой зоологический сад из квартиры сделают, что сбежишь… Они из «Собачьего зала».

Глазов перебивает:

— Да. Великое дело — персидская ромашка. Сам я это изобрел. Сейчас их осыплешь — и в бороду, и в голову, и в белье, у которых есть… Потом полчасика подержишь в сенях, и все в порядке: пишут, не чешутся, и в комнате чисто…

— Так, говорите, без персидской ромашки и пьес не было бы?

— Не было бы. Ведь их в квартиру пускать нельзя без нее… А народ они грамотный и сцену знают. Некоторые — бывшие артисты… В два дня пьесу стряпаем: я — явление, другой — явление, третий — явление, и кипит дело… Эллен, ты угощай завтраком гостя, а я займусь пьесой… Уж извините меня… Завтра утром сдавать надо… Посидите с женой.

Мы вошли в комнату рядом со спальней, где на столе стояла бутылка водки, а на керосинке жарилось мясо. В декабре стояла сырая, пронизывающая погода: снег растаял, стояли лужи; по отвратительным московским мостовым проехать невозможно было ни на санях, ни на колесах.

То же самое было и на Живодерке, где помещался «Собачий зал Жана де Габриель». Населенная мастеровым людом, извозчиками, цыганами и официантами, улица эта была весьма шумной и днем и ночью. Когда уже все «заведения с напитками» закрывались и охочему человеку негде было достать живительной влаги, тогда он шел на эту самую улицу и удовлетворял свое желание в «Таверне Питера Питта».

Так называлась винная лавка Ивана Гаврилова на языке обитателей «Собачьего зала», состоявшего при «Таверне Питера Питта».

По словам самого Жана Габриеля, он торговал напитками по двум уставам: с семи утра до одиннадцати вечера — по питейному, а с одиннадцати вечера до семи утра — по похмельному.

Вечером, в одиннадцать часов, лавка запиралась, но зато отпиралась каморка в сенях, где стояли два громадных сундука — один с бутылками, другой с полубутылками. Торговала ими «бабушка» на вынос и распивочно в «Собачьем зале». На вынос торговали через форточку. Покупатель постучит с заднего двора, сунет деньги молча и молча получит

бутылку. Форточка эта называлась «шланбой». Таких «шланбоев» в Москве было много: на Грачевке, на Хитровке и на окраинах. Если ночью надо достать водки, подходи прямо к городовому, спроси, где достать, и он укажет дом:

— Войдешь в ворота, там шланбой, занавеска красная. Войдешь, откроется форточка… А потом мне гривенник сунешь или дашь глотнуть из бутылки.

Возвращаясь часу во втором ночи с Малой Грузинской домой, я скользил и тыкался по рытвинам тротуаров Живодерки. Около одного из редких фонарей этой цыганской улицы меня кто-то окликнул по фамилии, и через минуту передо мной вырос весьма отрепанный, небритый человек с актерским лицом. Знакомые черты, но никак не могу припомнить.

Он назвался.

— Запутался, брат, запил. Второй год в «Собачьем зале» пребываю. Сцену бросил, переделкой пьес занимаюсь.

Я помнил его молодым человеком, талантливым начинающим актером, и больно стало при виде этого опустившегося бедняка: опух, дрожит, глаза слезятся, челюсти не слушаются.

— Водочки бы, — нерешительно обратился он ко мне.

— Да ведь поздно, а то угостил бы.

— Нет, что ты! Пойдем со мною, вот здесь рядом… Он ухватил меня за рукав и торопливо зашагал по

обледенелому тротуару. На углу переулка стоял деревянный двухэтажный дом и рядом с ним, через ворота, освещенный фонарем, старый флигель с казенной зеленой вывеской «Винная лавка».

Мы остановились у ворот.

Актер стукнул в калитку.

— Кто еще? — прохрипели со двора.

— Сезам, отворись, — ответил мой спутник.

— Кто? — громче хрипело со двора.

— Шланбой.

По этому магическому слову калитка отворилась, со двора пахнуло зловонием, и мы прошли мимо дворника в тулупе, с громадной дубиной в руках, на крыльцо флигеля и очутились в сенях.

— Держись за меня, а то загремишь, — предупредил меня спутник.

Роли переменились: теперь я держался за его руку. Он отворил дверь. Пахнуло теплом, ужасным, зловонным теплом жилой трущобы.

Картина, достойная описания: маленькая комната, грязный стол с пустыми бутылками, освещенный жестяной лампой; налево громадная русская печь (помещение строилось под кухню), а на полу вповалку спало более десяти человек обоего пола, вперемежку, так тесно, что некуда было поставить ногу, чтобы добраться до стола.

— Вот мы и дома, — сказал спутник и заорал диким голосом: — Проснитесь, мертвые, восстаньте из гробов! Мы водки принесли!..

Кучи лохмотьев зашевелились, послышались недовольные голоса, ругань.

А он продолжал:

— Мы водки принесли! И полез на печь.

— Бабка, водки!

— Ишь вас носит, дьяволы-полунощники, покоя вам нет…

— Аркашка, ты? — послышалось с печи.

— А с полу вставали, протирали глаза, бормотали:

— Где водка?..

— Дайте, черти, воды! Горло пересохло! — стонала полураздетая женщина, с растрепанными волосами, матово-бледная, с синяком на лбу.

— Аркашка, кого привел?.. Карася?

— Да еще какого, бабка… Водки!

С печи слезли грязная, морщинистая старуха и оборванный актер, усиленно

старавшийся надеть пенсне с одним стеклом: другое было разбито, и он закрывал глаз, против которого не было стекла.

— Тоже артист и автор, — рекомендовал Аркашка.

Я рассматривал комнату. Над столом углем была нарисована нецензурная карикатура, изображавшая человека, который, судя по лицу, много любил и много пострадал от любви; под карикатурой подпись:

«Собачий зал Жана де Габриель». Здесь жили драматурги и артисты, работавшие на своих безграмотных хозяев.

Купцы

Во всех благоустроенных городах тротуары идут по обе стороны улицы, а иногда, на особенно людных местах, поперек мостовых для удобства пешеходов делались то из плитняка, то из асфальта переходы. А вот на Большой Дмитровке булыжная мостовая пересечена наискось прекрасным тротуаром из гранитных плит, по которому никогда и никто не переходит, да и переходить незачем: переулков близко нет.

Этот гранитный тротуар начинается у подъезда небольшого особняка с зеркальными окнами. И как раз по обе стороны гранитной диагонали Большая Дмитровка была всегда самой шумной улицей около полуночи.

В Богословском (Петровском) переулке с 1883 года открылся театр Корша. С девяти вечера отовсюду поодиночке начинали съезжаться извозчики, становились в линию по обеим сторонам переулка, а не успевшие занять место вытягивались вдоль улицы по правой ее стороне, так как левая была занята лихачами и парными «голубчиками», платившими городу за эту биржу крупные суммы. «Ваньки», желтоглазые погонялки — эти извозчики низших классов, а также кашники, приезжавшие в столицу только на зиму, платили «халтуру» полиции.

Дежурные сторожа и дворники, устанавливавшие порядок, подходили к каждому подъезжающему извозчику, и тот совал им в руку заранее приготовленный гривенник.

Городовой важно прогуливался посередине улицы и считал запряжки для учета при дележе. Иногда он подходил к лихачам, здоровался за руку: взять с них, с биржевых плательщиков, было нечего. Разве только приятель-лихач угостит папироской.

Прохожих в эти театральные часы на улице было мало. Чаще других пробегали бедно одетые студенты, возвращаясь в свое общежитие на заднем дворе купеческого особняка.

Извозчики стояли кучками у своих саней, курили, болтали, распивали сбитень, а то и водочку, которой приторговывали сбитенщики, тоже с негласного разрешения городового.

Еще с начала вечера во двор особняка въехало несколько ассенизационных бочек, запряженных парами кляч, для своей работы, которая разрешалась только по ночам. Эти «ночные брокары», прозванные так в честь известной парфюмерной фирмы, открывали выгребные ямы и переливали содержимое черпаками на длинных рукоятках и увозили за заставу. Работа шла. Студенты протискивались сквозь вереницы бочек, окруживших вход в общежитие.

Вдруг извозчики засуетились и выстроились вдоль тротуаров в выжидательных позах.

— Корш отходит!

Из переулка вываливалась театральная публика, веселая, оживленная.

Извозчики набросились:

— Вам куды? Ваш-здоровь, с Иваном!

— Рублик. Вам куды?

Орут на все голоса извозчики, толкаясь и перебивая друг друга, загораживая дорогу публике.

— Куды? Куды? — висит в воздухе.

Городовой ходит с видом по крайней мере командующего армией и покрикивает.

Вдруг в этот момент отворяются ворота особняка и показывается пара одров с

бочкой…

— Куды? Назад! — покрывает шум громовой возглас городового. — А ты чего глядишь, морда? Вишь, публика не прошла!

И дворник, сидевший у ворот, поощряется начальственным жестом в рыло.

— Дрыхнешь, дьявол!

Пара кляч задвигается усилиями обоих назад во двор, и ворота закрываются. Но аромат уже отравил ругающуюся публику…

Извозчики разъехались. Публика прошла. К сверкавшему яблочковыми фонарями подъезду Купеческого клуба подкатывали собственные запряжки, и выходившие из клуба гости на лихачах уносились в загородные рестораны «взять воздуха» после пира.

Купеческий клуб помещался в обширном доме, принадлежавшем в екатерининские времена фельдмаршалу и московскому главнокомандующему графу Салтыкову и после наполеоновского нашествия перешедшем в семью дворян Мятлевых. У них-то и нанял его московский Купеческий клуб в сороковых годах.

Тогда еще Большая Дмитровка была сплошь дворянской: Долгорукие, Долгоруковы, Голицыны, Урусовы, Горчаковы, Салтыковы, Шаховские, Щербатовы, Мятлевы… Только позднее дворцы стали переходить в руки купечества, и на грани настоящего и прошлого веков исчезли с фронтонов дворянские гербы, появились на стенах вывески новых домовладельцев: Солодовниковы, Голофтеевы, Цыплаковы, Шелапутины, Хлудовы, Оби-дины, Ляпины…

В старину Дмитровка носила еще название Клубной улицы — на ней помещались три клуба: Английский клуб в доме Муравьева, там же Дворянский, потом переехавший в дом Благородного собрания; затем в дом Муравьева переехал Приказчичий клуб, а в дом Мятлева — Купеческий. Барские палаты были заняты купечеством, и барский тон сменился купеческим, как и изысканный французский стол перешел на старинные русские кушанья.

Стерляжья уха; двухаршинные осетры; белуга в рассоле; «банкетная телятина»; белая, как сливки, индюшка, обкормленная грецкими орехами; «пополамные растегаи» из стерляди и налимьих печенок; поросенок с хреном; поросенок с кашей. Поросята на «вторничные» обеды в Купеческом клубе покупались за огромную цену у Тестова, такие же, какие он подавал в своем знаменитом трактире. Он откармливал их сам на своей даче, в особых кормушках, в которых ноги поросенка перегораживались решеткой: «чтобы он с жирку не сбрыкнул!» — объяснял Иван Яковлевич.

Каплуны и пулярки шли из Ростова Ярославского, а телятина «банкетная» от Троицы, где телят отпаивали цельным молоком.

Все это подавалось на «вторничных» обедах, многолюдных и шумных, в огромном количестве.

Кроме вин, которых истреблялось море, особенно шампанского, Купеческий клуб славился один на всю Москву квасами и фруктовыми водами, секрет приготовления которых знал только один многолетний эконом клуба — Николай Агафоныч.

При появлении его в гостиной, где после кофе с ликерами переваривали в креслах купцы лукулловский обед, сразу раздавалось несколько голосов:

— Николай Агафоныч!

Каждый требовал себе излюбленный напиток. Кому подавалась ароматная листовка: черносмородинной почкой пахнет, будто весной под кустом лежишь; кому вишневая — цвет рубина, вкус спелой вишни; кому малиновая; кому белый сухарный квас, а кому кислые щи — напиток, который так газирован, что его приходилось закупоривать в шампанки, а то всякую бутылку разорвет.

— Кислые щи и в нос шибают, и хмель вышибают! — говаривал десятипудовый Ленечка, пивший этот напиток пополам с замороженным шампанским.

Ленечка — изобретатель кулебяки в двенадцать ярусов, каждый слой — своя начинка; и мясо, и рыба разная, и свежие грибы, и цыплята, и дичь всех сортов. Эту кулебяку приготовляли только в Купеческом клубе и у Тестова, и заказывалась она за сутки.

На обедах играл оркестр Степана Рябова, а пели хоры — то цыганский, то венгерский, чаще же русский от «Яра». Последний пользовался особой любовью, и содержательница его, Анна Захаровна, была в почете у гуляющего купечества за то, что умела потрафлять купцу и знала, кому какую певицу порекомендовать; последняя исполняла всякий приказ хозяйки, потому что контракты отдавали певицу в полное распоряжение содержательницы хора.

Только несколько первых персонажей хора, как, например, голосистая Поля и красавица Александра Николаевна, считались недоступными и могли любить по своему выбору. Остальные были рабынями Анны Захаровны.

Реже приглашался цыганский хор Федора Соколова от «Яра» и Христофора из «Стрельны», потому что с цыганками было не так-то просто ладить. Цыганку деньгами не купишь.

И венгерки тоже не нравились купечеству: — По-каковски я с ней говорить буду? После обеда, когда гурманы переваривали пищу, а игроки усаживались за карты, любители «клубнички» слушали певиц, торговались с Анной Захаровной и, когда хор уезжал, мчались к «Яру» на лихачах и парных «голубчиках», биржа которых по ночам была у Купеческого клуба. «Похищение сабинянок» из клуба не разрешалось, и певицам можно было уезжать со своими поклонниками только от «Яра».

Во время сезона улица по обеим сторонам всю ночь напролет была уставлена экипажами. Вправо от подъезда, до Глинищевского переулка, стояли собственные купеческие запряжки, ожидавшие, нередко до утра, засидевшихся в клубе хозяев. Влево, до Козицкого переулка, размещались сперва лихачи и за ними гремели бубенцами парные с отлетом «голубчики» в своих окованных жестью трехместных санях.

В корню — породистый рысак, а донская пристяжная — враспряжку, чтоб она, откинувшись влево, в кольцо выгибалась, мордой к самой земле.

И лихачи и «голубчики» знали своих клубных седоков, и седоки знали своих лихачей и «голубчиков» — прямо шли, садились и ехали. А то вызывались в клуб лихие тройки от Ечкина или от Ухарского и, гремя бубенцами, несли веселые компании за заставу, вслед за хором, уехавшим на парных долгушах-линейках.

И неслись по ухабам Тверской, иногда с песнями, загулявшие купцы. Молчаливые и важные лихачи на тысячных рысаках перегонялись с парами и тройками.

— Эгей-гей, голубчики, грррабб-ят! — раздавался любимый ямщицкий клич, оставшийся от разбойничьих времен на больших дорогах и дико звучавший на сонной Тверской, где не только грабителей, но и прохожих в ночной час не бывало.

Умчались к «Яру» подвыпившие за обедом любители «клубнички», картежники перебирались в игорные залы, а за «обжорным» столом в ярко освещенной столовой продолжали заседать гурманы, вернувшиеся после отдыха на мягких диванах и креслах гостиной, придумывали и обдумывали разные заковыристые блюда на ужин, а накрахмаленный повар в белом колпаке делал свои замечания и нередко одним словом разбивал кулинарные фантазии, не считаясь с тем, что за столом сидела сплоченная компания именитого московского купечества. А если приглашался какой-нибудь особенно почтенный гость, то он только молча дивился и своего суждения иметь не мог.

Но однажды за столом завсегдатаев появился такой гость, которому даже повар не мог сделать ни одного замечания, а только подобострастно записывал то, что гость говорил.

Он заказывал такие кушанья, что гурманы рты разевали и обжирались до утра. Это был адвокат, еще молодой, но плотный мужчина, не уступавший по весу сидевшим за столом. Недаром это был собиратель печатной и рукописной библиотеки по кулинарии. Про него ходили стихи:

Видел я архив обжоры,
Он рецептов вкусно жрать
От Кавказа до Ижоры
За сто лет сумел собрать.

«Вторничные» обеды были особенно многолюдны. Здесь отводили свою душу богачи-купцы, питавшиеся всухомятку в своих амбарах и конторах, посылая в трактир к Арсентьичу или в «сундучный ряд» за горячей ветчиной и белугой с хреном и красным уксусом, а то просто покупая эти и другие закуски и жареные пирожки у разносчиков, снующих по городским рядам и торговым амбарам Ильинки и Никольской.

— Пир-роги гор-ряч-чие!

В другие дни недели купцы обедали у себя дома, в Замоскворечье и на Таганке, где их ожидала супруга за самоваром и подавался обед, то постный, то скоромный, но всегда жирный — произведение старой кухарки, не людившей вносить новшества в меню, раз установленное много лет назад.

И вот по вторникам ездило это купечество обжираться в клуб.

В семидесятых и восьмидесятых годах особенно славился «хлудовский стол», где председательствовал степеннейший из степенных купцов, владелец огромной библиотеки Алексей Иванович Хлудов со своим братом, племянником и сыном Михаилом, о котором ходили по Москве легенды.

* * *

А. Н. Островский в «Горячем сердце», изображая купца Хлынова, имел в виду прославившегося своими кутежами в конце прошлого века Хлудова. «Развлечение», модный иллюстрированный журнал того времени, целый год печатал на заглавном рисунке своего журнала центральную фигуру пьяного купца, и вся Москва знала, что это Миша Хлудов, сын миллионера — фабриканта Алексея Хлудова, которому отведена печатная страничка в словаре Брокгауза, как собирателю знаменитой хлудовской библиотеки древних рукописей и книг, которую описывали известные ученые.

Библиотека эта по завещанию поступила в музей. И старик Хлудов до седых волос вечера проводил по-молодому, ежедневно за лукулловскими ужинами в Купеческом клубе, пока в 1882 году не умер скоропостижно по пути из дома в клуб. Он ходил обыкновенно в высоких сапогах, в длинном черном сюртуке и всегда в цилиндре.

Когда карета Хлудова в девять часов вечера подъехала, как обычно, к клубу и швейцар отворил дверку кареты, Хлудов лежал на подушках в своем цилиндре уже без признаков жизни. Состояние перешло к его детям, причем Миша продолжал прожигать жизнь, а его брат Герасим, совершенно ему противоположный, сухой делец, продолжал блестящие дела фирмы, живя незаметно.

Миша был притчей во языцех… Любимец отца, удалец и силач, страстный охотник и искатель приключений. Еще в конце шестидесятых годов он отправился в Среднюю Азию, в только что возникший город Верный, для отыскания новых рынков и застрял там, проводя время на охоте на тигров. В это время он напечатал в «Русских ведомостях» ряд интереснейших корреспонденции об этом, тогда неведомом крае. Там он подружился с генералом М. Г. Черняевым. Ходил он всегда в сопровождении огромного тигра, которого приручил, как собаку. Солдаты дивились на «вольного с тигрой», любили его за удаль и безумную храбрость и за то, что он широко тратил огромные деньги, поил солдат и помогал всякому, кто к нему обращался.

Так рассказывали о Хлудове очевидцы. А Хлудов явился в Москву и снова безудержно загулял.

В это время он женился на дочери содержателя меблированных комнат, с которой он познакомился у своей сестры, а сестра жила с его отцом в доме, купленном для нее на Тверском бульваре. Женившись, он продолжал свою жизнь без изменения, только стал еще задавать знаменитые пиры в своем Хлудовском тупике, на которых появлялся всегда в разных костюмах: то в кавказском, то в бухарском, то римским полуголым гладиатором с тигровой шкурой на спине, что к нему шло благодаря чудному сложению и отработанным

мускулам и от чего в восторг приходили — московские дамы, присутствовавшие на пирах. А то раз весь выкрасился черной краской и явился на пир негром. И всегда при нем находилась тигрица, ручная, ласковая, прожившая очень долго, как домашняя собака.

В 1875 году начались события на Балканах: восстала Герцеговина. Черняев был в тайной переписке с сербским правительством, которое приглашало его на должность главнокомандующего. Переписка, конечно, была прочитана Третьим отделением, и за Черняевым был учрежден надзор, в Петербурге ему отказано было выдать заграничный паспорт. Тогда Черняев приехал в Москву к Хлудову, последний устроил ему и себе в канцелярии генерал-губернатора заграничный паспорт, и на лихой тройке, никому не говоря ни слова, они вдвоем укатили из Москвы — до границ еще распоряжение о невыпуске Черняева из России не дошло. Словом, в июле 1876 года Черняев находился в Белграде и был главнокомандующим сербской армии, а Миша Хлудов неотлучно состоял при нем.

Мой приятель, бывший участник этой войны, рассказывал такую сцену:

— Приезжаю с докладом к Черняеву в Делиград. Меня ведут к палатке главнокомандующего. Из палатки выходит здоровенный русак в красной рубахе с солдатским «Георгием» и сербским орденом за храбрость, а в руках у него бутылка рома и чайный стакан.

— Ты к Черняеву? К Мише? — спрашивает меня. Я отвечаю утвердительно.

— Ну так это все равно, и он Миша и я Миша. На, пей.

Налил стакан рому. Я отказываюсь.

— Не пьешь? Стало быть, ты дурак. — И залпом выпил стакан.

А из палатки выглянул Черняев и крикнул:

— Мишка, пошел спать!

— Слушаю, ваше превосходительство. — И, отсалютовав стаканом, исчез в соседней палатке.

Вернулся Хлудов в Москву, женился во второй раз, тоже на девушке из простого звания, так как не любил ни купчих, ни барынь. Очень любил свою жену, но пьянствовал по-старому и задавал свои обычные обеды.

И до сих пор есть еще в Москве в живых люди, помнящие обед 17 сентября, первые именины жены после свадьбы. К обеду собралась вся знать, административная и купеческая. Перед обедом гости были приглашены в зал посмотреть подарок, который муж сделал своей молодой жене. Внесли огромный ящик сажени две длины, рабочие сорвали покрышку. Хлудов с топором в руках сам старался вместе с ними. Отбили крышку, перевернули его дном кверху и подняли. Из ящика вывалился… огромный крокодил.

Последний раз я видел Мишу Хлудова в 1885 году на собачьей выставке в Манеже. Огромная толпа окружила большую железную клетку. В клетке на табурете в поддевке и цилиндре сидел Миша Хлудов и пил из серебряного стакана коньяк. У ног его сидела тигрица, била хвостом по железным прутьям, а голову положила на колени Хлудову. Это была его последняя тигрица, недавно привезенная из Средней Азии, но уже прирученная им, как собачонка.

Вскоре Хлудов умер в сумасшедшем доме, а тигрица Машка переведена в зоологический сад, где была посажена в клетку и зачахла…

* * *

Всё это были люди, проедавшие огромные деньги. Но были и такие любители «вторничных» обедов, которые из скупости посещали их не более раза в месяц.

Таков был один из Фирсановых. За скупость его звали «костяная яичница». Это был миллионер, лесной торговец и крупный дисконтер, скаред и копеечник, каких мало. Детей у него в живых не осталось, и миллионы пошли по наследству каким-то дальним родственникам, которых он при жизни и знать не хотел. Он целый день проводил в конторе, в маленькой избушке при лесном складе, в глухом месте, невдалеке от товарной станции

железной дороги. Здесь он принимал богачей, нуждавшихся в деньгах, учитывал векселя на громадные суммы под большие проценты и делал это легко, но в мелочах был скуп невероятно.

В минуту откровенности он говорил:

— Ох, мученье, а не жизнь с деньгами. В другой раз я проснусь и давай на счетах прикидывать. В день сто тысяч вышло. Ну, десятки-то тысяч туда-сюда, не беспокоишься о них — знаешь, что на дело ушли, не жаль. А вот мелочь! Вот что мучит. Примерно, привезет из моего имения приказчик продукты, ну, масла, овса, муки… Примешь от него, а он, идол этакий, стоит перед тобой и глядит в глаза… На чай, вишь, — привычка у них такая — дожидается!.. Ну, вынешь из кармана кошелек, достанешь гривенник, думаешь дать, а потом мелькнет в голове: ведь я ему жалованье плачу, за что же еще сверх того давать? А потом опять думаешь: так заведено. Ну, скрепя сердце и дашь, а потом ночью встанешь и мучаешься, за что даром гривенник пропал. Ну вот, я и удумал, да так уж и начал делать: дам приказчику три копейки и скажу: «Вот тебе три копейки, добавь свои две, пойди в трактир, закажи чайку и пей в свое удовольствие, сколько хочешь».

В 1905 году в его контору явились экспроприаторы. Скомандовав служащим «руки вверх», они прошли к «самому» в кабинет и, приставив револьвер к виску, потребовали:

— Отпирай шкаф!

Он так рассказывал об этом случае:

— Отпираю, а у самого руки трясутся, уже и денег не жаль: боюсь, вдруг пристрелят. Отпер. Забрали тысяч десять с лишком, меня самого обыскали, часы золотые с Цепочкой сняли, приказали четверть часа не выходить из конторы… А когда они ушли, уж и хохотал я как их надул: пока они мне карманы обшаривали, я в кулаке держал десять золотых, успел со стола схватить… Не догадались кулак-то разжать! Вот как я их надул!.. Хи-хи-хи! — и раскатывался дробным смехом.

Над ним, по купеческой привычке, иногда потешались, но он ни на кого не обижался.

Не таков был его однофамилец, с большими рыжими усами вроде сапожной щетки. Его никто не звал по фамилии, а просто именовали: Паша Рыжеусов, на что он охотно откликался. Паша тоже считал себя гурманом, хоть не мог отличить рябчика от куропатки. Раз собеседники зло над ним посмеялись, после чего Паша не ходил на «вторничные» обеды года два, но его уговорили, и он снова стал посещать обеды: старое было забыто. И вдруг оно всплыло совсем неожиданно, и стол уже навсегда лишился общества Паши.

В числе обедающих на этот раз был антрепренер Ф. А. Корш, часто бывавший в клубе; он как раз сидел против Рыжеусова.

— Павел Николаевич, что это я вас у себя в театре не вижу?

— Помилуйте, Федор Адамыч, бываю изредка… Вот на это воскресенье велел для ребятишек ложу взять. Что у вас пойдет?

— В воскресенье? «Женитьба».

— Что-о?

— «Женитьба» Гоголя…

— Ну и зачем вы эту мерзость ставите?

Ф. А. Корш даже глаза вытаращил и не успел ответить, как весь стол прыснул от смеха.

— Подлецы вы все, вот что! Сволочь! — взвизгнул Рыжеусов, выскочил из-за стола и уехал из клуба.

Хохот продолжался, и удивленному Ф. А. Коршу наперерыв рассказывали причину побега Рыжеусова.

Года два назад за ужином, когда каждый заказывал себе блюдо по вкусу, захотел и Паша щегольнуть своим гурманством.

— А мне дупеля! — говорит он повару, вызванному для приема заказов.

— Дупеля? А ты знаешь, что такое дупель? — спрашивает кто-то.

— Конечно, знаю… Птиченка сама по себе махонькая, так с рябчонка, а ноги во-о какие, а потом нос во-о какой!

Повар хотел возразить, что зимой дупелей нет, но веселый Королев мигнул повару и вышел вслед за ним. Ужин продолжался.

Наконец, в закрытом мельхиоровом блюде подают дупеля.

— А нос где? — спрашивает Паша, кладя на тарелку небольшую птичку с длинными ногами.

— Зимой у дупеля голова отрезается… Едок, а этого не знаешь, — поясняет Королев.

— А!

Начинает есть и, наконец, отрезает ногу.

— Почему нога нитками пришита?.. И другая тоже? — спрашивает у официанта Паша.

Тот фыркает и закрывается салфеткой. Все недоуменно смотрят, а Королев серьезно объясняет:

— Потому, что я приказал к рябчику пришить петушью ногу.

Об этом на другой день разнеслось по городу, и уж другой клички Рыжеусову не было, как «Нога петушья»!

Однажды затащили его приятели в Малый театр на «Женитьбу», и он услыхал: «У вас нога петушья!» — вскочил и убежал из театра.

Когда Гоголю поставили памятник, Паша ругательски ругался:

— Ему! Надсмешнику!

Бывал на «вторничных» обедах еще один чудак, Иван Савельев. Держал он себя гордо, несмотря на долгополый сюртук и сапоги бутылками. У него была булочная на Покровке, где все делалось по «военногосударственному», как он сам говорил. Себя он называл фельдмаршалом, сына своего, который заведовал другой булочной, именовал комендантом, калачников и булочников — гвардией, а хлебопеков — гарнизоном.

Наказания провинившимся он никогда не производил единолично, а устраивал формальные суды. Стол покрывался зеленым сукном, ставился хлеб с серебряной солонкой, а для подсудимых приносились из кухни скамьи.

Наказания были разные: каторжные работы — значит отхожие места и помойки чистить, ссылка — перевод из главной булочной во вторую. Арест заменялся денежным штрафом, лишение прав — уменьшением содержания, а смертная казнь — отказом от места.

Все старшие служащие носили имена героев и государственных людей: Скобелев, Гурко, Радецкий, Александр Македонский и так далее. Они отвечали только на эти прозвища, а их собственные имена были забыты. Так и в книгах жалованье писалось:

Александр Македонский — крендельщик 6 рублей
Гурко — калашник … 6»
Наполеон — водовоз … 4»

Так звали служащих и все старые покупатели. Надо заметить, что все «герои» держали себя гордо и поддерживали тем славу имен своих.

Гурманы охотно приглашали за свой стол Ивана Савельева, когда он изредка появлялся в клубе, потому что с ним было весело. Для потехи!

Даже постоянно серьезных братьев Ляпиных он умел рассмешить. Братья Ляпины не пропускали ни одного обеда. «Неразлучники» — звали их. Было у них еще одно прозвание — «чет и нечет», но оно забылось, его помнили только те, кто знал их молодыми.

Они являлись в клуб обедать и уходили после ужина. В карты они не играли, а целый вечер сидели в клубе, пили, ели, беседовали со знакомыми или проводили время в читальне, надо заметить, всегда довольно пустой, хотя клуб имел прекрасную библиотеку и выписывал все русские и многие иностранные журналы.

Братья Ляпины — старики, почти одногодки. Старший — Михаил Иллиодорович — толстый, обрюзгший, малоподвижный, с желтоватым лицом, на котором, выражаясь словами Аркашки Счастливцева, вместо волос «какие-то перья растут».

Младший — Николай — энергичный, бородатый, был полной противоположностью брату. Они, холостяки, вдвоем занимали особняк с зимним садом. Ляпины обладали

хорошим состоянием и тратили его на благотворительные дела…

История Ляпиных легендарная, и зря ее не рассказывали всякому купцы, знавшие Ляпиных смолоду.

Ляпины родом крестьяне не то тамбовские, не то саратовские. Старший в юности служил у прасола и гонял гурты в Москву. Как-то в Моршанске, во время одного из своих путешествий, он познакомился со скопцами, и те уговорили его перейти в их секту, предлагая за это большие деньги.

Склонили его на операцию, но случилось, что сделали только половину операции, и, вручив часть обещанной суммы, докончить операцию решили через год и тогда же и уплатить остальное. Но на полученную сумму Ляпин за год успел разбогатеть и отказался от денег и операции.

А все-таки Михаил Иллиодорович обрюзг, потолстел и частенько прихварывал: причина болезни была одна — объедение.

* * *

В половине восьмидесятых годов выдалась бесснежная зима. На масленице, когда вся Москва каталась на санях, была настолько сильная оттепель, что мостовые оголились, и вместо саней экипажи и телеги гремели железными шинами по промерзшим камням — резиновых шин тогда не знали.

В пятницу и субботу на масленой вся улица между Купеческим клубом и особняком Ляпиных была аккуратно уложена толстым слоем соломы.

Из-под соломы не было видно даже поперечного гранитного тротуара, который, только для своего удобства, Ляпины провели в Купеческий клуб от своего подъезда.

И вот у этого подъезда, прошуршав по соломе, остановилась коляска. Из нее вышел младший брат Ляпин и помог выйти знаменитому профессору Захарьину.

Через минуту профессор, миновав ряд шикарных комнат, стал подниматься по узкой деревянной лестнице на антресоли и очутился в маленькой спальне с низким потолком.

Пахло здесь деревянным маслом и скипидаром. В углу, на пуховиках огромной кровати красного дерева, лежал старший Ляпин и тяжело дышал.

Сердито на него посмотрел доктор, которому брат больного уже рассказал о «вторничном» обеде и о том, что братец понатужился блинами, — так, десяточка на два перед обедом.

— Это что? — закричал профессор, ткнув пальцем в стенку над кроватью.

— Клопик-с… — сказал Михалыч, доверенный, сидевший неотлучно у постели больного.

— Как свиньи живете. Забрались в дыру, а рядом залы пустые. Перенесите спальню в светлую комнату! В гостиную! В зал!

Пощупал пульс, посмотрел язык, прописал героическое слабительное, еще поругался и сказал:

— Завтра можешь встать!

Взял пятьсот рублей за визит и уехал.

На другой день к вечеру солома с улицы была убрана, но предписание Захарьина братья не исполнили: спален своих не перевели…

Они смотрели каждый в свое зеркало, укрепленное на наружных стенах так, что каждое отражало свою сторону улицы, и братья докладывали друг другу, что видели:

— Пожарные по Столешникову вниз поехали.

— Студент к подъезду подошел.

Николай уезжал по утрам на Ильинку, в контору, где у них было большое суконное дело, а старший весь день сидел у окна в покойном кожаном кресле, смотрел в зеркало и ждал посетителя, которого пустит к нему швейцар — прямо без доклада. Михаил Иллиодорович всегда сам разговаривал с посетителями.

Главным образом это были студенты, приходившие проситься в общежитие.

Швейцар знал, кого пустить, тем более, что подходившего к двери еще раньше было видно в зеркале.

Входит в зал бедно одетый юноша.

— Пожить бы у вас…

— Что же, можно. А вы кто такой будете?

Если студент университета, Ляпин спросит, какого факультета, и сам назовет его профессоров, а если ученик школы живописи, спросит — в каком классе, в натурном ли, в головном ли, и тоже о преподавателях поговорит, причем каждого по имени-отчеству назовет.

— Так-с! Значит, пожить у нас хотите?

Раскроет книгу жильцов, посмотрит отметки в общежитии и, если есть вакансия, даст записку.

— Вот с этой бумажкой идите в общежитие, спросите Михалыча, заведующего, и устраивайтесь.

Ляпинцы

На дворе огромного владения Ляпиных сзади особняка стояло большое каменное здание, служившее когда-то складом под товары, и его в конце семидесятых годов Ляпины перестроили в жилой дом, открыв здесь бесплатное общежитие для студентов университета и учеников Училища живописи и ваяния.

Поселится юноша и до окончания курса живет, да и кончившие курс иногда оставались и жили в «Ляпинке» до получения места.

Вообще среди учащихся немногие были обеспечены — большинство беднота. И студенты, и ученики Училища живописи резко делились на богачей и на многочисленную голь перекатную.

Эти две различные по духу и по виду партии далеко держались друг от друга. У бедноты не было знакомств, им некуда было пойти, да и не в чем. Ютились по углам, по комнаткам, а собирались погулять в самых дешевых трактирах. Излюбленный трактир был у них неподалеку от училища, в одноэтажном домике на углу Уланского переулка и Сретенского бульвара, или еще трактир «Колокола» на Сретенке, где собирались живописцы, работавшие по церквам. Все жили по-товарищески: у кого заведется рублишко, тот и угощает.

Многие студенты завидовали ляпинцам — туда попадали только счастливцы: всегда полно, очереди не дождешься.

Много из «Ляпинки» вышло знаменитых докторов, адвокатов и художников. Жил там некоторое время П. И. Постников, известный хирург; жил до своего назначения профессор Училища живописи художник Корин; жили Петровичев, Пырин. Многих «Ляпинка» спасла от нужды и гибели.

Были и «вечные ляпинцы». Были три художника — Л., Б. и Х., которые по десять — пятнадцать лет жили в «Ляпинке» и оставались в ней долгое время уже по выходе из училища. Обжились тут, обленились. Существовали разными способами: писали картинки для Сухаревки, малярничали, когда трезвые… Ляпины это знали, но не гнали: пускай живут, а то пропадут на Хитровке.

«Ляпинка» была для многих студентов счастьем. Бывало нередко, что бесквартирные студенты проводили ночи на бульварах…

* * *

В восьмидесятые годы, кажется в 1884 году, Московский университет окончил доктор Владимиров, семинарист, родом из Галича. На четвертом курсе полуголодный Владимиров

остался без квартиры и недели две проводил майские ночи, гуляя по Тверскому бульвару, от памятника Пушкина до Никитских ворот. В это же время, около полуночи, из своего казенного дома переходил бульвар обер-полицмейстер Козлов, направляясь на противоположную сторону бульвара, где жила известная московская красавица портниха. Утром, около четырех-пяти часов, Козлов возвращался тем же путем домой. Владимиров, как и другие бездомовники, проводившие ночи на Тверском бульваре, знал секрет путешествий Козлова. Бледный юноша в широкополой шляпе, модной тогда среди студентов (какие теперь только встречаются в театральных реквизитах для шиллеровских разбойников), обратил на себя внимание Козлова. Утром как-то они столкнулись, и Козлов, расправив свои чисто военные усы, спросил:

— Молодой человек, отчего это я вас встречаю по ночам гуляющим вдоль бульвара?

— А оттого, что не всем такое счастье, чтобы гулять поперек бульвара каждую ночь.

* * *

Грязно, конечно, было в «Ляпинке», зато никакого начальства. В каждой комнате стояло по четыре кровати, столики с ящиками и стулья. Помещение было даровое, а за стол брали деньги.

Внизу была столовая, где подавался за пятнадцать копеек в два блюда мясной обед — щи и каша, бесплатно раз в день давали только чай с хлебом. Эта столовая была клубом, где и «крамольные» речи говорились, и песни пелись, и революционные прокламации первыми попадали в «Ляпинку» и читались открыто: сыщики туда не проникали, между своими провокаторов и осведомителей не было. Чуть подозрительное лицо появится, сейчас ляпинцы учуют, окружат и давай делать допрос по-ляпински: отбили охоту у сыщиков. Тем не менее в «Ляпинке» бывали обыски и нередко арестовывалась молодежь, но жандармы старались это делать, из боязни столкновения, не в самом помещении, а на улице, — ловили поодиночке. Во время студенческих волнений здесь происходили сходки. Десятки лет свободно существовала «Ляпинка», принимая учащуюся молодежь. Известен только один случай, когда братья Ляпины отказались принять в «Ляпинку» ученика Училища живописи, — а к художникам они благоволили особенно.

На одной из ученических выставок в Училище живописи всех поразила картина «Мертвое озеро». Вещь прекрасная, но жуткая: каменная пустыня, кровавая от лучей заката, посредине — озеро цвета застывшей крови, Автор картины — неуклюжий, оборванный человечек, уже пожилой, некрасивый, с озлобленным выражением глаз, косматая шапка волос, не ведавших гребня. Это был ученик Жуков. Он пошел к Ляпину проситься в общежитие, но своим видом и озлобленно-дерзким разговором произвел на братьев такое впечатление, что они отказали ему в приеме в общежитие. Он ушел, встретил на улице знакомого кучера из той деревни, где был волостным писарем до поступления в училище. Кучер служил у какой-то княгини и, узнав, что Жукову негде жить, приютил его в своей комнатке, при конюшне.

Была у Жукова еще аллегорическая картина «После потопа», за которую совет профессоров присудил ему первую премию в пятьдесят рублей, но деньги выданы

не были, так как Жуков был вольнослушателем, а премии выдавались только штатным ученикам. Он тогда был в классе профессора Савицкого, и последний о нем отзывался так:

— Жемчужина школы!

И погибла эта жемчужина школы.

Когда его перевели из кучерской в комнату старинного барского дома, прислуга стала глумиться над ним, и не раз он слышал ужасное слово: «Дармоед».

И в один злополучный день прислуга, вошедшая убирать его комнату, увидела: из камина торчали ноги, а среди пылающих дров в камине лежала обуглившаяся верхняя часть тела несчастного художника. Директор школы князь Львов выдал сто рублей на похороны Жукова, которого товарищи проводили на Даниловское кладбище. Более близкие его друзья

— а их было у него очень мало — рассказывали, что после него осталась большая поэма в стихах, посвященная девушке, с которой он и знаком не был, но был в нее тайно влюблен… Рассказывали, что он очень тяготился своей невзрачной наружностью, был болезненно самолюбив. А все-таки, думается, выдай ему училище пятьдесят рублей, мы, может быть, увидели бы крупного, оригинального художника — это ждали и Савицкий и товарищи, верившие в его талант…

Много талантов погибло от бедности. Такова судьба Волгужева. Слесарь, потом ученик школы, участник крупных выставок, обитатель «Ляпинки»… Его волжские пейзажи были прекрасны. Он умер от чахотки: заболел, лечиться не на что. Это тоже был человек гордый, неуступчивый… С ним был такой случай. Перед окончанием курса несколько учеников, лучших пейзажистов, были приглашены московским генерал-губернатором князем Сергеем Александровичем в его подмосковное имение «Ильинское» на лето отдыхать и писать этюды. Среди них был и Волгужев. На рождественской ученической выставке Сергей Александрович, неуклонно посещавший эти выставки, остановился перед картиной Волгужева, написанной у него в имении, расхвалил ее и спросил о цене.

Подозвали Волгужева. В отрепанном пиджаке, как большинство учеников того времени, он подошел к генерал-губернатору, который был выше его ростом на две

головы, и взял его за пуговицу мундира, что привело в ужас все начальство.

— Какая цена этой картины? Она мне нравится, я хочу ее приобрести, — сказал Сергей Александрович.

— Пятьсот рублей, — отрезал Волгужев, продолжая вертеть княжескую пуговицу.

— Это слишком дорого.

— А дорого, так и не надо, дешевле не продам! — Волгужев бросил вертеть пуговицу и отошел.

Цена была неслыханная, и, кроме того, по расценке выставочной комиссии, она объявлена была в сто рублей. На это указали Волгужеву.

— Знаю; всякому другому — сто, а этому — пятьсот. Уж очень он важен… Я тоже важничать умею… На кой ты мне?

* * *

Как-то на выставке появился женский портрет ученика из класса В. А. Серова. Автор его тоже жил в «Ляпинке». Портрет этот — молодая девица в белом платье на белом фоне, в белой раме — произвел впечатление, и одна молодая дама пожелала познакомиться с художником. Ей представили автора: ляпинец как ляпинец. Но на костюм эта важная дама не обратила внимания и предложила ему написать ее портрет. На другой день в том же своем единственном пиджаке он явился в роскошную квартиру против дома генерал-губернатора и начал писать одновременно с нее и с ее дочери. Молчаливый и стесняющийся обстановки попервоначалу, художник наконец поободрился, стал разговарить, дама много расспрашивала его о жизни художников и изъявила желание устроить для них у себя вечеринку.

— Позовите ко мне ваших товарищей, только скажите, чем и как их угощать.

— Водка, селедка, огурцы, колбаса, и, пожалуй, пивка бы хорошо. Чаю не надо. А сколько позвать? Человек пяток не много?

— Да что вы? Сколько хотите зовите: чем больше, тем лучше.

— Я и тридцать наберу!

— Вот на тридцать и приготовим, очень рада.

В назначенный день к семи часам вечеря приперла из «Ляпинки» артель в тридцать человек. Швейцар в ужасе, никого не пускает. Выручила появившаяся хозяйка дома, и княжеский швейцар в щегольской ливрее снимал и развешивал такие пальто и полушубки, каких вестибюль и не видывал. Только места для калош остались пустыми.

Поперла ватага по коврам в роскошную столовую и сразу расселась за огромный стол,

уставленный всевозможными закусками, винами, пивом, водкой. Хозяйка и две ее знакомые дамы заняли места в конце стола. Предусмотрительно устроитель вечера усадил среди дам двух нарочно приглашенных неляпинцев, франтов-художников, красавцев, вращавшихся в светском обществе, которые заняли хозяйку дома и бывших с ней дам; больше посторонних никого не было. Муж хозяйки дома, старый генерал, вышел было, взглянул, поклонился, но его никто даже не заметил, и он скрылся, осторожно притворив дверь.

С каждой рюмкой компания оживлялась, чокались, пили, наливали друг другу, шумели, и один из ляпинцев, совершенно пьяный, начал даже очень громко «родителей поминать». Более трезвые товарищи его уговорили уйти, швейцар помог одеться, и «Атамоныч» побрел в свою «Ляпинку», благо это было близко. Еще человек шесть «тактично» выпроводили таким же путем товарищи, а когда все было съедено и выпито, гости понемногу стали уходить.

Долго об этой пирушке вспоминали ее участники.

* * *

Были у ляпинцев и свои развлечения — театр Корша присылал им пять раз в неделю бесплатные билеты на галерку, а цирк Саламонского каждый день, кроме суббот, когда сборы всегда были полные, присылал двадцать медных блях, которые заведующий Михалыч и раздавал студентам, требуя за каждую бляху почему-то одну копейку. Студенты охотно платили, но куда эти копейки шли, никто не знал.

Кроме этого, удовольствий для студентов-ляпинцев никаких не было, если не считать бесплатного входа на художественные выставки.

Развлекались еще ляпинцы во время студенческих волнений, будучи почти всегда во главе движения. Раз было так, что больше половины «Ляпинки» ночевало в пересыльной тюрьме.

«Среды» художников

За Нарышкинским сквером, на углу Малой Дмитровки, против Страстного монастыря, в старинном барском доме много лет помещалось «Общество любителей художеств», которое здесь устраивало модные тогда «Периодические выставки».

На них лучшие картины получали денежные премии и прекрасно раскупались. Во время зимнего сезона общество устраивало «пятницы», на которые по вечерам собирались художники, ставилась натура, и они, «уставя брады свои» в пюпитры, молчаливо и сосредоточенно рисовали, попивая чай и перекидываясь между собой редкими словами.

Иногда кто-нибудь в это время играл на рояле, кто-нибудь из гостей-певцов пел или читал стихи. Вечера оканчивались скромной закуской. На них присутствовали только корифеи художества: Маковские, Поленов, Сорокин, Ге, Неврев и члены Общества — богатеи-меценаты П. М. Третьяков, Свешников, Куманин. Учащимся и молодым художникам доступа не было, а потому «пятницы» были нудны и скучны — недаром их прозвали «казенные пятницы». На них почти постоянно бывал художник-любитель К. С. Шиловский, впоследствии актер Малого театра Лошивский, человек живой, талантливый, высокообразованный. Он скучал на этих заседаниях, и вот как-то пригласил кое-кого из членов «пятниц» к себе на «субботу».

И стали у него на квартире, в Пименовском переулке, собираться художники. Они рисовали, проводили время за чайным столом в веселых беседах, слушали музыку, чтение, пение; много бывало и молодежи. Все это заканчивалось ужином. На «субботах» бывал В. Е. Шмаровин, знаток живописи и коллекционер. На одной из ученических выставок он первый «углядел» Левитана и приобрел его этюдик. Это была первая вещь, проданная Левитаном, и это было началом их дружбы. Шмаровин вообще дружил с полуголодной молодежью Училища живописи, покупал их вещи, а некоторых приглашал к себе на вечера, где бывали

также и большие художники. Как-то на «субботе» Шиловского он пригласил его и всех гостей к себе на следующую «среду», и так постепенно «пятницы» заглохли и обезлюдели. «Субботы» Шиловского, которые так увлекли художников попервоначалу, тоже не привились. Хлебосольный Шиловский на последние рубли в своей небольшой, прекрасно обставленной квартире угощал своих гостей ужинами с винами — художники стали стесняться бывать и ужинать на чужой счет, да еще в непривычной барской обстановке.

«Среды» Шмаровина были демократичны. Каждый художник, состоявший членом «среды», чувствовал себя здесь как дома, равно как и гости. Они пили и ели на свой счет, а хозяин дома, «дядя Володя», был, так сказать, только организатором и директором-распорядителем.

На «средах» все художники весь вечер рисовали акварель: Левитан — пейзаж, француз баталист Дик де Лон-лей — боевую сценку, Клод — карикатуру, Шестеркин — натюрморт, Богатов, Ягужинский и т. д. — всякий свое. На рисунке проставлялась цена, которую получал художник за свою акварель, — от рубля до пяти. Картины эти выставлялись тут же в зале «для обозрения публики», а перед ужином устраивалась лотерея, по гривеннику за билет. Кто брал один билет, а иной богатенький гость и десяток, и два — каждому было лестно выиграть за гривенник Левитана! Оставшиеся картины продавались в магазинах Дациаро и Аванцо. Из вырученной от лотереи суммы тут же уплачивалась стоимость картины художникам, а остатки шли на незатейливый ужин. Кроме того, на столах лежали папки с акварелями, их охотно раскупали гости. И каждый посетитель «сред» сознавал что он пьет-ест не даром.

На «субботах» и «средах» бывала почти одна и та же публика. На «субботах» пили и ели под звуки бубна, *а н* а «средах» пили из «кубка Большого орла» под звуки гимна «среды», состоявшего из одной строчки — «Недурно пущено», на музыку «Та-ра-ра-бум-бия».

И вот на одну из «сред» в 1886 году явился в разгар дружеской беседы К. С. Шиловский и сказал В. Е. Шма-ровину:

— Орел и бубен должны быть вместе, пусть будут они у тебя на «средах».

«Субботы» кончились — и остались «среды».

Почетный «кубок Большого орла» на бубне Шиловского подносился Шмаровиным каждому вновь принятому в члены «среды» и выпивался под пение гимна «Недурно пущено» и грохот бубна…

Это был обряд «посвящения» в члены кружка. Так же подносился «Орел» почетным гостям или любому из участников «сред», отличившемуся красивой речью, удачным экспромтом, хорошо сделанным рисунком или карикатурой. Весело зажили «среды». Собирались, рисовали, пили и пели до утра.

В артистическом мире около этого времени образовалось «Общество искусства и литературы», многие из членов которого были членами «среды».

В 1888 году «Общество искусства и литературы» устроило в Благородном собрании блестящий бал. Точные исторические костюмы, декорация, обстановка, художественный грим — все было сделано исключительно членами «среды».

И. Левитан, Голоушев, Богатов, Ягужинский и многие другие работали не покладая рук. Бал удался — «среда» окрепла.

В 1894 году на огромный стол, где обычно рисовали по «средам» художники свои акварели, В. Е. Шмаровин положил лист бристоля и витиевато написал сверху: «1-я среда 1894-го года». Его сейчас же заполнили рисунками присутствующие. Это был первый протокол «среды».

Каждая «среда» с той поры имела свой протокол… Крупные имена сверкали в этих протоколах под рисунками, отражавшими быт современности. Кроме художников, писали стихи поэты. М. А. Лохвицкая, Е. А. Буланина, В. Я. Брюсов записали на протоколах по нескольку стихотворений.

Это уже в новом помещении, в особняке на Большой Молчановке, когда на «среды»

стало собираться по сто и более участников и гостей. А там, в Савеловском переулке, было еще только начало «сред».

На звонок посетителей «сред» выходил В. Е. Шмаровин.

— Ну вот, друг, спасибо, что пришел! А то без тебя чего-то не хватало… Иди погрейся с морозца, — встречал он обычно пришедшего.

Кругом все знакомые… Приветствуя, В. Е. Шмаро-вин иногда становится перед вошедшим: в одной руке серебряная стопочка допетровских времен, а в другой — екатерининский штоф, «квинтель», как называли его на «средах».

Основная масса гостей являлась часов в десять. Старая няня, всеобщий друг, помогает раздеваться… Выходит сам «дядя Володя», целуется… Отворяется дверь в зал с колоннами, весь увешанный картинами… Посредине стол, ярко освещенный керосиновыми лампами с абажурами, а за столом уже сидит десяток художников — кто над отдельным рисунком, кто протокол заполняет… Кругом стола ходили гости, смотрели на работу… Вдруг кто-нибудь садился за рояль. Этот «кто-нибудь» обязательно известность музыкального мира: или Лентовская, или Аспергер берется за виолончель — и еще веселее работается под музыку. Входящие не здороваются, не мешают работать, а проходят дальше, или в гостиную через зал, или направо в кабинет, украшенный картинами и безделушками. Здесь, расположившись на мягкой мебели, беседуют гости… Лежат бубен, гитары, балалайки… Через коридор идут в столовую, где кипит самовар, хозяйка угощает чаем с печеньем и вареньем. А дальше комната, откуда слышатся звуки арфы, — это дочь хозяина играет для собравшихся подруг… Позднее она будет играть в квартете, вместе со знаменитостями, в большом зале молчановского особнячка.

Была еще комната: «мертвецкая».

Это самая веселая комната, освещенная темно-красным фонарем с потолка. По стенам — разные ископаемые курганные древности, целые плато старинных серег и колец, оружие — начиная от каменного века — кольчуги, шлемы, бердыши, ятаганы.

Вдоль стен широкие турецкие диваны, перед ними столики со спичками и пепельницами, кальян для любителей. Сидят, хохочут, болтают без умолку… Кто-нибудь бренчит на балалайке, кое-кто дремлет. А «мертвецкой» звали потому, что под утро на этих диванах обыкновенно спали кто лишнее выпил или кому очень далеко было до дому…

В полночь раздавались удары бубна в руках «дяди Володи»… Это первый сигнал. Художники кончают работать. Через десять минут еще бубен…

Убираются кисти, бумага; рисунки, еще не высохшие, ставятся на рояль. Все из-за стола расходятся по комнатам — в зале накрывают ужин… На множестве расписанных художниками тарелок ставится закуска, описанная в меню протокола. Колбасы: жеваная, дегтярная, трафаретная, черепаховая, медвежье ушко с жирком, моржовые разварные клыки, — собачья радость, пятки пилигрима… Водки: горилка, брыкаловка, сногсшибаловка, трын-травная и другие… Наливки: шмаровка, настоенная на молчановке, декадентская, варенуха из бубновых валетов, аукционная, урядницкая на комаре и таракане… Вина: из собственных садов «среды», с берегов моря житейского, розовое с изюминкой пур для дам. Меню ужина: 1) чудо-юдо рыба лещ; 2) телеса птичьи индейские на кости; 3) рыба лабардан, соус — китовые поплавки всмятку; 4) сыры: сыр бри, сыр Дарья, сыр Марья, сыр Бубен; 5) сладкое: мороженое «недурно пущено». На столе стоят старинные гербовые квинтеля с водками, чарочки с ручками и без ручек — все это десятками лет собиралось В. Е. Шмаровиным на Сухаревке. И в центре стола ставился бочонок с пивом, перед ним сидел сам «дядя Володя», а дежурный по «среде» виночерпий разливал пиво. Пили. Ели. Вставал «дядя Володя», звякал в бубен. Все затихало.

— Дорогие товарищи, за вами речь.

И указывал на кого-нибудь, не предупреждая, — приходилось говорить. А художник Синцов уже сидел за роялем, готовый закончить речь гимном… Скажет кто хорошо — стол кричит.

— «Орла!»

Кубок пьется под музыку и общее пение гимна «Недурно пущено».

Утро. Сквозь шторы пробивается свет. Семейные и дамы ушли… Бочонок давно пуст… Из «мертвецкой» слышится храп. Кто-то из художников, пишет яркими красками с натуры: стол с неприбранной посудой, пустой «Орел» высится среди опрокинутых рюмок, бочонок с открытым краном, и, облокотясь на стол, дремлет «дядя Володя». Поэт «среды» подписывает рисунок на законченном протоколе:

Да, час расставанья пришел,

День занимается белый, Бочонок стоит опустелый, Стоит опустелый «Орел»…

1922 год. Все-таки собирались «среды». Это уж было не на Большой Молчановке, а на Большой Никитской, в квартире С. Н. Лентовской. «Среды» назначались не регулярно. Время от времени «дядя Володя» присылал приглашения, заканчивавшиеся так:

«22 февраля, в среду, на «среде» чаепитие. Условия следующие: 1) самовар и чай от «среды»; 2) сахар и все иное съедобное, смотря по аппетиту прибывший приносит на свою долю с собой в количестве невозбраняемом…»

Начинающие художники

Настоящих любителей, которые приняли бы участие в судьбе молодых художников, было в старой Москве мало. Они ограничивались самое большое покупкой картин для своих галерей и «галдарей», выторговывая каждый грош.

Настоящим меценатом, кроме П. М. Третьякова и К. Т. Солдатенкова, был С. И. Мамонтов, сам художник, увлекающийся и понимающий.

Около него составился кружок людей, уже частью знаменитостей, или таких, которые показывали с юных дней, что из них выйдут крупные художники, как и оказывалось впоследствии.

Беднота, гордая и неудачливая, иногда с презрением относилась к меценатам.

— Примамонтились, воротнички накрахмалили! — говорили бедняки о попавших в кружок Мамонтова.

Трудно было этой бедноте выбиваться в люди. Большинство дети неимущих родителей — крестьяне, мещане, попавшие в Училище живописи только благодаря страстному влечению к искусству. Многие, окончив курс впроголодь, люди талантливые, должны были приискивать какое-нибудь другое занятие. Многие из них стали Церковными художниками, работавшими по стенной живописи в церквах. Таков был С. И. Грибков, таков был Баженов, оба премированные при окончании, надежда Училища. Много их было таких.

Грибков по окончании училища много лет держал живописную мастерскую, расписывал церкви и все-таки неуклонно продолжал участвовать на выставках и не прерывал дружбы с талантливыми художниками того времени.

По происхождению — касимовский мещанин, бедняк, при окончании курса получил премию за свою картину «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем». Имел премии позднее уже от Общества любителей художеств за исторические картины. Его большая мастерская церковной живописи была в купленном им доме у Калужских ворот.

Дом был большой, двухэтажный, населен беднотой — прачки, мастеровые, которые никогда ему не платили за квартиру, и он не только не требовал платы, но еще сам ремонтировал квартиры, а его ученики красили и белили.

В его большой мастерской было место всем. Приезжает какой-нибудь живописец из провинции и живет у него, конечно, ничего не делая, пока место найдет, пьет, ест. Потерял живописец временно место — приходит тоже, живет временно, до работы.

В учениках у него всегда было не меньше шести мальчуганов. И работали по хозяйству и на посылушках, и краску терли, и крыши красили, но каждый вечер для них ставился натурщик, и они под руководством самого Грибкова писали с натуры.

Немало вышло из учеников С. И. Грибкова хороших художников. Время от времени он их развлекал, устраивал по праздникам вечеринки, где водка и пиво не допускались, а только

чай, пряники, орехи и танцы под гитару и гармонию. Он сам на таких пирушках до поздней ночи сидел в кресле и радовался, как гуляет молодежь.

Иногда на этих вечеринках рядом с ним сидели его друзья-художники, часто бывавшие у него: Неврев, Шмельков, Пукирев и другие, а известный художник Саврасов живал у него целыми месяцами.

В последние годы, когда А. К. Саврасов уже окончательно спился, он иногда появлялся в грибковской мастерской в рубище. Ученики радостно встречали знаменитого художника и вели его прямо в кабинет к

С, И. Грибкову. Друзья обнимались, а потом А. К. Саврасова отправляли с кем-нибудь из учеников в баню к Крымскому мосту, откуда он возвращался подстриженный, одетый в белье и платье Грибкова, и начиналось вытрезвление.

Это были радостные дни для Грибкова. Живет месяц, другой, а потом опять исчезает, ютится по притонам, рисуя в трактирах, по заказам буфетчиков, за водку и еду.

Всем помогал С. И. Грибков, а когда умер, пришлось хоронить его товарищам: в доме не оказалось ни гроша.

А при жизни С. И. Грибков не забывал товарищей. Когда разбил паралич знаменитого В. В. Пукирева и он жил в бедной квартирке в одном из переулков на Пречистенке, С. И. Грибков каждый месяц посылал ему пятьдесят рублей с кем-нибудь из своих учеников. О В. В. Пукиреве С. И. Грибков всегда говорил с восторгом:

— Ведь это же Дубровский, пушкинский Дубровский! Только разбойником не был, а вся его жизнь была, как у Дубровского, — и красавец, и могучий, и талантливый, и судьба его такая же!

Товарищ и друг В. В. Пукирева с юных дней, он знал историю картины «Неравный брак» и всю трагедию жизни автора: этот старый важный чиновник — живое лицо. Невеста рядом с ним — портрет невесты В. В. Пукирева, а стоящий со скрещенными руками — это сам В. В. Пукирев, как живой.

У С. И. Грибкова начал свою художественную карьеру и Н. И. Струнников, поступивший к нему в ученики четырнадцатилетним мальчиком. Так же, как и все, был «на побегушках», был маляром, тер краски, мыл кисти, а по вечерам учился рисовать с натуры. Раз С. И. Грибков послал ученика Струнникова к антиквару за Калужской заставой реставрировать какую-то старую картину.

В это время к нему приехал П. М. Третьяков покупать портрет архимандрита Феофана работы Тропинина. Увидав П. М. Третьякова, антиквар бросился снимать с него шубу и галоши, а когда они вошли в комнату, то схватил работавшего над картиной Струнникова и давай его наклонять к полу:

— Кланяйся в ноги, на колени перед ним. Ты знаешь, кто это?

Н. И. Струнников в недоумении упирался, но П. М. Третьяков его выручил, подал ему руку и сказал:

— Здравствуйте, молодой художник!.

Портрет Тропинина П. М. Третьяков купил тут же за четыреста рублей, а антиквар, когда ушел П. М. Третьяков, заметался по комнате и заскулил:

— А-ах, продешевил, а-ах, продешевил!

Н. И. Струнников, сын крестьянина, пришел в город без копейки в кармане и добился своего не легко. После С. И. Грибкова он поступил в Училище живописи и начал работать по реставрации картин у известного московского парфюмера Брокара, владельца большой художественной галереи.

За работу Н. И. Струнникову Брокар денег не давал, а только платил за него пятьдесят рублей в училище и содержал «на всем готовом». А содержал так: отвел художнику в сторожке койку пополам с рабочим, — так двое на одной кровати и спали, и кормил вместе со своей прислугой на кухне. Проработал год Н. И. Струнников и пришел к Брокару:

— Я ухожу.

Брокар молча вынул из кармана двадцать пять рублей. Н. И. Струнников отказался.

— Возьмите обратно.

Брокар молча вынул бумажник и прибавил еще пятьдесят рублей. Н. И. Струнников взял, молча повернулся и ушел.

Нелегка была жизнь этих начинающих художников без роду, без племени, без знакомства и средств к жизни.

Легче других выбивались на дорогу, как тогда говорили, «люди в крахмальных воротничках». У таких заводились знакомства, которые нужно было поддерживать, а для этого надо было быть хорошо воспитанным и образованным.

У Жуковых, Волгушевых и других таких — имя их легион — ни того, ни другого.

Воспитание в детстве было получить негде, а образование Училище живописи не давало, программа общеобразовательных предметов была слаба, да и смотрели на образование, как на пустяки, — были уверены, что художнику нужна только кисть, а образование — вещь второстепенная.

Это ошибочное мнение укоренилось прочно, и художников образованных в то время почти не было. Чудно копирует природу, дает живые портреты — и ладно. Уменья мало-мальски прилично держать себя добыть негде. Полное презрение ко всякому приличному обществу — «крахмальным воротничкам» и вместе — к образованию. До образования ли, до наук ли таким художникам было, когда нет ни квартиры, ни платья, когда из сапог пальцы смотрят, а штаны такие, что приходится задом к стене поворачиваться. Мог ли в таком костюме пойти художник в богатый дом писать портрет, хотя мог написать лучше другого… Разве не от этих условий погибли Жуков, Волгушев? А таких были сотни, погибавших без средств и всякой поддержки.

Только немногим удавалось завоевать свое место в жизни. Счастьем было для И. Левитана с юных дней попасть в кружок Антона Чехова. И. И. Левитан был беден, но старался по возможности прилично одеваться, чтобы быть в чеховском кружке, также в то время бедном, но талантливом и веселом. В дальнейшем через знакомых оказала поддержку талантливому юноше богатая старуха Морозова, которая его даже в лицо не видела. Отвела ему уютный, прекрасно меблированный дом, где он и написал свои лучшие вещи.

Выбился в люди А. М. Корин, но он недолго прожил — прежняя ляпинская жизнь надорвала его здоровье. Его любили в училище как бывшего ляпинца, выбившегося из таких же, как они сами, теплой любовью любили его. Преклонялись перед корифеями, а его любили так же, как любили и А. С. Степанова. Его мастерская в Училище живописи помещалась во флигельке, направо от ворот с Юшкова переулка.

Огромная несуразная комната. Холодно. Печка дымит. Посредине на подстилке какое-нибудь животное: козел, овца, собака, петух… А то — лисичка. Юркая, с веселыми глазами, сидит и оглядывается; вот ей захотелось прилечь, но ученик отрывается от мольберта, прутиком пошевелит ей ногу или мордочку, ласково погрозит, и лисичка садится в прежнюю позу. А кругом ученики пишут с нее и посреди сам А. С. Степанов делает замечания, указывает.

Ученики у А. С. Степанова были какие-то особенные, какие-то тихие и скромные, как и он сам. И казалось, что лисичка сидела тихо и покорно оттого, что ее успокаивали эти покойные десятки глаз, и под их влиянием она была послушной, и, кажется, сознательно послушной.

Этюды с этих лисичек и другие классные работы можно было встретить и на Сухаревке, и у продавцов «под воротами». Они попадали туда после просмотра их профессорами на отчетных закрытых выставках, так как их было девать некуда, а на ученические выставки классные работы не принимались, как бы хороши они ни были. За гроши продавали их ученики кому попало, а встречались иногда среди школьных этюдов вещи прекрасные.

Ученические выставки бывали раз в году — с 25 декабря по 7 января. Они возникли еще в семидесятых годах, но особенно стали популярны с начала восьмидесятых годов, когда на них уже обозначились имена И. Левитана, Архипова, братьев Коровиных,

Святославского, Аладжалова, Милорадовича, Матвеева, Лебедева и Николая Чехова (брата писателя).

На выставках экспонировались летние ученические работы. Весной, по окончании занятий в Училище живописи, ученики разъезжались кто куда и писали этюды и картины для этой выставки. Оставались в Москве только те, кому уж окончательно некуда было деваться. Они ходили на этюды по окрестностям Москвы, давали уроки рисования, нанимались по церквам расписывать стены.

Это было самое прибыльное занятие, и за летнее время ученики часто обеспечивали свое существование на целую зиму. Ученики со средствами уезжали в Крым, на Кавказ, а кто и за границу, но таких было слишком мало. Все, кто не скапливал за лето каких-нибудь грошовых сбережений, надеялись только на продажу своих картин.

Ученические выставки пользовались популярностью, их посещали, о них писали, их любила Москва. И владельцы галерей, вроде Солдатенкова, и никому не ведомые москвичи приобретали дешевые картины, иногда будущих знаменитостей, которые впоследствии приобретали огромную ценность.

Это был спорт: угадать знаменитость, все равно что выиграть двести тысяч. Был один год (кажется, выставка 1897 года), когда все лучшие картины закупили московские «иностранцы»: Прове, Гутхейль, Кноп, Катуар, Брокар, Гоппер, Мориц, Шмидт…

После выставки счастливцы, успевшие продать свои картины и получить деньги, переодевались, расплачивались с квартирными хозяйками и первым делом — с Моисеевной.

Во дворе дома Училища живописи во флигельке, где была скульптурная мастерская Волнухина, много лет помещалась столовка, занимавшая две сводчатые комнаты, и в каждой комнате стояли чисто-начисто вымытые простые деревянные столы с горами нарезанного черного хлеба. Кругом на скамейках сидели обедавшие.

Столовка была открыта ежедневно, кроме воскресений, от часу до трех, и всегда была полна. Раздетый, прямо из классов, наскоро прибегает сюда ученик, берет тарелку и металлическую ложку и прямо к горящей плите, где подслеповатая старушка Моисеевна и ее дочь отпускают кушанья. Садится ученик с горячим за стол, потом приходит за вторым, а потом уж платит деньга старушке и уходит. Иногда, если денег нет, просит подождать, и Моисеевна верила всем.

— Ты уж принеси… а то я забуду, — говорила она.

Обед из двух блюд с куском говядины в супе стоил семнадцать копеек, а без говядины одиннадцать копеек. На второе — то котлеты, то каша, то что-нибудь из картошки, а иногда полная тарелка клюквенного киселя и стакан молока. Клюква тогда стоила три копейки фунт, а молоко две копейки стакан.

Не было никаких кассирш, никаких билетиков. И мало было таких, кто надует Моисеевну, почти всегда платили наличными, займут у кого-нибудь одиннадцать копеек и заплатят. После выставок все расплачивались обязательно.

Бывали случаи, что является к Моисеевне какой-нибудь хорошо одетый человек и сует ей деньги.

— Это ты, батюшка, за что же?

— Должен тебе, Моисеевна, получи!

— Да ты кто будешь-то? — И всматривается в лицо подслеповатыми глазами.

Дочка узнает скорее и называет фамилию. А то сам скажется.

— Ах ты батюшки, да это, Санька, ты? А я и не узнала было… Ишь франт какой!.. Да что ты мне много даешь?

— Бери, бери, Моисеевна, мало я у тебя даром обедов-то поел.

— Ну вот и спасибо, соколик!

На трубе

…Ехали бояре с папиросками в зубах. Местная полиция на улице была…

Такова была подпись под карикатурой в журнале «Искра» в начале шестидесятых годов прошлого столетия.

Изображена тройка посередине улицы. В санях четыре щеголя папиросы раскуривают, а два городовых лошадей останавливают.

Эта карикатура сатирического журнала была ответом на запрещение курить на улицах, виновных отправляли в полицию, «несмотря на чин и звание», как было напечатано в приказе обер-полицмейстера, опубликованном в газетах.

Немало этот приказ вызвал уличных скандалов, и немало от него произошло пожаров: курильщики в испуге бросали папиросы куда попало.

В те годы курение папирос только начинало вытеснять нюхательный табак, но все же он был еще долго в моде.

— То ли дело нюхануть! И везде можно, и дома воздух не портишь… А главное, дешево и сердито!

Встречаются на улице даже мало знакомые люди, поздороваются шапочно, а если захотят продолжать знакомство — табакерочку вынимают.

— Одолжайтесь.

— Хорош. А ну-ка моего… Хлопнет по крышке, откроет.

— А ваш лучше. Мой-то костромской мятный. С канупером табачок, по крепости — вырви глаз.

— Вот его сиятельство князь Урусов — я им овес поставляю — угощали меня из жалованной золотой табакерки Хра… Хра… Да… Храппе.

— Раппе. Парижский. Знаю.

— Ну вот… Духовит, да не заборист. Не понравился… Ну я и говорю: «Ваше сиятельство, не обессудьте уж, не побрезгуйте моим…» Да вот эту самую мою анютку с хвостиком, берестяную — и подношу… Зарядил князь в обе, глаза вытаращил — и еще зарядил. Да как чихнет!.. Чихает, а сам вперебой спрашивает: «Какой такой табак?.. Аглецкий?..» А я ему и говорю: «Ваш французский Храппе — а мой доморощенный — Бутатре»… И объяснил, что у будочника на Никитском бульваре беру. И князь свой Храппе бросил — на «самтре» перешел, первым покупателем у моего будочника стал. Сам заходил по утрам, когда на службу направлялся… Потом будочника в квартальные вывел…

В продаже были разные табаки: Ярославский — Дунаева и Вахрамеева, Костромской — Чумакова, Владимирский — Головкиных, Ворошатинский, Бобковый, Ароматический, Суворовский, Розовый, Зеленчук, Мятный. Много разных названий носили табаки в «картузах с казенной бандеролью», а все-таки в Москве нюхали больше или «бутатре» или просто «самтре», сами терли махорку, и каждый сдабривал для запаху по своему вкусу. И каждый любитель в секрете свой рецепт держал, храня его якобы от дедов.

Лучший табак, бывший в моде, назывался «Розовый». Его делал пономарь, живший во дворе церкви Троицы-Листы, умерший столетним стариком. Табак этот продавался через окошечко в одной из крохотных лавочек, осевших глубоко в землю под церковным строением на Сретенке. После его смерти осталось несколько бутылок табаку и рецепт, который настолько своеобразен, что нельзя его не привести целиком.

«Купить полсажени осиновых дров и сжечь их, просеять эту золу через сито в особую посуду.

Взять листового табаку махорки десять фунтов, немного его подсушить (взять простой горшок, так называемый коломенский, и ступку деревянную) и этот табак класть в горшок и тереть, до тех пор тереть, когда останется не больше четверти стакана корешков, которые очень трудно трутся: когда весь табак перетрется, про-

сеять его сквозь самое частое сито. Затем весь табак сызнова просеять и высевки опять протереть и просеять. Золу также второй раз просеять. Соединить золу с табаком так: два стакана табаку и один стакан золы, ссыпать это в горшок, смачивая водой стакан с осьмою, смачивать не сразу, а понемногу, и в это время опять тереть, и так тереть весь табак до конца, выкладывая в одно место. Духи класть так: взять четверть фунта эликсиру соснового

масла, два золотника розового масла и один фунт розовой воды самой лучшей. Сосновое масло, один золотник розового масла и розовую воду соединить вместе подогретую, но не очень сильно; смесь эту, взбалтывая, подбавлять в каждый раствор табаку с золою и все это стирать.

Когда весь табак перетрется со смесью, его вспрыскивать оставшимся одним золотником розового масла и перемешивать руками. Затем насыпать в бутылки; насыпав в бутылки табак, закубрить его пробкой и завязать пузырем, поставить их на печь дней на пять или на шесть, а на ночь в печку ставить, класть их надо в лежачем положении. И табак готов».

Задолго до постройки «Эрмитажа» на углу между Грачевкой и Цветным бульваром, выходя широким фасадом на Трубную площадь, стоял, как и теперь стоит, трехэтажный дом Внукова.[11] Теперь он стал ниже, потому что глубоко осел в почву. Еще задолго до ресторана «Эрмитаж» в нем помещался разгульный трактир «Крым», и перед ним всегда стояли тройки, лихачи и парные «голубчики» по зимам, а в дождливое время часть Трубной площади представляла собой непроездное болото, вода заливала Неглинный проезд, но до Цветного бульвара и до дома Внукова никогда не доходила.

Разгульный «Крым» занимал два этажа. В третьем этаже трактира второго разряда гуляли барышники, шулера, аферисты и всякое жулье, прилично сравнительно одетое. Публику утешали песенники и гармонисты.

Бельэтаж был отделан ярко и грубо, с претензией на шик. В залах были эстрады для оркестра и для цыганского и русского хоров, а громогласный орган заводился вперемежку между хорами по требованию публики,

Кому что нравится, — оперные арии мешались с камаринским и гимн сменялся излюбленной «Лучинушкой».

Здесь утешались загулявшие купчики и разные приезжие из провинции. Под бельэтажем нижний этаж был занят торговыми помещениями, а под ним, глубоко в земле, подо всем домом между Грачевкой и Цветным бульваром сидел громаднейший подвальный этаж, весь сплошь занятый одним трактиром, самым отчаянным разбойничьим местом, где развлекался до бесчувствия преступный мир, стекавшийся из притонов Грачевки, переулков Цветного бульвара, и даже из самой «Шиповской крепости» набегали фартовые после особо удачных Сухих и мокрых дел, изменяя даже своему притону «Поляковскому трактиру» на Яузе, а хитровская «Каторга» Казалась пансионом благородных девиц по сравнению с «Адом».

Много лет на глазах уже вошедшего в славу «Эрмитажа» гудел пьяный и шумный «Крым» и зловеще молчал «Ад», из подземелья которого не доносился ни один Звук на улицу. Еще в семи- и восьмидесятых годах он был таким же, как и прежде, а то, пожалуй, и хуже, потому что за двадцать лет грязь еще больше пропитала пол и стены, а газовые рожки за это время насквозь прокоптили потолки, значительно осевшие и потрескавшиеся, особенно в подземном ходе из общего огромного зала от входа с Цветного бульвара до выхода на Грачевку. А вход и выход были совершенно особенные. Не ищите ни подъезда, ни даже крыльца… Нет.

Сидит человек на скамейке на Цветном бульваре и смотрит на улицу, на огромный дом Внукова. Видит, идут по тротуару мимо этого дома человек пять, и вдруг — никого! Куда они девались?.. Смотрит — тротуар пуст… И опять неведомо откуда появляется пьяная толпа, шумит, дерется… И вдруг исчезает снова… Торопливо шагает будочник — и тоже проваливается сквозь землю, а через пять минут опять вырастает из земли и шагает по тротуару с бутылкой водки в одной руке и со свертком в другой…

Встанет заинтересовавшийся со скамейки, подойдет к дому — и секрет открылся: в стене ниже тротуара широкая дверь, куда ведут ступеньки лестницы. Навстречу выбежит,

---

[11] Потом Кононова

ругаясь непристойно, женщина с окровавленным лицом, и вслед за ней появляется оборванец, валит ее на тротуар и бьет смертным боем, приговаривая:

— У нас жить так жить!

Выскакивают еще двое, лупят оборванца и уводят женщину опять вниз по лестнице. Избитый тщетно силится встать и переползает на четвереньках, охая и ругаясь, через мостовую и валится на траву бульвара…

Из отворенной двери вместе с удушающей струей махорки, пьяного перегара и всякого человеческого зловония оглушает смешение самых несовместимых звуков. Среди сплошного гула резнет высокая нота подголоска-запевалы, и грянет звериным ревом хор пьяных голосов, а над ним звон разбитого стекла, и дикий женский визг, и многоголосая ругань.

А басы хора гудят в сводах и покрывают гул, пока опять не прорежет их визгливый подголосок, а его не заглушит, в свою очередь, фальшивая нота скрипки…

И опять все звуки сливаются, а теплый пар и запах газа от лопнувшей где-то трубы на минуту остановят дыхание…

Сотни людей занимают ряды столов вдоль стен и середину огромнейшего «зала». Любопытный скользит по мягкому от грязи и опилок полу, мимо огромный плиты, где и жарится и варится, к подобию буфета, где на полках красуются бутылки с ерофеичем, желудочной, перцовкой, разными сладкими наливками и ромом, за полтинник бутылка, от которого разит клопами, что не мешает этому рому пополам с чаем делаться «пунштиком», любимым напитком «зеленых ног», или «болдох», как здесь зовут обратников из Сибири и беглых из тюрем.

Все пьяным-пьяно, все гудит, поет, ругается… Только в левом углу за буфетом тише — там идет игра в ремешок, в наперсток… И никогда еще никто в эти игры не выигрывал у шулеров, а все-таки по пьяному делу играют… Уж очень просто.

Например, игра в наперсток состоит в том, чтобы угадать, под каким из трех наперстков лежит хлебный шарик, который шулер на глазах у всех кладет под наперсток, а на самом деле приклеивает к ногтю — и под наперстком ничего нет…

В ремешок игра простая: узкий кожаный ремешок свертывается в несколько оборотов в кружок, причем партнер, прежде чем распустится ремень, должен угадать середину, то есть поставить свой палец или гвоздь, или палочку так, чтобы они, когда ремень развернется, находились в центре образовавшегося круга, в петле. Но ремень складывается так, что петли не оказывается.

И здесь в эти примитивные игры проигрывают все, что есть: и деньги, и награбленные вещи, и пальто, еще тепленькое, только что снятое с кого-нибудь на Цветном бульваре. Около играющих ходят барышники-портяночники, которые скупают тут же всякую мелочь, все же ценное и крупное поступает к самому «Сатане» — так зовут нашего хозяина, хотя его никогда никто в лицо не видел. Всем делом орудуют буфетчик и два здоровенных вышибалы — они же и скупщики краденого.

Они выплывают во время уж очень крупных скандалов и бьют направо и налево, а в помощь им всегда становятся завсегдатаи — «болдохи», которые дружат с ними, как с нужными людьми, с которыми «дело делают» по сбыту краденого и пользуются у них приютом, когда опасно ночевать в ночлежках или в своих «хазах». Сюда же никакая полиция никогда не заглядывала, разве только городовые из соседней будки, да и то с самыми благими намерениями — получить бутылку водки.

И притом дальше общего зала не ходили, а зал только парадная половина «Ада». Другую половину звали «Треисподняя», и в нее имели доступ только известные буфетчику и вышибалам, так сказать, заслуженные «болдохи», на манер того, как вельможи, «имеющие приезд ко двору». Вот эти-то «имеющие приезд ко двору» заслуженные «болдохи» или «иваны» из «Шиповской крепости» и «волки» из «Сухого оврага» с Хитровки имели два входа — один общий с бульвара, а другой с Грачевки, где также исчезали незримо с тротуара, особенно когда приходилось тащить узлы, что через зал все-таки как-то неудобно.

«Треисподняя» занимала такую же по величине половину подземелья и состояла из

коридоров, по обеим сторонам которых были большие каморки, известные под названием: маленькие — «адских кузниц», а две большие — «чертовых мельниц».

Здесь грачевские шулера метали банк — единственная игра, признаваемая «Иванами» и «болдохами», в которую они проигрывали свою добычу, иногда исчисляемую тысячами.

В этой половине было всегда тихо — пьянства не допускали вышибалы, одного слова или молчаливого жеста их все боялись. «Чертовы мельницы» молотили круглые сутки, когда составлялась стоящая дела игра. Круглые сутки в маленьких каморках делалось дело: то «тырбанка сламу», то есть дележ награбленного участниками и продажа его, то исполнение заказов по фальшивым паспортам или другим подложным документам особыми спецами. Несколько каморок были обставлены как спальни (двухспальная кровать с соломенным матрасом) — опять-таки только для почетных гостей и их «марух»…

Заходили сюда иногда косматые студенты, пели «Дубинушку» в зале, шумели, пользуясь уважением бродяг и даже вышибал, отводивших им каморки, когда не находилось мест в зале.

Так было в шестидесятых годах, так было и в семидесятых годах в «Аду», только прежде было проще: в «Треисподнюю» и в «адские кузницы» пускались пары с улицы, и в каморки ходили из зала запросто всякие гости, кому надо было уединиться. Иногда в семидесятых годах в «Ад» заходили почетные гости — актеры Народного театра и Артистического кружка для изучения типов. Бывали Киреев, Полтавцев, Вася Васильев. Тогда полиция не заглядывала сюда, да и после, когда уже существовала сыскная полиция, обходов никаких не было, да они ни к чему бы и не повели — под домом были подземные ходы, оставшиеся от водопровода, устроенного еще в екатерининские времена.

В конце прошлого столетия при канализационных работах наткнулись на один из таких ходов под воротами этого дома, когда уже «Ада» не было, а существовали лишь подвальные помещения (в одном из них помещалась спальня служащих трактира, освещавшаяся и днем керосиновыми лампами).

С трактиром «Ад» связана история первого покушения на Александра II 4 апреля 1866 года. Здесь происходили заседания, на которых и разрабатывался план нападения на царя.

В 1863 году в Москве образовался кружок молодежи, постановившей бороться активно с правительством. Это были студенты университета и Сельскохозяйственной

академии. В 1865 году, когда число участников увеличилось, кружок получил название «Организация».

Организатором и душой кружка был студент Ишутин, стоявший во главе группы, квартировавшей в доме мещанки Ипатовой по Большому Спасскому переулку, в Каретном ряду. По имени дома эта группа называлась ипатовцами. Здесь и зародилась мысль о цареубийстве, неизвестная другим членам «Организации».

Ипатовцы для своих конспиративных заседаний избрали самое удобное место — трактир «Ад», где никто не мешал им собираться в сокровенных «адских кузницах». Вот по имени этого притона группа ишутинцев и назвала себя «Ад».

Кроме трактира «Ад», они собирались еще на Большой Бронной, в развалившемся доме Чебышева, где Ишутин оборудовал небольшую переплетную мастерскую, тоже под названием «Ад», где тоже квартировали некоторые «адовцы», называвшие себя «смертниками», то есть обреченными на смерть. В числе их был и Каракозов, неудачно стрелявший в царя.

Последовавшая затем масса арестов терроризировала Москву, девять «адовцев» были посланы на каторгу (Каракозов был повешен). В Москве все были так перепуганы, что никто и заикнуться не смел о каракозовском покушении. Так все и забылось.

Еще в прошлом столетии упоминалось о связи «Ада» с каракозовским процессом, но писать об этом, конечно, было нельзя. Только в очень дружеских беседах старые писатели Н. Н. Златовратский, Н. В. Успенский, А. М. Дмитриев, Ф. Д. Нефедов и Петр Кичеев вспоминали «Ад» и «Чебыши», да знали подробности некоторые из старых сотрудников «Русских ведомостей», среди которых был один из главных участников «Адской группы»,

бывавший на заседаниях смертников в «Аду» и «Чебышах». Это Н. Ф. Николаев, осужденный по каракозовскому процессу в первой группе на двенадцать лет каторжных работ.

Уже в конце восьмидесятых годов он появился в Москве и сделался постоянным сотрудником «Русских ведомостей» как переводчик, кроме того, писал в «Русской мысли». В Москве ему жить было рискованно, и он ютился по маленьким ближайшим городкам, но часто наезжал в Москву, останавливаясь у друзей. В редакции, кроме самых близких людей, мало кто знал его прошлое, но с друзьями он делился своими воспоминаниями.

Этому последнему каракозовцу немного не удалось дожить до каракозовской выставки в Музее Революции в 1926 году.

Первая половина шестидесятых годов была началом буйного расцвета Москвы, в которую устремились из глухих углов помещики проживать выкупные платежи после «освободительной» реформы. Владельцы магазинов «роскоши и моды» и лучшие трактиры обогащались; но последние все-таки не удовлетворяли изысканных вкусов господ, побывавших уже за границей, — живых стерлядей и парной икры им было мало. Знатные вельможи задавали пиры в своих особняках, выписывая для обедов страсбургские паштеты, устриц, лангустов, омаров и вина из-за границы за бешеные деньги.

Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им «салатом Оливье», без которого обед не в обед и тайну которого не открывал. Как ни старались гурманы, не выходило: то, да не то.

На Трубе у бутаря часто встречались два любителя его бергамотного табаку — Оливье и один из братьев Пеговых, ежедневно ходивший из своего богатого дома в Гнездниковском переулке за своим любимым бергамотным, и покупал он его всегда на копейку, чтобы свеженький был. Там-то они и сговорились с Оливье, и Пегов купил у Попова весь его громадный пустырь почти в полторы десятины. На месте будок и «Афонькина кабака» вырос на земле Пегова «Эрмитаж Оливье», а непроездная площадь и улицы были замощены.

Там, где в болоте по ночам раздавалось кваканье лягушек и неслись вопли ограбленных завсегдатаями трактира, засверкали огнями окна дворца обжорства, перед которым стояли день и ночь дорогие дворянские запряжки, иногда еще с выездными лакеями в ливреях.

Все на французский манер в угоду требовательным клиентам сделал Оливье — только одно русское оставил: в ресторане не было фрачных лакеев, а служили московские половые, сверкавшие рубашками голландского полотна и шелковыми поясами.

И сразу успех неслыханный. Дворянство так и хлынуло в новый французский ресторан, где, кроме общих зал и кабинетов, был белый колонный зал, в котором можно было заказывать такие же обеды, какие делал Оливье в особняках у вельмож. На, эти обеды также выписывались деликатесы из-за границы и лучшие вина с удостоверением, что этот коньяк из подвалов дворца Людовика XVI, и с надписью «Трианон».

Набросились на лакомство не знавшие куда девать деньги избалованные баре…

Три француза вели все дело. Общий надзор — Оливье. К избранным гостям — Мариус и в кухне парижская знаменитость — повар Дюге.

Это был первый, барский период «Эрмитажа».

Так было до начала девяностых годов. Тогда еще столбовое барство чуралось выскочек из чиновного и купеческого мира. Те пировали в отдельных кабинетах.

Затем стало сходить на нет проевшееся барство. Первыми появились в большой зале московские иностранцы-коммерсанты — Кнопы, Вогау, Гопперы, Марки. Они являлись прямо с биржи, чопорные и строгие, и занимали каждая компания свой стол.

А там поперло за ними и русское купечество, только что сменившее родительские сибирки и сапоги бураками на щегольские смокинги, и перемешалось в залах «Эрмитажа» с представителями иностранных фирм.

Оливье не стало. Мариус, который благоговел перед сиятельными гурманами, служил и купцам, но разговаривал с ними развязно и даже покровительственно, а повар Дюге уже не придумывал для купцов новых блюд и, наконец, уехал на родину.

Дело шло и так блестяще.

На площади перед «Эрмитажем» барские запряжки сменились лихачами в неудобных санках, запряженных тысячными, призовыми рысаками. Лихачи стояли также и на Страстной площади и у гостиниц «Дрезден», «Славянский базар», «Большая Московская» и «Прага».

Но лучшие были у «Эрмитажа», платившие городу за право стоять на бирже до пятисот рублей в год. На других биржах — по четыреста.

Сытые, в своих нелепых воланах дорогого сукна, подпоясанные шитыми шелковыми поясами, лихачи смотрят гордо на проходящую публику и разговаривают только с выходящими из подъезда ресторана «сиятельными особами».

— Вась-сиясь!..

— Вась-сиясь!..

Чтобы москвичу получить этот княжеский титул, надо только подойти к лихачу, гордо сесть в пролетку на дутых шинах и грозно крикнуть:

— К «Яру»!

И сейчас же москвич обращается в «вась-сиясь».

Воланы явились в те давно забытые времена, когда сердитый барин бил кулаком и пинал ногами в спину своего крепостного кучера.

Тогда волан, до уродства набитый ватой, спасал кучера от увечья и уцелел теперь, как и забытое слово «барин» у извозчиков без волана и «вась-сиясь» у лихачей…

Каждому приятно быть «вась-сиясем»!

Особенно много их появилось в Москве после японской войны. Это были поставщики на армию и их благодетели — интенданты. Их постепенный рост наблюдали приказчики магазина Елисеева, а в «Эрмитаж» они явились уже «вась-сиясями».

Был такой перед японской войной толстый штабс-капитан, произведенный лихачами от Страстного сперва в полковника, а потом лихачами от «Эрмитажа» в «вась-сиясь», хотя на погонах имелись все те же штабс-капитанские четыре звездочки и одна полоска. А до этого штабс-капитан ходил только пешком или таскался с ипподрома за пятак на конке. Потом он попал в какую-то комиссию и стал освобождать богатых людей от дальних путешествий на войну, а то и совсем от солдатской шинели, а его писарь, полуграмотный солдат, снимал дачу под Москвой для своей любовницы.

— Вась-сиясь! С Иваном! Вась-сиясь, с Федором! — встречали его лихачи у подъезда «Эрмитажа».

Худенькие офицерики в немодных шинельках бегали на скачки и бега, играли в складчину, понтировали пешедралом с ипподромов, проиграв последнюю красненькую, торговались в Охотном при покупке фруктов, колбасы, и вдруг… Японская война!

Ожили!

Стали сперва заходить к Елисееву, покупать вареную колбасу, яблоки… Потом икру… Мармелад и портвейн № 137. В магазине Елисеева наблюдательные приказчики примечали, как полнели, добрели и росли их интендантские покупатели.

На извозчиках подъезжать стали. Потом на лихачах, а потом в своих экипажах…

— Э… Э… А?.. Пришлите по этой записке мне… и добавьте, что найдете нужным… И счет. Знаете?.. — гудел начальственно «низким басом и запускал в небеса ананасом»…

А потом ехал в «Эрмитаж», где уже сделался завсегдатаем вместе с десятками таких же, как он, «вась-сиясей», и мундирных и штатских.

Но многих из них «Эрмитаж» и лихачи «на ноги поставили»!

«Природное» барство проелось в «Эрмитаже», и выскочкам такую марку удержать было трудно, да и доходы с войной прекратились, а барские замашки остались. Чтоб прокатиться на лихаче от «Эрмитажа» до «Яра» да там, после эрмитажных деликатесов, поужинать с цыганками, венгерками и хористками Анны Захаровны — ежели кто по рубашечной части, — надо тысячи три солдат полураздеть: нитки гнилые, бухарка, рубаха-недомерок…

А ежели кто по шапочной части — тысячи две папах на вершок поменьше да на старой пакле вместо ватной подкладки надо построить.

А ежели кто по сапожной, так за одну поездку на лихаче десятки солдат в походе ноги потрут да ревматизм навечно приобретут.

И ходили солдаты полураздетые, в протухлых, плешивых полушубках, в то время как интендантские «вась-сияси» «на шепоте дутом» с крашеными дульцинеями по «Ярам» ездили… За счет полушубков ротонды собольи покупали им и котиковые манто.

И кушали господа интендантские «вась-сияси» деликатесы заграничные, а в армию шла мука с червями.

Прошло время!..

Мундирные «вась-сияси» начали линять. Из титулованных «вась-сиясей» штабс-капитана разжаловали в просто барина… А там уж не то что лихачи, а и «желтоглазые» извозчики, даже извозчики-зимники на своих клячах за барина считать перестали — «Эрмитаж» его да и многих его собутыльников «поставил на ноги»…

Лихачи знали всю подноготную всякого завсегдатая «Эрмитажа» и не верили в прочность… «вась-сиясей», а предпочитали купцов в загуле и в знак полного к ним уважения каждого именовали по имени-отчеству.

«Эрмитаж» перешел во владение торгового товарищества. Оливье и Мариуса заменили новые директора: мебельщик Поликарпов, рыбник Мочалов, буфетчик Дмитриев, купец Юдин. Народ со смекалкой, как раз по новой публике.

Первым делом они перестроили «Эрмитаж» еще роскошнее, отделали в том же здании шикарные номерные бани и выстроили новый дом под номера свиданий. «Эрмитаж» увеличился стеклянной галереей и летним садом с отдельным входом, с роскошными отдельными кабинетами, эстрадами и благоуханным цветником…

«Эрмитаж» стал давать огромные барыши — пьянство и разгул пошли вовсю. Московские «именитые» купцы и богатеи посерее шли прямо в кабинеты, где сразу распоясывались… Зернистая икра подавалась в серебряных ведрах, аршинных стерлядей на уху приносили прямо в кабинеты, где их и закалывали… И все-таки спаржу с ножа ели и ножом резали артишоки. Из кабинетов особенно славился красный, в котором московские прожигатели жизни ученую свинью у клоуна Таити съели…

Особенно же славились ужины, на которые съезжалась кутящая Москва после спектаклей. Залы наполняли фраки, смокинги, мундиры и дамы в открытых платьях, сверкавших бриллиантами. Оркестр гремел на хорах, шампанское рекой… Кабинеты переполнены. Номера свиданий торговали вовсю! От пяти до двадцати пяти рублей за несколько часов. Кого-кого там не перебывало! И все держалось в секрете; полиция не мешалась в это дело — еще на начальство там наткнешься!

Роскошен белый колонный зал «Эрмитажа». Здесь привились юбилеи. В 1899 году, в Пушкинские дни, там был Пушкинский обед, где присутствовали все знаменитые писатели того времени.

А обыкновенно справлялись здесь богатейшие купеческие свадьбы на сотни персон.

И ели «чумазые» руками с саксонских сервизов все: и выписанных из Франции руанских уток, из Швейцарии красных куропаток и рыбу-соль из Средиземного моря…

Яблоки кальвиль, каждое с гербом, по пять рублей штука при покупке… И прятали замоскворецкие гости по задним карманам долгополых сюртуков дюшесы и кальвиль, чтобы отвезти их в Таганку, в свои старомодные дома, где пахло деревянным маслом и кислой капустой…

Особенно часто снимали белый зал для банкетов московские иностранцы, чествовавшие своих знатных приезжих земляков…

Здесь же иностранцы встречали Новый год и правили немецкую масленицу; на всех торжествах в этом зале играл лучший московский оркестр Рябова.

В 1917 году «Эрмитаж» закрылся. Собирались в кабинетах какие-то кружки, но и кабинеты опустели…

«Эрмитаж» был мрачен, кругом ни души: мимо ходить боятся.

Опять толпы около «Эрмитажа»… Огромные очереди у входов. Десятки ручных тележек ожидают заказчиков, счастливцев, получивших пакет от «АРА», занявшего все залы, кабинеты и службы «Эрмитажа».

Наполз нэп. Опять засверкал «Эрмитаж» ночными огнями. Затолпились вокруг оборванные извозчики вперемежку с оборванными лихачами, но все еще на дутых шинах. Начали подъезжать и отъезжать пьяные автомобили. Бывший распорядитель «Эрмитажа» ухитрился мишурно повторить прошлое модного ресторана. Опять появились на карточках названия: котлеты Помпадур, Мари Луиз, Валларуа, салат Оливье… Но неугрызимые котлеты — на касторовом масле, и салат Оливье был из огрызков… Впрочем, вполне к лицу посетителям-нэпманам.

В швейцарской — котиковое манто, бобровые воротники, собольи шубы…

В большом зале — те же люстры, белые скатерти, блестит посуда…

На стене, против буфета, еще уцелела надпись М. П. Садовского. Здесь он завтракал, высмеивая прожигателей жизни, и наблюдал типы. Вместо белорубашечных половых подавали кушанья служащие в засаленных пиджаках и прибегали на зов, сверкая оборками брюк, как кружевом. Публика косо поглядывала на посетителей, на которых кожаные куртки.

Вот за шампанским кончает обед шумная компания… Вскакивает, жестикулирует, убеждает кого-то франт в смокинге, с брюшком. Набеленная, с накрашенными губами дама курит папиросу и пускает дым в лицо и подливает вино в стакан человеку во френче. Ему, видимо, неловко в этой компании, но он в центре внимания. К нему относятся убеждающие жесты жирного франта. С другой стороны около него трется юркий человек и показывает какие-то бумаги. Обхаживаемый отводит рукой и не глядит, а тот все лезет, лезет…

Прямо-таки сцена из пьесы «Воздушный пирог», что с успехом шла в Театре революции. Все — как живые!.. Так же жестикулирует Семен Рак, так же нахальничает подкрашенная танцовщица Рита Керн… Около чувствующего себя неловко директора банка Ильи Коромыслова трется Мирон Зонт, просящий субсидию для своего журнала… А дальше секретари, секретарши, директора, коммерсанты Обрыдловы и все те же Семены Раки, самодовольные, начинающие жиреть…

И на других столах то же.

Через год в зданиях «Эрмитажа» был торжественно открыт Моссоветом Дом крестьянина.

Чрево Москвы

Охотный ряд — Чрево Москвы.

В прежние годы Охотный ряд был застроен с одной стороны старинными домами, а с другой — длинным одноэтажным зданием под одной крышей, несмотря на то, что оно принадлежало десяткам владельцев. Из всех этих зданий только два дома были жилыми: дом, где гостиница «Континенталь», да стоящий рядом с ним трактир Егорова, знаменитый своими блинами. Остальное все лавки, вплоть до Тверской.

Трактир Егорова когда-то принадлежал Воронину, и на вывеске была изображена ворона, держащая в клюве блин. Все лавки Охотного ряда были мясные, рыбные, а под ними зеленные подвалы. Задние двери лавок выходили на огромный двор — Монетный, как его называли издревле. На нем были тоже одноэтажные мясные, живорыбные и яичные лавки, а посредине — двухэтажный «Монетный» трактир. В задней части двора — ряд сараюшек с погребами и кладовыми, кишевшими полчищами крыс.

Охотный ряд получил свое название еще в те времена, когда здесь разрешено было торговать дичью, приносимой подмосковными охотниками.

Впереди лавок, на площади, вдоль широкого тротуара, стояли переносные палатки и толпились торговцы с корзинами и мешками, наполненными всевозможными продуктами.

Ходили охотники, обвешанные утками, тетерками, зайцами. У баб из корзин торчали головы кур и цыплят, в мешках визжали поросята, которых продавцы, вынимая из мешка, чтобы показать покупателю, непременно поднимали над головой, держа за связанные задние ноги. На мостовой перед палатками сновали пирожники, блинники, торговцы гречневиками, жаренными на постном масле. Сбитенщики разливали, по копейке за стакан, горячий сбитень — любимый тогда медовый напиток, согревавший извозчиков и служащих, замерзавших в холодных лавках. Летом сбитенщиков сменяли торговцы квасами, и самый любимый из них был грушевый, из вареных груш, которые в моченом виде лежали для продажи пирамидами на лотках, а квас черпали из ведра кружками.

Мясные и рыбные лавки состояли из двух отделений. В первом лежало на полках мясо разных сортов — дичь, куры, гуси, индейки, паленые поросята для жаркого и в ледяных ваннах — белые поросята для заливного. На крючьях по стенам были развешаны туши барашков и поенных молоком телят, а весь потолок занят окороками всевозможных размеров и приготовлений — копченых, вареных, провесных. Во втором отделении, темном, освещенном только дверью во двор, висели десятки мясных туш. Под всеми лавками — подвалы. Охотный ряд бывал особенно оживленным перед большими праздниками. К лавкам подъезжали на тысячных рысаках расфранченные купчихи, и за ними служащие выносили из лавок корзины и кульки с товаром и сваливали их в сани. И торчит, бывало, из рогожного кулька рядом с собольей шубой миллионерши окорок, а поперек медвежьей полости лежит пудовый мороженый осетр во всей своей красоте.

Из подвалов пахло тухлятиной, а товар лежал на полках первосортный. В рыбных — лучшая рыба, а в мясных — куры, гуси, индейки, поросята.

Около прилавка хлопочут, расхваливают товар и бесперебойно врут приказчики в засаленных долгополых поддевках и заскорузлых фартуках. На поясе у них — Целый ассортимент ножей, которые чистятся только на ночь. Чистота была здесь не в моде.

Главными покупателями были повара лучших трактиров и ресторанов, а затем повара барские и купеческие, хозяйки-купчихи и кухарки. Все это толклось, торговалось, спорило из-за копейки, а охотнорядец рассыпался перед покупателем, памятуя свой единственный лозунг: «не обманешь — не продашь».

Беднота покупала в палатках и с лотков у разносчиков последние сорта мяса: ребра, подбедерок, покромку, требуху и дешевую баранину-ордынку. Товар лучших лавок им не по карману, он для тех, о которых еще Гоголь сказал: «Для тех, которые почище».

Но и тех и других продавцы в лавках и продавцы на улицах одинаково обвешивают и обсчитывают, не отличая бедного от богатого, — это был старый обычай охотнорядских торговцев, неопровержимо уверенных — «не обманешь — не продашь».

Охотный ряд восьмидесятых годов самым наглядным образом представляет протокол санитарного осмотра этого времени.

Осмотр начался с мясных лавок и Монетного двора.

«О лавках можно сказать, что они только по наружному виду кажутся еще сносными, а помещения, закрытые от глаз покупателя, ужасны. Все так называемые «палатки» обращены в курятники, в которых содержится и режется живая птица. Начиная с лестниц, ведущих в палатки, полы и клетки содержатся крайне небрежно, помет не вывозится, всюду запекшаяся кровь, которою пропитаны стены лавок, не окрашенных, как бы следовало по санитарным условиям, масляною краскою; по углам на полу всюду набросан сор, перья, рогожа, мочала… колоды для рубки мяса избиты и содержатся неопрятно, туши вешаются на ржавые железные невылуженные крючья, служащие при лавках одеты в засаленное платье и грязные передники, а ножи в неопрятном виде лежат в привешанных к поясу мясников грязных, окровавленных ножнах, которые, по-видимому, никогда не чистятся… В сараях при некоторых лавках стоят чаны, в которых вымачиваются снятые с убитых животных кожи, издающие невыносимый смрад».

Осмотрев лавки, комиссия отправилась на Монетный двор. Посредине его — сорная яма, заваленная грудой животных и растительных гниющих отбросов, и несколько

деревянных срубов, служащих вместо помойных ям и предназначенных для выливания помоев и отбросов со всего Охотного ряда. В них густой массой, почти в уровень с поверхностью земли, стоят зловонные нечистоты, между которыми виднеются плавающие внутренности и кровь. Все эти нечистоты проведены без разрешения управы в городскую трубу и без фильтра стекают по ней в Москву-реку.

Нечистоты заднего двора «выше всякого описания». Почти половину его занимает официально бойня мелкого скота, помещающаяся в большом двухэтажном каменном сарае. Внутренность бойни отвратительна. Запекшаяся кровь толстым слоем покрывает асфальтовый пол и пропитала некрашеные стены. «Все помещение довольно обширной бойни, в которой убивается и мелкий скот для всего Охотного ряда, издает невыносимое для свежего человека зловоние. Сарай этот имеет маленькое отделение, еще более зловонное, в котором живет сторож заведующего очисткой бойни Мокеева. Площадь этого двора покрыта толстым слоем находящейся между камнями запекшейся крови и обрывков внутренностей, подле стен лежит дымящийся навоз, кишки и другие гниющие отбросы. Двор окружен погребами и запертыми сараями, помещающимися в полуразвалившихся постройках».

«Между прочим, после долгих требований ключа был отперт сарай, принадлежащий мяснику Ивану Кузьмину Леонову. Из сарая этого по двору сочилась кровавая жидкость от сложенных в нем нескольких сот гнилых шкур. Следующий сарай для уборки битого скота, принадлежащий братьям Андреевым, оказался чуть ли не хуже первого. Солонина вся в червях и т. п. Когда отворили дверь — стаи крыс выскакивали из ящиков с мясной тухлятиной, грузно шлепались и исчезали в подполье!.. И так везде… везде».

Протокол этого осмотра исторический. Он был прочитан в заседании городской думы и вызвал оживленные прения, которые, как и всегда, окончились бы ничем, если бы не гласный Жадаев.

Полуграмотный кустарь-ящичник, маленький, вихрастый, в неизменной поддевке и смазных сапогах, когда уже кончились прения, попросил слова; и его звонкий резкий тенор сменил повествование врача Попандополо, рисовавшего ужасы Охотного ряда. Миазмы, бациллы, бактерии, антисанитария, аммиак… украшали речь врача.

— Вер-рно! Верно, что говорит Василий Константиныч! Так как мы поставляем ящики в Охотный, так уж нагляделись… И какие там миазмы и сколько их… Заглянешь в бочку — так они кишмя кишат… Так и ползают

по солонине… А уж насчет бахтериев — так и шмыгают под ногами, рыжие, хвостатые… так и шмыгают, того и гляди наступишь.

Гомерический хохот. Жадаев сверкнул глазами, и голос его покрыл шум.

— Чего ржете! Что я, вру, что ли? Во-о какие, хвостатые да рыжие! Во-о какие! Под ногами шмыгают… — и Он развел руками на пол-аршина.

Речь Жадаева попала в газеты, насмешила Москву, и тут принялись за очистку Охотного ряда. Первым делом было приказано иметь во всех лавках кошек. Но кошки и так были в большинстве лавок. Это был род спорта — у кого кот толще. Сытые, огромные коты сидели на прилавках, но крысы обращали на них мало внимания. В надворные сараи котов на ночь не пускали после того, как одного из них в сарае ночью крысы сожрали.

Так с крысами ничего поделать и не могли, пока один из охотнорядцев, Грачев, не нашел, наконец, способ избавиться от этих хищников. И вышло это только благодаря Жадаеву.

Редактор журнала «Природа и охота» Л. П. Сабанеев, прочитав заметку о Жадаеве, встретился с Грачевым, посмеялся над «хвостатыми бахтериями» и подарил Грачеву щенка фокса-крысолова. Назвал его Грачев Мальчиком и поселил в лавке. Кормят его мясом досыта. Соседи Грачева ходят и посмеиваются. Крысы бегают стаями. Мальчик подрос, окреп. В одно утро отпирают лавку и находят двух задушенных крыс. Мальчик стоит около них, обрубком хвоста виляет… На другой день — тройка крыс… А там пяток, а там уж ни одной крысы в лавке не стало — всех передушил…

Так же Мальчик и амбар грачевский очистил… Стали к Грачеву обращаться соседи —

и Мальчик начал отправляться на гастроли, выводить крыс в лавках. Вслед за Грачевым завели фокстерьеров и другие торговцы, чтобы охранять первосортные съестные припасы, которых особенно много скоплялось перед большими праздниками, когда богатая Москва швырялась деньгами на праздничные подарки и обжорство.

После революции лавки Охотного ряда были снесены начисто, и вместо них поднялось одиннадцатиэтажное здание гостиницы «Москва»; только и осталось от Охотного ряда что два древних дома на другой стороне площади. Сотни лет стояли эти два дома, покрытые грязью и мерзостью, пока комиссия по «Старой Москве» не обратила на них внимание, а Музейный отдел Главнауки не приступил к их реставрации.

Разломали все хлевушки и сарайчики, очистили от грязи дом, построенный Голицыным, где прежде резали кур и был склад всякой завали, и выявились на стенах, после отбитой штукатурки, пояски, карнизы и прочие украшения, художественно высеченные из кирпича, а когда выбросили из подвала зловонные бочки с сельдями и уничтожили заведение, где эти сельди коптились, то под полом оказались еще беломраморные покои. Никто из москвичей и не подозревал, что эта «коптильня» в беломраморных палатах.

Василий Голицын, фаворит царевны Софьи, образованнейший человек своего века, выстроил эти палаты в 1686 году и принимал в них знатных иностранцев, считавших своим долгом посетить это, как писали за границей, «восьмое чудо» света.

Рядом с палатами Голицына такое же обширное место принадлежало заклятому врагу Голицына — боярину Троекурову, начальнику стрелецкого приказа. «За беду боярину сталося, за великую досаду показалося», что у «Васьки Голицына» такие палаты!

А в это время Петр I как раз поручил своему любимцу Троекурову наблюдать за постройкой Сухаревой башни.

И вместе с башней Троекуров начал строить свой дом, рядом с домом Голицына, чтобы «утереть ему нос», а материал, кстати, был под рукой — от Сухаревой башни. Проведал об этом Петр, назвал Троекурова казнокрадом, а все-таки в 1691 году рядом с домом Голицына появились палаты, тоже в два этажа. Потом Троекуров прибавил еще третий этаж со сводами в две с половиной сажени, чего не было ни до него, ни после.

Когда Василия Голицына, по проискам врагов, в числе которых был Троекуров, сослали и секвестровали его имущество, Петр I подарил его дом грузинскому царевичу, потомки которого уже не жили в доме, а сдавали его внаем под торговые здания. В 1871 году дом был продан какому-то купцу. Дворец превратился в трущобу.

То же самое произошло и с домом Троекурова. Род Троекуровых вымер в первой половине XVIII века, и дом перешел к дворянам Соковниным, потом к Салтыковым, затем к Юрьевым и, наконец, в 1817 году был куплен «Московским мещанским обществом», которое поступило с ним чисто по-мещански: сдало его под гостиницу «Лондон», которая вскоре превратилась в грязнейший извозчичий трактир, до самой революции служивший притоном шулеров, налетчиков, барышников и всякого уголовного люда.

Одновременно с этими двумя домами, тоже из зависти, чтобы «утереть нос» Ваське Голицыну и казнокраду Троекурову, князь Гагарин выстроил на Тверской свой дом. Это был казнокрад похуже, пожалуй, Троекурова, как поется о нем в песне:

Ах ты, сукин сын Гагарин, Ты собака, а не барин… Заедаешь харчевые, Наше жалованье, И на эти наши деньги Ты большой построил дом Среди улицы Тверской За Неглинной за рекой. Со стеклянным потолком, С москворецкою водой, По фонтану ведена, Жива рыба пущена…

Неизвестно, утер ли нос Голицыну и Троекурову своим домом Матвей Гагарин, но известно, что Петр I отрубил ему голову.

Реставрированные дома Голицына и Троекурова — это последняя память об Охотном ряде… И единственная, если не считать «Петра Кириллова».

Об этом продукте Охотного ряда слышится иногда при недобросовестном отпуске товара:

— Ты мне Петра Кирилыча не заправляй!

Петр Кириллов, благодаря которому были введены в трактирах для расчета марки, был действительное лицо, увековечившее себя не только в Москве, ко и в провинции. Даже в далекой Сибири между торговыми людьми нередко шел такой разговор:

— Опять ты мне Петра Кирилыча заправил!

Петр Кирилыч родился в сороковых годах в деревне бывшего Углицкого уезда. Десятилетним мальчиком был привезен в Москву и определен в трактир Егорова половым.

Наглядевшись на охотнорядских торговцев, практиковавших обмер, обвес и обман, он ловко применил их методы торгового дела к своей профессии.

Кушанья тогда заказывали на слово, деньги, полученные от гостя, половые несли прямо в буфет, никуда не заходя, платили, получали сдачу и на тарелке несли ее, тоже не останавливаясь, к гостю. Если последний давал на чай, то чайные деньги сдавали в буфет на учет и делили после. Кажется, ничего украсть нельзя, а Петр Кирилыч ухитрялся. Он как-то прятал деньги в рукава, засовывал их в диван, куда садился знакомый подрядчик, который брал и уносил эти деньги, вел им счет и после, на дому, рассчитывался с Петром Кирилычем. И многие знали, а поймать не могли. Уж очень ловок был. Даст, бывало, гость ему сто рублей разменять. Вмиг разменяет, сочтет на глазах гостя, тот положит в карман, и делу конец. А другой гость начнет пересчитывать:

— Чего ты принес? Тут пятишки нет, всего девяносто пять…

Удивится Петр Кириллов. Сам перечтет, положит деньги на стол, поставит сверху на них солонку или тарелку.

— Верно, не хватает пятишки! Сейчас сбегаю, не обронил ли на буфете.

Через минуту возвращается сияющий и бросает пятерку.

— Ваша правда… На буфете забыл… Гость доволен, а Петр Кирилыч вдвое.

В то время, когда пересчитывал деньги, он успел стащить красненькую, а добавил только пятерку.

А если гость пьяненький, он получал с него так: выпил, положим, гость три рюмки водки и съел три пирожка. Значит, за три рюмки и три пирожка надо сдать в буфет 60 копеек.

Гость сидит, носом поклевывает:

— Сколько с меня?

— С вас-с… вот, извольте видеть, — загибает пальцы Петр Кирилыч, считая: — По рюмочке три рюмочки, по гривенничку три гривенничка — тридцать, три пирожка по гривенничку — тридцать, три рюмочки тридцать. Папиросок не изволили спрашивать? Два рубля тридцать.

— Сколько?

— Два рубля тридцать!

— Почему такое?

— Да как же-с? Водку кушали, пирожки кушали, папирос, сигар не спрашивали, — и загибает пальцы. — По рюмочке три рюмочки, по гривеннику, три гривенника — тридцать, три пирожка — тридцать. По гривеннику три гривенника, по рюмочке три рюмочки, да три пирожка — тридцать. Папиросочек-сигарочек не спрашивали — два рубля тридцать…

Бросит ничего не понявший гость трешницу. Иногда и сдачи не возьмет, ошалелый.

И все знали, что Петр Кирилыч обсчитывает, но никто не мог понять, как именно, а товарищи-половые радовались:

— Вот молодчина!

И учились, но не у всех выходило.

Когда в трактирах ввели расчет на «марки», Петр Кирилыч бросил работу и уехал на покой в свой богато обстроенный дом на Волге, где-то за Угличем. И сказывали земляки, что, когда он являлся за покупками в свой Углич и купцы по привычке приписывали в счетах, он сердился и говорил:

— А ты Петра Кирилыча хоть мне-то не заправляй! Да еще оставил после себя Петр Кирилыч на память

потомству особый способ резать расстегаи.

Трактир Егорова кроме блинов славился рыбными расстегаями. Это — круглый пирог во всю тарелку, с начинкой из рыбного фарша с вязигой, а середина открыта, и в ней, на ломтике осетрины, лежит кусок налимьей печенки. К расстегаю подавался соусник ухи бесплатно.

Ловкий Петр Кирилыч первый придумал «художественно» разрезать такой пирог. В одной руке вилка, в другой ножик; несколько взмахов руки, и в один миг расстегай обращался в десятки тоненьких ломтиков, разбегавшихся от центрального куска печенки к толстым румяным краям пирога, сохранившего свою форму. Пошла эта мода по всей Москве, но мало кто умел так «художественно» резать расстегаи, как Петр Кирилыч, разве только у Тестова — Кузьма да Иван Семеныч. Это были художники!

Трактир Егорова — старозаветный, единственный в своем роде. Содержатель, старообрядец, запретил в нем курить табак:

— Чтобы нечистым зельем не пахло.

Нижний зал трактира «Низок» — с огромной печью. Здесь посетителям, прямо с шестка, подавались блины, которые у всех на виду беспрерывно пеклись с утра до вечера. Толстые, румяные, с разными начинками — «егоровские блины».

В этом зале гости сидели в шубах и наскоро ели блины, холодную белужину или осетрину с хреном и красным уксусом.

В зале второго этажа для «чистой» публики, с расписными стенами, с бассейном для стерлядей, объедались селянками и разными рыбными блюдами богачи — любители русского стола, — блины в счет не шли.

Против ворот [12] Охотного ряда, от Тверской, тянется узкий Лоскутный переулок, переходящий в Обжорный, который кривулил к Манежу и к Моховой; нижние этажи облезлых домов в нем были заняты главным образом «пырками». Так назывались харчевни, где подавались: за три копейки — чашка щей из серой капусты, без мяса; за пятак — лапша зелено-серая от «подонья» из-под льняного или конопляного масла, жареная или тушеная картошка.

Обжорный ряд с рассвета до полуночи был полон рабочего народа: кто впроголодь обедал в «пырках», а кто наскоро, прямо на улице, у торговок из глиняных корчаг — осердьем и тухлой колбасой.

В обжорке съедались все те продукты, какие нельзя было продать в лавках и даже в палатках Охотного. Товар для бедноты — слегка протухший, «крысами траченый».

Перед праздниками Охотный ряд возил московским Сквозник-Дмухановским возами съестные взятки, давали и «сухими» в конверте.

В обжорке брали «сухими» только квартальные, постовые же будочники довольствовались «натурой» — на закуску к водке.

— Ну, кума, режь-ка пополам горло! Да легкого малость зацепи…

Во время японской войны большинство трактиров стало называться ресторанами, и даже исконный тестовский трактир переменил вывеску:

«Ресторан Тестова».

От трактира Тестова осталась только в двух-трех залах старинная мебель, а все остальное и не узнаешь! Даже стены другие стали.

Старые москвичи-гурманы перестали ходить к Тестову. Приезжие купцы, не бывавшие несколько лет в Москве, не узнавали трактира. Первым делом — декадентская картина на зеркальном окне вестибюля… В большом зале — модернистская мебель, на которую десятипудовому купчине и сесть боязно.

Приезжие идут во второй зал, низенький, с широкими дубовыми креслами. Занимают любимый стол, к которому привыкли, располагаясь на разлатых диванах…

— Вот здесь по-тестовски, как прежде бывало!

---

[12] Въезд во двор со стороны Тверской, против Обжорного переулка

Двое половых вырастают перед столом. Те же белые рубашки, зелененькие пояски, но за поясами не торчат обычные бумажники для денег и марок.

— А где твои присяги? Где марошник-лопатошник?

— На марки расчета не ведем, у нас теперь талоны…

— А где Кузьма? Где Иван Семеныч?.. Половой смутился: видит, гости почетные.

— На покое-с, в провинцию за старостью лет уехали… в деревню.

— А ты-то углицкий?

— Нет, мы подмосковные… Теперь ярославских мало у нас осталось…

— Что же ты как пень стоишь? Что же ты гостей не угощаешь? Вот, бывало, Кузьма Егорыч…

— Не наше дело-с, теперь у нас мирдотель на это… Подошел метрдотель, в смокинге и белом галстуке,

подал карточку и наизусть забарабанил:

— Филе из куропатки… Шоффруа, соус провансаль… Беф бруи… Филе портюгез… Пудинг дипломат… — И совершенно неожиданно: — Шашлык по-кавказски из английской баранины.

И еще подал карточку с перечислением кавказских блюд, с подписью: шашлычник Георгий Сулханов, племянник князя Аргутинского-Долгорукова…

Выслушали всё и прочитали карточку гости.

— А ведь какой трактир-то был знаменитый, — вздохнул седой огромный старик.

— Ресторан теперь, а не трактир! — важно заявил метрдотель.

— То-то, мол, говорим, ресторан! А ехали мы сюда поесть знаменитого тестовского поросенка, похлебать щец с головизной, пощеботить икорки ачуевской да расстегайчика пожевать, а тут вот… Эф бруи… Яйца-то нам и в степи надоели!

В большом, полном народа зале загудела музыка.

— А где же ваша машина знаменитая? Где она? «Лучинушку» играла… Оперы…

— Вот там; да ее не заводим: многие гости обижаются на машину — старье, говорят! У нас теперь румынский оркестр… — И, сказав это, метрдотель повернулся, заторопился к другому столу.

Подали расстегаи.

— Разве это расстегай? Это калоша, а не расстегай! Расстегай круглый. Ну-ка, как ты его разрежешь?

— Нынче гости сами режут. Старик сказал соседу:

— Трактирщика винить нельзя: его дело торговое, значит, сама публика стала такая, что ей ни машина, ни селянка, ни расстегай не нужны. Ей подай румын, да разные супы из черепахи, да филе бурдалезы… Товарец по покупателю… У Егорова, бывало, курить не позволялось, а теперь копти потолок сколько хошь! Потому всё, что прежде в Москве народ был, а теперь — публика.

Лубянка

В девяностых годах прошлого столетия разбогатевшие страховые общества, у которых кассы ломились от денег, нашли выгодным обратить свои огромные капиталы в недвижимые собственности и стали скупать земли в Москве и строить на них доходные дома. И вот на Лубянской площади, между Большой и Малой Лубянкой, вырос огромный дом. Это дом страхового общества «Россия», выстроенный на владении Н. С. Мосолова.

В восьмидесятых годах Н. С. Мосолов, богатый помещик, академик, известный гравер и собиратель редких гравюр, занимал здесь отдельный корпус, в нижнем этаже которого помещалось варшавское страховое общество; в другом крыле этого корпуса, примыкавшего к квартире Мосолова, помещалась фотография Мебиуса. Мосолов жил в своей огромной квартире один, имел прислугу из своих бывших крепостных. Полгода он обыкновенно проводил за границей, а другие полгода — в Москве, почти никого не принимая у себя.

Изредка он выезжал из дому по делам в дорогой старинной карете, на паре прекрасных лошадей, со своим бывшим крепостным кучером, имени которого никто не знал, а звали его все «Лапша».

Против дома Мосолова на Лубянской площади была биржа наемных карет. Когда Мосолов продал свой дом страховому обществу «Россия», то карету и лошадей подарил своему кучеру и «Лапша» встал на бирже. Прекрасная запряжка давала ему возможность хорошо зарабатывать: ездить с «Лапшой» считалось шиком.

Мосолов умер в 1914 году. Он пожертвовал в музей драгоценную коллекцию гравюр и офортов, как своей работы, так и иностранных художников. Его тургеневскую фигуру помнят старые москвичи, но редко кто удостаивался бывать у него. Целые дни он проводил в своем доме за работой, а иногда отдыхал с трубкой на длиннейшем черешневом чубуке у окна, выходившего во двор, где помещался в восьмидесятых годах гастрономический магазин Генералова.

При магазине была колбасная; чтобы иметь товар подешевле, хозяин заблаговременно большими партиями закупал кишки, и они гнили в бочках, распространяя ужасную вонь. По двору носилась злющая собака, овчарка Енотка, которая не выносила полицейских. Чуть увидит полицейского — бросается. И всякую собаку, забежавшую на двор, рвала в клочья.

В соседнем флигеле дома Мосолова помещался трактир Гусенкова, а во втором и третьем этажах — меблированные комнаты. Во втором этаже номеров было около двадцати, а в верхнем — немного меньше. В первый раз я побывал в них в 1881 году, у актера А. Д. Казакова.

— Тут все наши, тамбовские! — сказал он.

Мосолов, сам тамбовский помещик, сдал дом под номера какому-то земляку-предпринимателю, который умер в конце восьмидесятых годов, но и его преемник продолжал хранить традиции первого.

Номера все были месячные, занятые постоянными жильцами. Среди них, пока не вымерли, жили тамбовские помещики (Мосолов сам был из их числа), еще в семидесятых годах приехавшие в Москву доживать свой век на остатки выкупных, полученных за «освобожденных» крестьян.

Оригинальные меблирашки! Узенькие, вроде тоннеля, коридорчики, со специфическим «нумерным» запахом. Коридорные беспрерывно неслышными шагами бегали с плохо луженными и нечищеными самоварами в облаках пара, с угаром, в номера и обратно… В неслышной, благодаря требованию хозяина, мягкой обуви, в их своеобразной лакейской ловкости движений еще чувствовался пережиток типичных, растленных нравственно и физически, но по лакейской части весьма работоспособных, верных холопов прежней помещичьей дворни.

И действительно, в 1881 году еще оставались эти типы, вывезенные из тамбовских усадеб крепостные. В те года население меблирашек являлось не чем иным, как умирающей в городской обстановке помещичьей степной усадьбой. Через несколько лет они вымерли — сначала прислуга, бывшая крепостная, а потом и бывшие помещики. Дольше других держалась коннозаводчица тамбовская Языкова, умершая в этих номерах в глубокой старости, окруженная любимыми собачками и двумя верными барыне дворовыми «девками» — тоже старухами… Жил здесь отставной кавалерийский полковник, целые дни лежавший на диване с трубкой и рассылавший просительные письма своим старым друзьям, которые время от времени платили за его квартиру.

Некоторым жильцам, тоже старикам, тамбовским помещикам, прожившимся догола, помогал сам Мосолов.

Понемногу на место вымиравших помещиков номера заселялись новыми жильцами, и всегда на долгие годы. Здесь много лет жили писатель С. Н. Филиппов и доктор Добров, жили актеры-москвичи, словом, спокойные, небогатые люди, любившие уют и тишину.

Казаков жил у своего друга, тамбовского помещика Ознобишина, двоюродного брата Ильи Ознобишина, драматического писателя и прекрасного актера-любителя,

останавливавшегося в этом номере во время своих приездов в Москву на зимний сезон.

Номер состоял из трех высоких комнат с большими окнами, выходящими на площадь. На полу лежал огромный мягкий ковер персидского рисунка, какие в те времена ткали крепостные искусницы. Вся мебель — красного дерева с бронзой, такие же трюмо в стиле рококо; стол красного дерева, с двумя башнями по сторонам, с разными ящиками и ящичками, а перед ним вольтеровское кресло. В простенке между окнами — драгоценные, инкрустированные «були» и огромные английские часы с басовым боем… На стенах — наверху портреты предков, а под ними акварели из охотничьей жизни, фотографии, и все — в рамках красного дерева… На камине дорогие бронзовые канделябры со свечами, а между ними часы — смесь фарфора и бронзы.

В спальне — огромная, тоже красного дерева кровать и над ней ковер с охотничьим рогом, арапниками, кинжалами и портретами борзых собак. Напротив — турецкий диван; над ним масляный портрет какой-то очень красивой амазонки и опять фотографии и гравюры. Рядом с портретом Александра II в серой визитке, с собакой у ног — фотография Герцена и Огарева, а по другую сторону — принцесса Дагмара с собачкой на руках и Гарибальди в круглой шапочке.

Это все, что осталось от огромного барского имения и что украшало жизнь одинокого старого барина, когда-то прожигателя жизни, приехавшего в Москву доживать в этом номере свои последние годы.

Приходят в гости к Казакову актеры Киреев и Далма-тов и один из литераторов. Скучает в одиночестве старик. А потом вдруг:

— Знаете что? Видали ли вы когда-нибудь лакейский театр?

— Не понимаем.

— Ну, так увидите!

И позвонил. Вошел слуга, довольно обтрепанный, но чрезвычайно важный, с седыми баками и совершенно лысой головой. Высокий, осанистый, вида барственного.

— Самоварчик прикажете, Александр Дмитриевич?

— Да, пожалуй. Скучно очень…

— Время такое-с, все разъехамшись… Во всем коридоре одна только Языкова барыня… Кто в парк пошел, кто на бульваре сидит… Ко сну прибудут, а теперь еще солнце не село.

Стоит старик, положив руку на спинку кресла, и, видимо, рад поговорить.

— Никанор Маркелыч! А я к вам с просьбой… Вот это мои друзья — актеры… Представьте нам старого барина. Григорий-то здесь?

— У себя в каморке, восьмому нумеру папиросы набивает.

— Позовите его да представьте… мы по рублику вам соберем.

— Помилуйте, за что же-с… Я и так рад для вас.

— Со скуки умираем, развлеките нас…

— Сейчас за Гришей сбегаю.

Он взял большое кресло, отодвинул его в противоположный угол, к окну, сказал «сейчас» и исчез. Казаков на наши вопросы отвечал только одно:

— Увидите. А пока давайте по рублю.

Через несколько минут легкий стук в дверь, и вошел важный барин в ермолке с кисточкой, в турецком халате с красными шнурами. Не обращая на нас никакого внимания, он прошел, будто никого и в комнате нет, сел в кресло и стал барабанить пальцами по подлокотнику, а потом закрыл глаза, будто задремал: В маленькой прихожей кто-то кашлянул. Барин открыл глаза, зевнул широко и хлопнул в ладоши.

— Ванька, трубку!

И вмиг вбежал с трубкой на длиннейшем черешневом чубуке человек с проседью, в подстриженных баках, на одной ноге опорок, на другой — туфля. Подал барину трубку, а сам встал на колени, чиркнул о штаны спичку, зажег бумагу и приложил к трубке.

Барин раскурил и затянулся.

— А мерзавец Прошка где?
— На нем черти воду возят…
— А! — барин выпустил клуб дыма и задумался.
— Ванька малый! Принеси-ка полштоф водки алой!
— А где ее взять, барин?
— Ах ты, татарин! Возьми в поставе!
— Черт там про тебя ее поставил…
— А шампанское какое у нас есть?
— А которым ворота запирают!
— Что ты сказал? Плохо слышу!
— Что сказал — кобель языком слизал!
— Ванька малый, ты малый бывалый, нет ли для меня у тебя невесты на примете?
— Есть лучше всех на свете, красавица, полпуда навоза на ней таскается. Как поклонится — фунт отломится, как павой пройдет — два нарастет… Одна нога хромая, на один глаз косая, малость конопатая, да зато бо-ога-атая!
— Ну, это не беда, давай ее сюда… А приданое какое?
— Имение большое, не виден конец, а посередке дворец — два кола вбито, бороной покрыто, добра полны амбары, заморские товары, чего-чего нет, харчей запасы невпроед: сорок кадушек соленых лягушек, сорок амбаров сухих тараканов, рогатой скотины — петух да курица, а медной посуды — крест да пуговица. А рожь какая — от колоса до колоса не слыхать бабьего голоса!
— Ванька малый! А как из моей деревни пишут? Живут ли мои крепостные богато?
— Пишут, что чуть дышут, а живут страсть богато, гребут золото лопатой, а дерьмо языком, и ни рубах, ни порток ни на ком! Да вот еще вам бурмистр письмо привез…
— А где он, старый леший?
— Да уж на том свете смолу для господ кипятит! Слуга вынимает из опорка бумажку и подает барину.
— Ах ты, сукин сын! Почему подаешь барину письмо не на серебряном подносе?
— Да серебро-то у нас в забросе, подал бы на золотом блюде, да разбежались люди…
Барин вслух читает письмо:
«Батюшка барин сивый жеребец Михайло Петрович помер шкуру вашу барскую содрали продали на вырученные деньги куплен прочный хомут для вашей милости на ярмарке свиней породы вашей милости было довольно»,
— Ванька! Скот! Да это письмо старинное…
— Половину искурили — было длинное…
— Тогда был у меня на дворце герб, в золотом поле голубой щит…
— А теперь у вас, барин, в чистом поле вот что, — и, просунув большой палец между указательным и средним, слуга преподнес барину кукиш.
Обратился к нам:
— Представление окончено; кроме этого, у нас с барином ничего нет…
Гости зааплодировали, а восторженный Киреев вскочил и стал жать руки артистам.
Насилу мы уговорили их взять деньги…
Человек, игравший «Ваньку», рассказал, что это «представление» весьма старинное и еще во времена крепостного права служило развлечением крепостным, из-за него рисковавшим попасть под розги, а то и в солдаты.
То же подтвердил и старик Казаков, бывший крепостной актер, что он усиленно скрывал.
Рядом с домом Мосолова, на земле, принадлежавшей консистории, был простонародный трактир «Углич». Трактир извозчичий, хотя у него не было двора, где обыкновенно кормятся лошади, пока их владельцы пьют чай. Но в то время в Москве была «простота», которую вывел в половине девяностых годов обер-полицмейстер Власовский.
А до него Лубянская площадь заменяла собой и извозчичий двор: между домом

Мосолова и фонтаном — биржа извозчичьих карет, между фонтаном и домом Шилова — биржа ломовых, а вдоль всего тротуара от Мясницкой до Большой Лубянки — сплошная вереница легковых извозчиков, толкущихся около лошадей. В те времена не требовалось, чтобы извозчики обязательно сидели на козлах. Лошади стоят с надетыми торбами, разнузданные, и кормятся.

На мостовой вдоль линии тротуара — объедки сена и потоки нечистот.

Лошади кормятся без призора, стаи голубей и воробьев мечутся под ногами, а извозчики в трактире чай пьют. Извозчик, выйдя из трактира, черпает прямо из бассейна грязным ведром воду и поит лошадь, а вокруг бассейна — вереница водовозов с бочками.

Подъезжают по восемь бочек сразу, становятся вокруг бассейна и ведерными черпаками на длинных ручках черпают из бассейна воду и наливают бочки, и вся площадь гудит ругательствами с раннего утра до поздней ночи…

Рядом с «Угличем», на углу Мясницкой — «Мясницкие» меблированные комнаты, занимаемые проезжими купцами и комиссионерами с образцами товаров. Дом, где они помещаются, выстроен Малюшиным «а земле, арендуемой у консистории.

Консистория! Слово, теперь непонятное для большинства читателей.

Попал черт в невод и в испуге вскрикивал:

— Не в консистории ли я?!

Была такая поговорка, характеризовавшая это учреждение.

А представляло оно собой местное церковное управление из крупных духовных чинов — совет, и мелких чиновников, которыми верховодил секретарь — главная сила, которая влияла и на совет. Секретарь — это все. Чиновники получали грошовое жалованье и существовали исключительно взятками. Это делалось совершенно открыто. Сельские священники возили на квартиры чиновников взятки возами, в виде муки и живности, а московские платили наличными. Взятки давали дьяконы, дьячки, пономари и окончившие академию или семинарию студенты, которым давали места священников. Консистория владела большим куском земли по Мясницкой — от Фуркасовского переулка до Лубянской площади. Она помещалась в двухэтажном здании казарменного типа, и при ней был большой сад. Потом дом этот был сломан, выстроен новый, ныне существующий, № 5, но и в новом доме взятки брали по-старому. Сюда являлось на поклон духовенство, здесь судили провинившихся, здесь заканчивались бракоразводные дела, требовавшие огромных взяток и подкупных свидетелей, которые для уличения в неверности того или другого супруга, что было необходимо по старому закону при разводе, рассказывали суду, состоявшему из седых архиереев, все мельчайшие подробности физической измены, чему свидетелями будто бы они были. Суду было мало того доказательства, что изменившего супружеской верности застали в кровати; требовались еще такие подробности, которые никогда ни одно третье лицо не может видеть, но свидетели «видели» и с пафосом рассказывали, а судьи смаковали и «судили».

Выше консистории был Святейший синод. Он находился в Петербурге в здании под арками, равно как и Правительствующий сенат, тоже в здании под арками.

Отсюда ходила шутка:

— Слепейший синод и грабительствующий сенат живут подарками.

Между зданием консистории и «Мясницкими» номерами был стариннейший трехэтажный дом, где были квартиры чиновников. Это некогда был дом ужасов.

У меня сохранилась запись очевидца о посещении этой трущобы: «Мне пришлось, — пишет автор записи, — быть у одного из чиновников, жившего в этом доме. Квартира была в нижнем этаже старинного трехэтажного дома, в низеньких сводчатых комнатах. Впечатление жуткое, несмотря на вполне приличную семейную обстановку средней руки; даже пара канареек перекликалась в глубокой нише маленького окна. Своды и стены были толщины невероятной. Из потолка и стен в столовой торчали какие-то толстые железные ржавые крючья и огромные железные кольца. Сидя за чаем, я с удивлением оглядывался и на своды и на крючья, и на кольца.

— Что это за странное здание? — спросил я у чиновника.

— Довольно любопытное. Вот, например, мы сидим в той самой комнате, где сто лет назад сидел Степан Иванович Шешковский, начальник тайной экспедиции, и производил здесь пытки арестованных. Вот эти крючья над нами — дыбы, куда подвешивали пытаемых. А вот этот шкафчик, — мой собеседник указал на глубокую нишу, на деревянных новых полочках которой стояли бутылки с наливками и разная посуда, — этот шкафчик не больше не меньше, как каменный мешок. Железная дверь с него снята и заменена деревянной уже нами, и теперь, как видите, в нем мирно стоит домашняя наливка, которую мы сейчас и попробуем. А во времена Шешковского сюда помещали стоймя преступников; видите, только аршин в глубину, полтора в ширину и два с небольшим аршина в вышину. А под нами, да и под архивом, рядом с нами — подвалы с тюрьмами, страшный застенок, где пытали, где и сейчас еще кольца целы, к которым приковывали приведенных преступников. Там пострашнее. Уцелел и еще один каменный мешок с дверью, обитой железом. А подвал теперь завален разным хламом.

В дальнейшей беседе чиновник рассказал следующее:

— Я уже сорок лет живу здесь и застал еще людей, помнивших и Шешковского, и его помощников — Чередина, Агапыча и других, знавших даже самого Ваньку Каина. Помнил лучше других и рассказывал мне ужасы живший здесь в те времена еще подростком сын старшего сторожа того времени, потом наш чиновник. При нем уж пытки были реже. А как только воцарился Павел I, он приказал освободить из этих тюрем тайной экспедиции всех, кто был заключен Екатериной II и ее предшественниками. Когда их выводили на двор, они и на людей не были похожи: кто кричит, кто неистовствует, кто падает замертво…

На дворе с них снимали цепи и развозили кого куда, больше в сумасшедший дом… Потом, уже при Александре I, сломали дыбу, станки пыточные, чистили тюрьмы. Чередин еще распоряжался всем. Он тут и жил, при мне еще. Он рассказывал, как Пугачева при нем пытали, — это еще мой отец помнил… И Салтычиху он видел здесь, в этой самой комнате, где мы теперь сидим… Потом ее отсюда перевезли в Ивановский монастырь, в склеп, где она тридцать лет до самой смерти сидела. Вот я ее самолично видел в Ивановском монастыре… Она содержалась тогда в подземной тюрьме, выглядывала сквозь решетку, в окошечко, визжала, ругалась и плевалась на нас. Ее никогда не отпирали, и еду подавали в это самое единственное окошечко. Мне было тогда лет восемь, я ходил в монастырь с матерью и хорошо все помню…»

Прошло со времени этой записи больше двадцати лет. Уже в начале этого столетия возвращаюсь я по Мясницкой с Курского вокзала домой из продолжительной поездки — и вдруг вижу: дома нет, лишь груда камня и мусора. Работают каменщики, разрушают фундамент. Я соскочил с извозчика и прямо к ним. Оказывается, новый дом строить хотят.

— Теперь подземную тюрьму начали ломать, — пояснил мне десятник.

— А я ее видел, — говорю.

— Нет, вы видели подвальную, ее мы уже сломали, а под ней еще была, самая страшная: в одном ее отделении картошка и дрова лежали, а другая половина была наглухо замурована… Мы и сами не знали, что там помещение есть. Пролом сделали, и наткнулись мы на дубовую, железом кованную дверь. Насилу сломали, а за дверью — скелет человеческий… Как сорвали дверь- как загремит, как цепи звякнули… Кости похоронили. Полиция приходила, а пристав и цепи унес куда-то.

Мы пролезли в пролом, спустились на четыре ступеньки вниз, на каменный пол; здесь подземный мрак еще боролся со светом из проломанного потолка в другом конце подземелья. Дышалось тяжело… Проводник мой вынул из кармана огарок свечи и зажег… Своды… кольца… крючья…

Дальше было светлее, свечку погасили.

— А вот здесь скелет на цепях был.

Обитая ржавым железом, почерневшая дубовая дверь, вся в плесени, с окошечком, а за ней низенький каменный мешок, такой же, в каком стояла наливка у старика, только с

каким-то углублением, вроде узкой ниши.

При дальнейшем осмотре в стенах оказались еще какие-то ниши, тоже, должно быть, каменные мешки.

— Я приду завтра с фотографом, надо снять это и напечатать в журнале.

— Пожалуйста, приходите. Пусть знают, как людей мучили. Приходите.

Я вышел на улицу и только хотел сесть на извозчика, как увидел моего товарища по журнальной работе — иллюстратора Н. А. Богатова.

— Николай Алексеевич, есть у тебя карандаш? — останавливаю его.

— Конечно, я без карандаша и альбома — ни шагу. Я в кратких словах рассказал о том, что видел, и через несколько минут мы были в подземелье.

Часа три мы пробыли здесь с Богатовым, пока он сделал прекрасную зарисовку, причем десятник дал нам точные промеры подземелья. Ужасный каменный мешок, где был найден скелет, имел два аршина два вершка вышины, ширины — тоже два аршина два вершка, а глубины в одном месте, где ниша, — двадцать вершков, а в другом — тринадцать. Для чего была сделана эта ниша, так мы и не догадались.

Дом сломали, и на его месте вырос новый.

В 1923–1924 годах, на месте, где были «Мясницкие» меблированные комнаты, выстроены торговые помещения. Под ними оказались глубоченные подвалы со сводами и какими-то столбами, напоминавшие соседние тюрьмы «Тайного приказа», к которому, вероятно, принадлежали они. Теперь их засыпали, но до революции они были утилизированы торговцем Чичкиным для склада молочных продуктов.

По другую сторону Мясницкой, в Лубянском проезде, было владение Ромейко. В выходящем на проезд доме помещался трактир Арсентьича, задний фасад которого выходил на огромнейший двор, тянувшийся почти до Златоустовского переулка. Двор был застроен оптовыми лавками, где торговали сезонным товаром: весной — огурцами и зеленью, летом — ягодами, осенью — плодами, главным образом яблоками, а зимой — мороженой рыбой и круглый год — живыми раками, которых привозили с Оки и Волги, а главным образом с Дона, в огромных плетеных корзинах. Эта оптовая торговля была, собственно, для одних покупателей — лотошников и разносчиков. В начале девяностых годов это огромное дело прекратилось, владения Ромейко купил сибирский богатей Н. Д. Стахеев и выстроил на месте сломанного трактира большой дом, который потом проиграл в карты.

Позади «Шиповской крепости» был огромный пустырь, где по зимам торговали с возов мороженым мясом, рыбой и птицей, а в другое время — овощами, живностью и фруктами. Разносчики, главным образом тверские, покупали здесь товар и ходили по всей Москве, вплоть до самых окраин, нося на голове пудовые лотки и поставляя продукты своим постоянным покупателям. У них можно было купить и крупного осетра, и на пятак печенки для кошки. Разносчики особенно ценились хозяйками весной и осенью, когда улицы были непроходимы от грязи, или в большие холода зимой. Хороших лавок в Москве было мало, а рынки — далеко.

Как-то, еще в крепостные времена, на Лубянской площади появился деревянный балаган с немудрящим зверинцем и огромным слоном, который и привлекал главным образом публику. Вдруг по весне слон взбесился, вырвал из стены бревна, к которым был прикован цепями, и начал разметывать балаган, победоносно трубя и нагоняя страх на окружившие площадь толпы народа. Слон, раздраженный криками толпы, старался вырваться, но его удерживали бревна, к которым он был прикован и которые застревали в обломках балагана. Слон уже успел сбить одно бревно и ринулся на толпу, но к этому времени полиция привела роту солдат, которая несколькими залпами убила великана.

Теперь на этом месте стоит Политехнический музей.

Под каланчой

Полтораста лет стоит на Тверской дом, в котором помещается теперь Моссовет.

Выстроил его в 1782 году, по проекту знаменитого архитектора Казакова, граф Чернышев, московский генерал-губернатор, и с той поры дом этот; вплоть до революции был бессменно генерал-губернаторским домом. Фасадом он выходит на Советскую площадь, которая называлась Скобелевской, а ранее того — Тверской площадью. В этом доме происходили торжественные приемы и блестящие балы, устраивать которые особенно любил в восьмидесятых годах князь В. А. Долгоруков, правивший столицей в патриархальном порядке. На его балах бывала вся Москва, и в роскошных залах, среди усыпанных бриллиантами великосветских дам и блестящих мундиров, можно было увидеть сапоги замоскворецких миллионеров, поддевку гласного Давыда Жадаева и долгополый сюртук ростовщика Кашина… Ростовщики и даже скупщики краденого и содержатели разбойничьих притонов бывали на этих балах, прикрытые мундирами благотворительных обществ, в которые доступ был открыт всем, кто жертвует деньги. Многие из них даже получали чины и ордена, ими прикрывали свои преступные дела, являясь недоступными для полиции.

Подъезжает в день бала к подъезду генерал-губернаторского дворца какой-нибудь Ванька Кулаков в белых штанах и расшитом «благотворительном» мундире «штатского генерала», входит в вестибюль, сбрасывает на руки швейцару соболью шубу и, отсалютовав с вельможной важностью треуголкой дежурящему в вестибюле участковому приставу, поднимается по лестнице в толпе дам и почетных гостей. А пристав, бывший гвардейский офицер, принужден ему ответить, взяв под козырек, как гостю генерал-губернатора и казначею благотворительного общества, состоящего под высочайшим покровительством… Ну как же после этого пристав может составить протокол на содержателя разбойничьего притона «Каторга», трактира на Хитровом рынке?!

Вот тут-то, на этих балах, и завязывались нужные знакомства и обделывались разные делишки, а благодушный «хозяин столицы», как тогда звали Долгорукова, окруженный стеной чиновников, скрывавших от него то, что ему не нужно было видеть, рассыпался в любезностях красивым дамам.

Сам князь, старый холостяк, жил царьком, любил всякие торжества, на которых представительствовал. В известные дни принимал у себя просителей и жалобщиков, которые, конечно, профильтровывались чиновниками, заблаговременно докладывавшими князю, кто и зачем пришел, и характеризовавшими по-своему личность просителя. Впрочем, люди, знакомые князю, имели доступ к нему в кабинет, где он и выслушивал их один и отдавал приказания чиновникам, как поступить, но скоро все забывал, и не всегда его приказания исполнялись. Много анекдотов можно было бы припомнить про княжение Долгорукова на Москве, но я ограничусь только одним, относящимся, собственно, к генерал-губернаторскому дому, так как цель моих записок — припомнить старину главным образом о домах и местностях Москвы.

В конце семидесятых годов в Москве работала шайка «червонных валетов», блестящих мошенников, которые потом судились окружным судом и были осуждены и сосланы все, кроме главы, атамана Шпейера, который так и исчез навеки неведомо куда. Самым интересным был финал суда: когда приговор был прочитан, из залы заседания вышел почтенный, профессорского вида, старик, сел на лихача, подозвал городового, передал ему конверт, адресованный на имя председателя суда, и уехал. В конверте оказалась визитная карточка Шпейера, и на ней написано карандашом: «Благодарю за сегодняшний спектакль. Я очень доволен. Шпейер».

Вот этот самый Шпейер, под видом богатого помещика, был вхож на балы к В. А. Долгорукову, при первом же знакомстве очаровал старика своей любезностью, а потом бывал у него на приеме, в кабинете, и однажды попросил разрешения показать генерал-губернаторский дом своему знакомому, приехавшему в Москву английскому лорду. Князь разрешил, и на другой день Шпейер привез лорда, показал, в сопровождении дежурного чиновника, весь дом, двор и даже конюшни и лошадей. Чиновник молчаливо присутствовал, так как ничего не понимал по-английски. Дня через два, когда Долгоруков отсутствовал, у подъезда дома остановилась подвода с сундуками и чемоданами, следом за

ней в карете приехал лорд со своим секретарем-англичанином и приказал вносить вещи прямо в кабинет князя… Подробности этого скандала я не знаю, говорили разно. Известно только, что дело кончилось в секретном отделении генерал-губернаторской канцелярии.

Англичанин скандалил и доказывал, что это его собственный дом, что он купил его у владельца, дворянина Шпейера, за 100 тысяч рублей со всем инвентарем и приехал в нем жить. В доказательство представил купчую крепость, заверенную у нотариуса, по которой и деньги уплатил сполна. Это мошенничество Шпейера не разбиралось в суде, о нем умолчали, и как разделались с англичанином — осталось неизвестным. Выяснилось, что на 2-й Ямской улице была устроена на один день фальшивая контора нотариуса, где и произошла продажа дома. После этого только началась ловля «червонных валетов», но Шпейера так и не нашли. Вся Москва об этом молчала, знал только один фельетонист «Современных известий», Пастухов, но с него Долгоруков взял клятву, что он никогда не заикнется об этом деле. Много лет спустя Пастухов, по секрету, на рыбной ловле, рассказал мне об этом факте, а потом подтвердил его мне известный в свое время картежник Н. В. Попов, близко знавший почти всех членов шайки «червонных валетов», с которыми якшался, и добавил ряд подробностей, неизвестных даже Пастухову. От него я узнал, что Шпейер был в этой афере вторым лицом, а главным был некий прогорелый граф, который не за это дело, а за ряд других мошенничеств был сослан в Сибирь.

Долгоруков не брал взяток. Не нужны они ему были.

Старый холостяк, проживший огромное состояние и несколько наследств, он не был кутилой, никогда не играл в карты, но любил задавать балы и не знал счета деньгам, даже никогда не брал их в руки.

Правой рукой его в служебных делах был начальник секретного отделения канцелярии генерал-губернатора П. М. Хотинский — вечная московская «притча во языцех». Через него можно было умелому и денежному человеку сделать все.

Другой рукой князя был еще более приближенный человек — его бессменный камердинер Григорий Иванович Вельтищев, маленький, с большими усами.

Всеми расходами князя и всеми денежными суммами ведал он.

— Григорий, у нас для новогоднего бала все готово?

— Нет еще, ваше сиятельство. Денег еще не прислали. Придется пока перехватить тысчонок двадцать. Я думаю насчет гравера, вот напротив живет, к нему родственники приехали, а их гонят.

— Ничего не понимаю! Живых цветов побольше!

— Вот еще Лазарь Соломонович Поляков тоже просит…

— Ну да, он прекрасный человек. Скажи Павлу Михайловичу, что я приказал.

На новогоднем балу важно выступает под руку с супругой банкир Поляков в белых штанах и мундире штатского генерала благотворительного общества. Про него ходил такой анекдот:

— Ну и хочется вам затруднять свой язык? Лазарь Соломонович, Лазарь Соломонович! Зовите просто — ваше превосходительство!

Перед окнами дома Моссовета раскинута Советская площадь. На фоне сквера, целый день оживленного группами гуляющих детей, — здание Института Маркса — Энгельса — Ленина.

Против окон парадных покоев, на другом конце площади, где теперь, сквер, высилась в те времена каланча Тверской части. Беспокойное было это место.

Целый день, с раннего утра — грохот по булыжнику. Пронзительно дребезжат извозчичьи пролетки, громыхают ломовые полки, скрипят мужицкие телеги, так как эта площадь — самое бойкое место, соединяющее через Столешников переулок два района города.

В конце прошлого века о правилах уличного движения в столице и понятия не имели: ни правой, ни левой стороны не признавали, ехали — кто как хотел, сцеплялись, кувыркались… Круглые сутки стоял несмолкаемый шум.

Это для слуха. Зрение тоже не радовали картины из парадных окон генерал-губернаторского дворца: то пьяных и буянов вели «под шары», то тащили в приемный покой при части поднятых на улицах…

И для обоняния не всегда благополучно.

По случаю лунной ночи, по правилам думского календаря, хотя луны и не видно на самом деле, уличные фонари всей Москвы погашены.

В темноте тащится ночной благоуханный обоз — десятка полтора бочек, запряженных каждая парой ободранных, облезлых кляч. Между бочкой и лошадью на телеге устроено веревочное сиденье, на котором дремлет «золотарь» — так звали в Москве ассенизаторов.

Обоз подпрыгивает по мостовой, расплескивая содержимое на камни, гремя на весь квартал. И тянется, едва двигаясь, после полуночи такой обоз по Тверской, мимо дворца…

Обоз растянулся… Последние бочки на окончательно хромых лошадях поотстали… Один «золотарь» спит. Другой ест большой калач, который держит за дужку.

— Динь… Динь… — раздается с каланчи звонок, и часовой поднимает два фонаря по блоку на высоком коромысле.

— Какой номер? — орет снизу брандмейстер.

— Третий, коло ниверситета, — отвечает сверху пожарный, указывая, где именно и какой пожар.

«Третий» — значит огонь выбился наружу.

Как бешеный вырвался вслед за вестовым с факелом, сеющим искры, пожарный обоз. Лошади — звери, воронежские битюги, белые с рыжим.

Дрожат камни мостовой, звенят стекла, и содрогаются стены зданий.

Бешеная четверка с баграми мчится через площадь по Тверской и Охотному ряду, опрокидывая бочку, и летит дальше… Бочка вверх колесами. В луже разлившейся жижи барахтается «золотарь»… Он высоко поднял руку и заботится больше всего о калаче… Калач — это их специальное лакомство: он удобен, его можно ухватить за ручку, а булку грязными руками брать не совсем удобно. Пожарные несутся вниз по Тверской, а бочки тянутся дальше вверх, к заставе. Навстречу летят ночные гуляки от «Яра» — ресторана в Петровском парке- на тройках, «голубчиках» и лихачах, обнявшись с надушенными дамами, с гиком режут площадь, мчась по Тверской или вниз по Столешникову на Петровку.

На беспокойном месте жили генерал-губернаторы!

Иногда по Тверской в жаркий летний день тащится извозчичья пролетка с поднятым верхом, несмотря на хорошую погоду; из пролетки торчат шесть ног: четыре — в сапожищах со шпорами, а две — в ботинках, с брюками навыпуск.

Это привлекает внимание прохожих.

— Политика везут «под шары» в Тверскую!..

И действительно, пролетка сворачивает на площадь, во двор Тверской части, останавливается у грязного двухэтажного здания, внизу которого находится пожарный сарай, а верхний этаж занят секретной тюрьмой с камерами для политических и особо важных преступников.

Пролетка остановилась. Из нее, согнувшись в три погибели, выползают два жандарма, а с ними и «политик».

Его отводят в одну из камер, маленькие окна которой прямо глядят на генерал-губернаторский дом, но снаружи сквозь них ничего не видно: сверх железной решетки окна затянуты частой проволочной сеткой, заросшей пылью.

Звали эту тюрьму «клоповник».

В главном здании, с колоннадой и красивым фронтоном, помещалась в центре нижнего этажа гауптвахта, дверь в которую была среди колонн, а перед ней — плацдарм с загородкой казенной окраски, черными и белыми угольниками. Около полосатой, такой же окраски будки с подвешенным колоколом стоял часовой и нервно озирался во все стороны, как бы не пропустить идущего или едущего генерала, которому полагалось «вызванивать караул».

Чуть показывался с Тверской, или из Столешникова переулка, или от гостиницы

«Дрезден», или из подъезда генерал-губернаторского дома генерал, часовой два раза ударял в колокол, и весь караул — двадцать человек с офицером и барабанщиком во главе — стремглав, прыгая со ступенек, выстраивался фронтом рядом с буд. кой и делал ружьями «на караул» под барабанный бой…

И сколько десятков раз приходилось выскакивать им на чествование генералов! Мало ли их «проследует» за день на Тверскую через площадь! Многие генералы издали махали рукой часовому, что, мол, не надо вызванивать, но были и любители, особенно офицеры, только что произведенные в генералы, которые тешили свое сердце и нарочно лишний раз проходили мимо гауптвахты, чтобы важно откозырять выстроившемуся караулу.

И так каждый день от «зари» до «зари».

А «заря» — это особый военный артикул, исполнявшийся караулом на гауптвахте утром и вечером.

За четверть часа до назначенного времени выходит горнист и играет на трубе «повестку к заре». Через четверть часа выстраивается весь караул у будки и под барабанный бой правит церемониал «зари».

После вечерней «зари» и до утренней генералов лишают церемониала отдания чести. Солдаты дремлют в караульном доме, только сменяясь по часам, чтобы стеречь арестантов на двух постах: один под окнами «клоповника», а другой под окнами гауптвахты, выходящими тоже во двор, где содержались в отдельных камерах арестованные офицеры.

Кроме «клоповника» во дворе рядом с приемным покоем, помещалась «пьяная» камера, куда привозили пьяных и буянов.

Огромный пожарный двор был завален кучами навоза, выбрасываемого ежедневно из конюшен. Из-под навоза, особенно после дождей, текла ручьями бурая, зловонная жидкость прямо через весь двор под запертые ворота, выходящие в переулок, и сбегала по мостовой к Петровке. Рядом с воротами стояло низенькое каменное здание без окон, с одной дверью на двор. Это — морг. Его звали «часовня». Он редко пустовал. То и дело сюда привозили трупы, поднятые на улице, или жертвы преступлений. Их отправляли для судебно-медицинского вскрытия в анатомический театр или, по заключению судебных властей, отдавали родственникам для похорон. Бесприютных и беспаспортных отпевали тут же и везли на дрогах, в дощатых гробах на кладбище.

Дежурная комната находилась в правой стороне нижнего этажа, стена в стену с гауптвахтой, а с другой ее стороны была квартира полицейского врача. Над участком — квартира пристава, а над караульным домом, гауптвахтой и квартирой врача — казарма пожарной команды, грязная и промозглая.

Пожарные в двух этажах, низеньких и душных, были набиты, как сельди в бочке, и спали вповалку на нарах, а кругом на веревках сушилось промокшее на пожарах платье и белье. Половина команды — дежурная — никогда не раздевалась и спала тут же в одежде и сапогах.

И когда с каланчи, чуть заметя пожар, дежурный звонил за веревку в сигнальный колокол, пожарные выбегали иногда еще в непросохшем платье.

Мимо генерал-губернаторского дома громыхает пожарный обоз: на четверках — багры, на тройке — пожарная машина, а на парах — вереница бочек с водой.

А впереди, зверски дудя в медную трубу, мчится верховой с горящим факелом.

День и ночь шумела и гудела площадь. Безмолвствовала только одна тюрьма.

В ее секретных камерах содержались в разное время интересные люди.

В 1877 году здесь сидел «шлиссельбуржец» Николай Александрович Морозов. Спичкой на закоптелой стене камеры им было написано здесь первое стихотворение, положившее начало его литературному творчеству:

Кругом непроглядною серою мглой Степная равнина одета, И мрачно и душно в пустыне глухой, И нет в ней ни жизни, ни света.

Потом к этому куплету стали присоединяться и другие. В первоначальном виде эта поэма была напечатана в 1878 году в журнале «Вперед» и вошла в первое издание его книги

«Звездные песни», за которую в 1912 году Н. А. Морозова посадили в Двинскую крепость. В переделанном виде эта поэма была потом напечатана под названием «Шлиссельбургский узник».

В 1862 году в этой же самой угловой камере содержался Петр Григорьевич Зайчневский, известный по делу «Молодой России», прокламация которой привела в ужас тогдашнее правительство.

А еще раньше, в 1854 году, но уже не в «клоповнике», а в офицерских камерах гауптвахты содержался по обвинению в убийстве француженки Деманш А. В. Сухово-Кобылин, который здесь написал свою пьесу «Свадьба Кречинского», до сих пор не сходящую со сцены.

Революция смела тюрьму, гауптвахту, морг, участок и перевела в другое место Тверскую пожарную команду, успевшую отпраздновать в 1923 году столетие своего существования под этой каланчой.

Сто лет самоотверженной, полной риска работы нескольких поколений на виду у всей Москвы. Еще и сейчас немало москвичей помнят подвиги этих удальцов на пожарах, на ходынской катастрофе во время царского коронования в 1896 году, во время наводнений и, наконец, при пожаре артиллерийских складов на Ходынке в 1920 году.

Московскую пожарную команду создал еще граф Ф. В. Ростопчин. Прежде это было случайное собрание пожарных инструментов, разбросанных по городу, и отдельных дежурных обывателей, которые должны были по церковному набату сбегаться на пожар, кто с багром, кто с ведром, куда являлся и брандмайор.

С 1823 года пожарная команда стала городским учреждением. Создавались пожарные части по числу частей города, постепенно появились инструменты, обоз, лошади.

И только в 1908 году появился в пожарном депо на Пречистенке первый пожарный автомобиль. Это была небольшая машина с прикрепленной наверху раздвижной лестницей для спасения погибавших из верхних этажей, впрочем не выше третьего. На этом автомобиле первым мчался на пожар брандмайор с брандмейстером, фельдшером и несколькими смельчаками — пожарными-топорниками.

Автомобиль бешено удирал от пожарного обоза, запряженного отличными лошадьми. Пока не было телефонов, пожары усматривали с каланчи пожарные. Тогда не было еще небоскребов, и вся Москва была видна с каланчи как на ладони. На каланче, под шарами, ходил день и ночь часовой. Трудно приходилось этому «высокопоставленному» лицу в бурю-непогоду, особенно в мороз зимой, а летом еще труднее: солнце печет, да и пожары летом чаще, чем зимой, — только гляди, не зевай! И ходит он кругом и «озирает окрестности».

Отважен, силен, сердцем прост,
Его не тронула борьбы житейской буря,
И занял он за это самый высший пост,
На каланче дежуря.

Вдруг облачко дыма… сверкнул огонек… И зверски рвет часовой пожарную веревку, и звонит сигнальный колокол на столбе посреди двора… Тогда еще электрических звонков не было.

Выбегают пожарные, на ходу одеваясь в не успевшее просохнуть платье, выезжает на великолепном коне вестовой в медной каске и с медной трубой. Выскакивает брандмейстер и, задрав голову, орет:

— Где? Какой?

— В Охотном! Третий! — отвечает часовой сверху.

А сам уже поднимает два шара на коромысле каланчи, знак Тверской части. Городская — один шар, Пятницкая — четыре, Мясницкая — три шара, а остальные- где шар и крест, где два шара и крест — знаки, по которым обыватель узнавал, в какой части города пожар.

А то вдруг истошным голосом орет часовой сверху:

— Пятый, на Ильинке! Пятый!

И к одинокому шару, означающему Городскую часть, привешивают с другой стороны коромысла красный флаг: сбор всех частей, пожар угрожающий.

И громыхают по булыжным мостовым на железных шинах пожарные обозы так, что стекла дрожат, шкафы с посудой ходуном ходят, и обыватели бросаются к окнам или на улицу поглядеть на каланчу.

Ночью вывешивались вместо шаров фонари: шар — белый фонарь, крест — красный. А если красный фонарь сбоку, на том месте, где днем — красный флаг, — это сбор всех частей. По третьему номеру выезжали пожарные команды трех частей, по пятому — всех частей.

А если сверху крикнут: «Первый!» — это значит закрытый пожар: дым виден, а огня нет. Тогда конный на своем коне-звере мчится в указанное часовым место для проверки, где именно пожар, — летит и трубит. Народ шарахается во все стороны, а тот, прельщая сердца обывательниц, летит и трубит!

И горничная с завистью говорит кухарке, указывая в окно:

— Гляди, твой-то…

В те давние времена пожарные, николаевские солдаты, еще служили по двадцать пять лет обязательной службы и были почти все холостые, имели «твердых» возлюбленных — кухарок.

В свободное от пожаров время они ходили к ним в гости, угощались на кухне, и хозяйки на них смотрели как на своих людей, зная, что не прощелыга какой-нибудь, а казенный человек, на которого положиться можно.

Так кухарки при найме и в условие хозяйкам ставили, что в гости «кум» ходить будет, и хозяйки соглашались, а в купеческих домах даже поощряли.

Да и как не поощрять, когда пословица в те давние времена ходила: «Каждая купчиха имеет мужа — по закону, офицера — для чувств, а кучера — для удовольствия». Как же кухарке было не иметь кума-пожарного!

Каждый пожарный — герой, всю жизнь на войне, каждую минуту рискует головой. А тогда в особенности: полазь-ка по крышам зимой, в гололедицу, когда из разорванных рукавов струями бьет вода, когда толстое сукно куртки и штанов (и сухое-то не согнешь) сделается как лубок, а неуклюжие огромные сапожищи, на железных гвоздях для прочности, сделаются как чугунные. И карабкается такой замороженный дядя в обледенелых сапогах по обледенелым ступеням лестницы на пылающую крышу и проделывает там самые головоломные акробатические упражнения; иногда ежась на стремнине карниза от наступающего огня и в ожидании спасительной лестницы, половиной тела жмется к стене, а другая висит над бездной… Топорники, каски которых сверкают сквозь клубы черного дыма, раскрывая железо крыши, постоянно рискуют провалиться в огненные тартарары.

А ствольщик вслед за брандмейстером лезет в неизвестное помещение, полное дыма, и, рискуя задохнуться или быть взорванным каким-нибудь запасом керосина, ищет, где огонь, и заливает его… Трудно зимой, но невыносимо летом, когда пожары часты.

Я помню одно необычайно сухое лето в половине восьмидесятых годов, когда в один день было четырнадцать пожаров, из которых два — сбор всех частей. Горели Зарядье и Рогожская почти в одно и то же время-А кругом мелкие пожары…

В прошлом столетии в одной из московских газет напечатано было стихотворение под названием «Пожарный». Оно пользовалось тогда популярностью, и каждый пожарный чувствовал, что написано оно про него, именно про него, и гордился этим: сила и отвага!

ПОЖАРНЫЙ
Мчатся искры, вьется пламя,
Грозен огненный язык.
Высоко держу я знамя,

Я к опасности привык!
Нет педелями покоя, —
Стой на страже ночь и день.
С треском гнется подо мною
Зыбкой лестницы ступень.
В вихре искр, в порыве дыма,
Под карнизом, на весу,
День и ночь неутомимо
Службу трудную несу.
Ловкость, удаль и отвага
Нам заветом быть должны.
Мерзнет мокрая сермяга,
Волоса опалены…
Правь струю рукой умелой,
Ломом крышу раскрывай
И рукав обледенелый
Через пламя подавай.
На высоких крышах башен
Я, как дома, весь в огне.
Пыл пожара мне не страшен,
Целый век я на войне!

В наши дни пожарных лошадей уже нет, их заменили автомобили. А в старое время ими гордились пожарные. В шестидесятых годах полицмейстер, старый кавалерист Огарев, балетоман, страстный любитель пожарного дела и лошадник, организовал специальное снабжение лошадьми пожарных команд, и пожарные лошади били лучшими в Москве. Ими нельзя было не любоваться. Огарев сам ездил два раза в год по воронежским и тамбовским конным заводам, выбирал лошадей, приводил их в Москву и распределял по семнадцати пожарным частям, самолично следя за уходом. Огарев приезжал внезапно в часть, проходил в конюшню, вынимал из кармана платок — и давай пробовать, как вычищены лошади. Ему Москва была обязана подбором лошадей по мастям: каждая часть имела свою «рубашку», и москвичи издали узнавали, какая команда мчится на пожар. Тверская — все желто-пегие битюги. Рогожская- вороно-пегие, Хамовническая — соловые с черными хвостами и огромными косматыми черными гривами, Сретенская — соловые с белыми хвостами и гривами! Пятницкая — вороные в белых чулках и с лысиной во весь лоб, Городская — белые без отметин, Якиманская — серые в яблоках, Таганская — чалые, Арбатская — гнедые, Сущевская — лимонно-золотистые, Мясницкая — рыжие и Лефортовская — караковые. Битюги — красота, силища!

А как любили пожарные своих лошадей! Как гордились ими! Брандмейстер Беспалов, бывший вахмистр 1-го Донского полка, всю жизнь проводил в конюшне, дневал и ночевал в ней.

После его смерти должность тверского брандмейстера унаследовал его сын, еще юноша, такой же удалец, родившийся и выросший в конюшне. Он погиб на своем посту: провалившись во время пожара сквозь три этажа, сошел с ума и умер.

А Королев, Юшин, Симонов, Алексеев, Корыто, Вишневский десятки лет служили брандмейстерами, всегда в огне, всегда, как и все пожарные, на волосок от смерти!

В старину пожарных, кроме борьбы с огнем, совали всюду, начиная от вытаскивания задохшихся рабочих из глубоких колодцев или отравленных газом подвалов до исправления обязанностей санитаров. И все это без всяких предохранительных средств!

Когда случилась злополучная ходынская катастрофа, на рассвете, пока еще раздавались крики раздавленных, пожарные всех частей примчались на фурах и, спасая уцелевших, развозили их по больницам. Затем убирали изуродованные трупы, и бешено мчались фуры с

покойниками на кладбище, чтобы скорее вернуться и вновь везти еще и еще…

Было и еще одно занятие у пожарных. Впрочем, не у всех, а только у Сущевской части: они жгли запрещенные цензурой книги.

— Что это дым над Сущевской частью? Уж не пожар ли?

— Не беспокойтесь, ничего, это «Русскую мысль»[13]

Жгут

Там, в заднем сарае, стояла огромная железная решетчатая печь, похожая на клетку, в которой Пугачева на казнь везли (теперь находится в Музее Революции).

Когда было нужно, ее вытаскивали из сарая во двор, обливали книги и бумаги керосином и жгли в присутствии начальства.

Чего-чего не заставляло делать пожарных тогдашнее начальство, распоряжавшееся пожарными, как крепостными! Употребляли их при своих квартирах для работ и даже внаем сдавали. Так, в семидесятых годах обер-полицмейстер Арапов разрешил своим друзьям — антрепренерам клубных театров брать пожарных на роли статистов…

В Петровском парке в это время было два театра: огромный деревянный Петровский, бывший казенный, где по временам, с разрешения Арапова, по праздникам играла труппа А. А. Рассказова, и летний театр Немецкого клуба на другом конце парка, на дачах Киргофа.

В одно из воскресений у Рассказова идет «Хижина дяди Тома», а в саду Немецкого клуба — какая-то мелодрама с чертями.

У Петровского театра стояли пожарные дроги с баграми, запряженные светло-золотистыми конями Сущевской части. А у Немецкого клуба — четверки пегих битюгов Тверской части.

Восемь часов. Собирается публика. Артисты одеты. Пожарные в Петровском театре сидят на заднем дворе в тиковых полосатых куртках, загримированные неграми: лица, шеи и руки вычернены, как сапоги.

Оркестр уже заиграл увертюру, как вдруг из Немецкого клуба примчался верховой — и прямо к брандмейстеру Сущевской части Корыто, который, как начальство, в мундире и каске, сидел у входа в театр. Верховой сунул ему повестку, такую же, какую минуту назад передал брандмейстеру Тверской части.

Выскочил Корыто — и к пожарным:

— Ребята! Сбор частей! Пожар на Никольской! Вали, кто в чем есть, живо!

И Тверская часть уже несется по аллеям парка и далее по Петровскому шоссе среди клубов пыли.

Впереди мчится весь красный, с красным хвостом и красными руками, в блестящем шлеме верховой на бешеном огромном пегом коне… А сзади — дроги с баграми, на дрогах — красные черти…

Публика, метнувшаяся с дорожек парка, еще не успела прийти в себя, как видит: на золотом коне несется черный дьявол с пылающим факелом и за ним — длинные дроги с черными дьяволами в медных шлемах… Черные дьяволы еще больше напугали народ… Грохот, пламя, дым…

Бешено грохочут по Тверской один за другим дьявольские поезда мимо генерал-губернаторского дома, мимо Тверской части, на которой развевается красный флаг — сбор всех частей. Сзади пожарных, стоя в пролетке и одной рукой держась за плечо кучера, лихо несется по Тверской полковник Арапов на своей паре и не может догнать пожарных…

А на Ильинке красные и черные черти уже лазят по крыше, среди багрового дыма и языков пламени.

---

[13] *«Русская мысль»* — журнал, издаваемый В. М. Лавровым с 1880 года

На другой день вся Москва только и говорила об этом дьявольском поезде. А через несколько дней брандмайор полковник Потехин получил предписание, заканчивавшееся словами: «…строжайше воспрещаю употреблять пожарных в театрах и других неподходящих местах. Полковник Арапов».

Теперь пожарное дело в Москве доведено до совершенства, люди воспитанны, выдержанны, снабжены всем необходимым. Дисциплина образцовая — и та же былая удаль и смелость, но сознательная, вооруженная технической подготовкой, гимнастикой, наукой… Быстрота выездов на пожар теперь измеряется секундами. В чистой казарме, во втором этаже, дежурная часть — одетая и вполне готовая. В полу казармы широкое отверстие, откуда видны толстые, гладко отполированные столбы.

Тревожный звонок — и все бросаются к столбам, охватывают их в обнимку, ныряют по ним в нижний сарай, и в несколько секунд — каждый на своем определенном месте автомобиля: каску на голову, прозодежду надевают на полном ходу летящего по улице автомобиля.

И вдруг:

— Пожарники едут! Пожарники едут! — кричит кучка ребятишек.

В первый раз в жизни я услыхал это слово в конце первого года империалистической войны, когда население нашего дома, особенно надворных флигелей, увеличилось беженцами из Польши.

Меня, старого москвича и, главное, старого пожарного, резануло это слово. Москва, любовавшаяся своим знаменитым пожарным обозом — сперва на красавцах лошадях, подобранных по мастям, а потом бесшумными автомобилями, сверкающими медными шлемами, — с гордостью говорила:

— Пожарные! И вдруг:

— Пожарники!

Что-то мелкое, убогое, обидное.

Передо мной встает какой-нибудь уездный городишко, где на весь город три дырявые пожарные бочки, полтора багра, ржавая машина с фонтанирующим рукавом на колесах, вязнущих по ступицу в невылазной грязи немощеных переулков, а сзади тащится за ним с десяток убогих инвалидов-пожарников.

В Москве с давних пор это слово было ходовым, но имело совсем другое значение: так назывались особого рода нищие, являвшиеся в Москву на зимний сезон вместе со своими господами, владельцами богатых поместий. Помещики приезжали в столицу проживать свои доходы с имений, а их крепостные — добывать деньги, часть которых шла на оброк, в господские карманы.

Делалось это под видом сбора на «погорелые» места. Погорельцы, настоящие и фальшивые, приходили и приезжали в Москву семьями. Бабы с ребятишками ездили в санях собирать подаяние деньгами и барахлом, предъявляя удостоверения с гербовой печатью о том, что предъявители сего едут по сбору пожертвований в пользу сгоревшей деревни или села. Некоторые из них покупали особые сани, с обожженными концами оглоблей, уверяя, что они только сани и успели вырвать из огня.

«Горелые оглобли», — острили москвичи, но все-таки подавали. Когда у ворот какого-нибудь дома в глухом переулке останавливались сани, ребятишки вбегали в Дом и докладывали:

— Мама, пожарники приехали!

Две местности поставляли «пожарников» на всю Москву. Это Богородский и Верейский уезды. Первые назывались «гусляки», вторые — «шувалики». Особенно славились богородские гусляки.

— Едешь по деревне, видишь, окна в домах заколочены, — это значит, что пожарники на промысел пошли целой семьей, а в деревне и следов пожара нет!

Граф Шувалов, у которого в крепостные времена были огромные имения в Верейском уезде, первый стал отпускать крестьян в Москву по сбору на «погорелые» места, потому что

они платили повышенный оброк. Это было очень выгодно помещику.

Когда таких «пожарников» задерживали и спрашивали:

— Откуда?

— Мы шувалики! — отвечали задержанные.

Бывали, конечно, и настоящие пострадавшие от пожара люди, с подлинными свидетельствами от волости, а иногда и от уездной полиции, но таких в полицейских протоколах называли «погорельщиками», а фальшивых — «пожарниками».

Вот откуда взялось это, обидное для старых пожарных, слово: «пожарники!»

Булочники и парикмахеры

На Тверской, против Леонтьевского переулка, высится здание бывшего булочника Филиппова, который его перестроил в конце столетия из длинного двухэтажного дома, принадлежавшего его отцу, популярному в Москве благодаря своим калачам и сайкам.

Филиппов был настолько популярен, что известный московский поэт Шумахер отметил его смерть четверостишием, которое знала вся Москва:

Вчера угас еще один из типов,
Москве весьма известных и знакомых,
Тьмутараканский князь Иван Филиппов,
И в трауре оставил насекомых.

Булочная Филиппова всегда была полна покупателей. В дальнем углу вокруг горячих железных ящиков стояла постоянная толпа, жующая знаменитые филипповские жареные пирожки с мясом, яйцами, рисом, грибами, творогом, изюмом и вареньем. Публика — от учащейся молодежи до старых чиновников во фризовых шинелях и от расфранченных дам до бедно одетых рабочих женщин. На хорошем масле, со свежим фаршем пятачковый пирог был так велик, что парой можно было сытно позавтракать. Их завел еще Иван Филиппов, основатель булочной, прославившийся далеко за пределами московскими, калачами и сайками, а главное, черным хлебом прекрасного качества.

Прилавки и полки левой стороны булочной, имевшей отдельный ход, всегда были окружены толпами, покупавшими фунтиками черный хлеб и ситный.

— Хлебушко черненький труженику первое питание, — говорил Иван Филиппов.

— Почему он только у вас хорош? — спрашивали.

— Потому, что хлебушко заботу любит. Выпечка-то выпечкой, а вся сила в муке. У меня покупной муки нет, вся своя, рожь отборную покупаю на местах, на мельницах свои люди поставлены, чтобы ни соринки, чтобы ни пылинки… А все-таки рожь бывает разная, выбирать надо. У меня все больше тамбовская, из-под Козлова, с Роминской мельницы идет мука самая лучшая. И очень просто! — заканчивал всегда он речь своей любимой поговоркой.

Черный хлеб, калачи и сайки ежедневно отправляли в Петербург к царскому двору. Пробовали печь на месте, да не выходило, и старик Филиппов доказывал, что в Петербурге такие калачи и сайки не выйдут.

— Почему же?

— И очень просто! Вода невская не годится! Кроме того, — железных дорог тогда еще не было, — по зимам шли обозы с его сухарями, калачами и сайками, на соломе испеченными, даже в Сибирь. Их как-то особым способом, горячими, прямо из печки, замораживали, везли за тысячу верст, а уже перед самой едой оттаивали — тоже особым способом, в сырых полотенцах, — и ароматные, горячие калачи где-нибудь в Барнауле или Иркутске подавались на стол с пылу, с жару.

Калачи на отрубях, сайки на соломе… И вдруг появилась новинка, на которую покупатель набросился стаей, — это сайки с изюмом…

— Как вы додумались?

— И очень просто! — отвечал старик. Вышло это, действительно, даже очень просто.

В те времена всевластным диктатором Москвы был генерал-губернатор Закревский, перед которым трепетали все. Каждое утро горячие сайки от Филиппова подавались ему к чаю.

— Э-тто что за мерзость! Подать сюда булочника Филиппова! — заорал как-то властитель за утренним чаем.

Слуги, не понимая, в чем дело, притащили к начальству испуганного Филиппова.

— Э-тто что? Таракан?! — и сует сайку с запеченным тараканом. — Э-тто что?! А?

— И очень даже просто, ваше превосходительство, — поворачивает перед собой сайку старик.

— Что-о?.. Что-о?.. Просто?!

— Это изюминка-с!

И съел кусок с тараканом.

— Врешь, мерзавец! Разве сайки с изюмом бывают? Пошел вон!

Бегом вбежал в пекарню Филиппов, схватил решето изюма да в саечное тесто, к великому ужасу пекарей, и ввалил.

Через час Филиппов угощал Закревского сайками с изюмом, а через день от покупателей отбою не было.

— И очень просто! Все само выходит, поймать сумей, — говорил Филиппов при упоминании о сайках с изюмом.

— Вот хоть взять конфеты, которые «ландрин» зовут… Кто Ландрин? Что монпансье? Прежде это монпансье наши у французов выучились делать, только продавали их в бумажках завернутые во всех кондитерских… А тут вон Ландрин… Тоже слово будто заморское, что и надо для торговли, а вышло дело очень просто.

На кондитерскую Григория Ефимовича Елисеева это монпансье работал кустарь Федя. Каждое утро, бывало, несет ему лоток монпансье, — он по-особому его делал, — половинка беленькая и красненькая, пестренькая, кроме него никто так делать не умел, и в бумажках. После именин, что ли, с похмелья, вскочил он товар Елисееву нести.

Видит, лоток накрытый приготовлен стоит. Схватил и бежит, чтобы не опоздать. Приносит. Елисеев развязал лоток и закричал на него:

— Что ты принес? Что?..

Увидал Федя, что забыл завернуть конфеты в бумажки, схватил лоток, побежал. Устал, присел на тумбу около гимназии женской… Бегут гимназистки, одна, другая…

— Почем конфеты? Он не понимает…

— По две копейки возьмешь? Дай пяток.

Сует одна гривенник… За ней другая… Тот берет деньги и сообразил, что выгодно. Потом их выбежало много, раскупили лоток и говорят:

— Ты завтра приходи во двор, к 12 часам, к перемене… Как тебя зовут?

— Федором, по фамилии Ландрин…

Подсчитал барыши — выгоднее, чем Елисееву продавать, да и бумажки золотые в барышах. На другой день опять принес в гимназию.

— Ландрин пришел!

Начал торговать сперва вразнос, потом по местам, а там и фабрику открыл. Стали эти конфеты называться «ландрин» — слово показалось французским… ландрин да ландрин! А он сам новгородский мужик и фамилию получил от речки Ландры, на которой его деревня стоит.

— И очень даже просто! Только случая не упустил. А вы говорите: «Та-ра-кан»!

А все-таки Филиппов был разборчив и не всяким случаем пользовался, где можно деньги нажить. У него была своеобразная честность. Там, где другие булочники и за грех не считали мошенничеством деньги наживать, Филиппов поступал иначе.

Огромные куши наживали булочники перед праздниками, продавая лежалый товар за

полную стоимость по благотворительным заказам на подаяние заключенным.

Испокон веков был обычай на большие праздники — рождество, крещение, пасху, масленицу, а также в «дни поминовения усопших», в «родительские субботы» — посылать в тюрьмы подаяние арестованным, или, как говорили тогда, «несчастненьким».

Особенно хорошо в этом случае размахивалась Москва.

Булочные получали заказы от жертвователя на тысячу, две, а то и больше калачей и саек, которые развозились в кануны праздников и делились между арестантами. При этом никогда не забывались и караульные солдаты из квартировавших в Москве полков.

Ходить в караул считалось вообще трудной и рискованной обязанностью, но перед большими праздниками солдаты просились, чтобы их назначали в караул. Для них, никогда не видевших куска белого хлеба, эти дни были праздниками. Когда подаяние большое, они приносили хлеба даже в казармы и делились с товарищами. Главным жертвователем было купечество, считавшее необходимостью для спасения душ своих жертвовать «несчастненьким» пропитание, чтобы они в своих молитвах поминали жертвователя, свято веруя, что молитвы заключенных скорее достигают своей цели.

Еще ярче это выражалось у старообрядцев, которые по своему закону обязаны оказывать помощь всем пострадавшим от антихриста, а такими пострадавшими они считали «в темницу вверженных».

Главным центром, куда направлялись подаяния, была центральная тюрьма — «Бутырский тюремный замок». Туда со всей России поступали арестанты, ссылаемые в Сибирь, отсюда они, до постройки Московско-Нижегородской железной дороги, отправлялись пешком по Владимирке.

Страшен был в те времена, до 1870 года, вид Владимирки!

…Вот клубится
Пыль. Все ближе… Стук шагов,
Мерный звон цепей железных,
Скрип телег и лязг штыков.
Ближе. Громче. Вот на солнце
Блещут ружья. То конвой;
Дальше длинные шеренги
Серых сукон. Недруг злой,
Враг и свой, чужой и близкий,
Все понуро в ряд бредут,
Всех свела одна недоля,
Всех сковал железный прут…

А Владимирка начинается за Рогожской, и поколениями видели рогожские обитатели по нескольку раз в год эти ужасные шеренги, мимо их домов проходившие. Видели детьми впервые, а потом седыми стариками и старухами все ту же картину, слышали:

…И стон
И цепей железных звон…

Ну, конечно, жертвовали, кто чем мог, стараясь лично передать подаяние. Для этого сами жертвователи отвозили иногда воза по тюрьмам, а одиночная беднота с парой калачей или испеченной дома булкой поджидала на Садовой, по пути следования партии, и, прорвавшись сквозь цепь, совала в руки арестантам свой трудовой кусок, получая иногда затрещины от солдат.

Страшно было движение этих партий.

По всей Садовой и на всех попутных улицах выставлялась вдоль тротуаров цепью охрана с ружьями…

И движется, ползет, громыхая и звеня железом, партия иногда в тысячу человек от пересыльной тюрьмы по Садовой, Таганке, Рогожской… В голове партии погремливают ручными и ножными кандалами, обнажая то и дело наполовину обритые головы, каторжане. Им приходится на ходу отвоевывать у конвойных подаяние, бросаемое народом.

И гремят ручными и ножными кандалами нескончаемые ряды в серых бушлатах с желтым бубновым тузом на спине и желтого же сукна буквами над тузом: «С. К.».

«С. К.» — значит ссыльнокаторжный. Народ переводит по-своему: «Сильно каторжный».

Движется «кобылка» сквозь шпалеры народа, усыпавшего даже крыши домов и заборы… За ссыльнокаторжными, в одних кандалах, шли скованные по нескольку железным прутом ссыльные в Сибирь, за ними беспаспортные бродяги, этапные, арестованные за «бесписьменность», отсылаемые на родину. За ними вереница заваленных узлами и мешками колымаг, на которых расположились больные и женщины с детьми, возбуждавшими особое сочувствие.

Во время движения партии езда по этим улицам прекращалась… Миновали Таганку. Перевалили заставу… А там, за заставой, на Владимирке, тысячи народа съехались с возами, ждут, — это и москвичи, и крестьяне ближайших деревень, и скупщики с пустыми мешками с окраин Москвы и с базаров.

До прибытия партии приходит большой отряд солдат, очищает от народа Владимирку и большое поле, которое и окружает.

Это первый этап. Здесь производилась последняя перекличка и проверка партии, здесь принималось и делилось подаяние между арестантами и тут же ими продавалось барышникам, которые наполняли свои мешки калачами и булками, уплачивая за них деньги, а деньги только и ценились арестантами. Еще дороже котировалась водка, и ею барышники тоже ухитрялись ссужать партию.

Затем происходила умопомрачительная сцена прощания, слезы, скандалы. Уже многие из арестантов успели подвыпить, то и дело буйство, пьяные драки… Наконец конвою удается угомонить партию, выстроить ее и двинуть по Владимирке в дальний путь.

Для этого приходилось иногда вызывать усиленный наряд войск и кузнецов с кандалами, чтобы дополнительно заковывать буянов.

Главным образом перепивались и буянили, конечно, не каторжные, бывалые арестанты, а «шпана», этапные.

Когда Нижегородская железная дорога была выстроена, Владимирка перестала быть сухопутным Стиксом, и по ней Хароны со штыками уже не переправляли в ад души грешников. Вместо проторенного под звуки цепей пути -

Меж чернеющих под паром
Плугом поднятых полей
Лентой тянется дорога
Изумруда зеленей…
Все на ней теперь, иное,
Только строй двойной берез,
Что слыхали столько воплей,
Что видали столько слез,
Тот же самый… …Но как чудно
В пышном убранстве весны
Все вокруг них! Не дождями
Эти травы вспоены,
На слезах людских, на поте,
Что лились рекой в те дни, —
Без призора, на свободе —
Расцвели теперь они.

Всё цветы, где прежде слезы
Прибивали пыль порой,
Где гремели колымаги
По дороге столбовой.

Закрылась Владимирка, уничтожен за заставой и первый этап, где раздавалось последнее подаяние. Око ло вокзала запрещено было принимать подаяние — разрешалось только привозить его перед отходом партии в пересыльную тюрьму и передавать не лично арестантам, а через начальство. Особенно на это обиделись рогожские старообрядцы:

— А по чем несчастненькие узнают, кто им подал? За кого молиться будут?

Рогожские наотрез отказались возить подаяние в пересыльный замок и облюбовали для раздачи его две ближайшие тюрьмы: при Рогожском полицейском доме и при Лефортовском.

И заваливали в установленные дни подаянием эти две части, хотя остальная Москва продолжала посылать по-прежнему во все тюрьмы. Это пронюхали хитровцы и воспользовались.

Перед большими праздниками, к великому удивлению начальства, Лефортовская и Рогожская части переполнялись арестантами, и по всей Москве шли драки и скандалы, причем за «бесписьменность» задерживалось неимоверное количество бродяг, которые указывали свое местожительство главным образом в Лефортове и Рогожской, куда их и пересылали с конвоем для удостоверения личности.

А вместе с ними возами возили подаяние, которое тут же раздавалось арестантам, менялось ими на водку и поедалось.

После праздника все эти преступники оказывались или мелкими воришками, или просто бродяжками из московских мещан и ремесленников, которых по удостоверении личности отпускали по домам, и они расходились, справив сытно праздник за счет «благодетелей», ожидавших горячих молитв за свои души от этих «несчастненьких, ввергнутых в узилища слугами антихриста».

Наживались на этих подаяниях главным образом булочники и хлебопекарни. Только один старик Филиппов, спасший свое громадное дело тем, что съел таракана за изюминку, был в этом случае честным человеком.

Во-первых, он при заказе никогда не посылал завали арестантам, а всегда свежие калачи и сайки; во-вторых, у него велся особый счет, по которому видно было, сколько барыша давали эти заказы на подаяние, и этот барыш он целиком отвозил сам в тюрьму и жертвовал на улучшение пищи больным арестантам. И делал все это он «очень просто», не ради выгод или медальных и мундирных отличий благотворительных учреждений.

Уже много лет спустя его сын, продолжавший отцовское дело, воздвиг на месте двухэтажного дома тот большой, что стоит теперь, и отделал его на заграничный манер, устроив в нем знаменитую некогда «филипповскую кофейную» с зеркальными окнами, мраморными столиками и лакеями в смокингах…

Тем не менее это парижского вида учреждение известно было под названием «вшивая биржа». Та же, что и в старые времена, постоянная толпа около ящиков с горячими пирожками…

Но совершенно другая публика в кофейной: публика «вшивой биржи».

Завсегдатаи «вшивой биржи». Их мало кто знал, зато они знали всех, но у них не было обычая подавать вида, что они знакомы между собой. Сидя рядом, перекидывались словами, иной подходил к занятому уже столу и просил, будто у незнакомых, разрешения сесть. Любимое место подальше от окон, поближе к темному углу.

Эта публика — аферисты, комиссионеры, подводчики краж, устроители темных дел, агенты игорных домов, завлекающие в свои притоны неопытных любителей азарта, клубные арапы и шулера. Последние после бессонных ночей, проведенных в притонах и клубах, проснувшись в полдень, собирались к Филиппову пить чай и выработать план следующей ночи.

У сыщиков, то и дело забегавших в кофейную, эта публика была известна под рубрикой: «играющие».

В дни бегов и скачек, часа за два до начала, кофейная переполняется разнокалиберной публикой с беговыми и скаковыми афишами в руках. Тут и купцы, и чиновники, и богатая молодежь — все заядлые игроки в тотализатор.

Они являются сюда для свидания с «играющими» и «жучками» — завсегдатаями ипподромов, чтобы получить от них отметки, на какую лошадь можно выиграть. «Жучки» их сводят с шулерами, и начинается вербовка в игорные дома.

За час до начала скачек кофейная пустеет — все на ипподроме, кроме случайной, пришлой публики. «Играющие» уже больше не появляются: с ипподрома — в клубы, в игорные дома их путь.

«Играющие» тогда уже стало обычным словом, чуть ли не характеризующим сословие, цех, дающий, так сказать, право жительства в Москве. То и дело полиции при арестах приходилось довольствоваться ответами на вопрос о роде занятий одним словом: «играющий».

Вот дословный разговор в участке при допросе весьма солидного франта:

— Ваше занятие?

— Играющий.

— Не понимаю! Я спрашиваю вас, чем вы добываете средства для жизни?

— Играющий я! Добываю средства игрой в тотализатор, в императорских скаковом и беговом обществах, картами, как сами знаете, выпускаемыми императорским воспитательным домом… Играю в игры, разрешенные правительством…

И, отпущенный, прямо шел к Филиппову пить свой утренний кофе.

Но доступ в кофейную имели не все. На стенах пестрели вывески: «Собак не водить» и «Нижним чинам вход воспрещается».

Вспоминается один случай. Как-то незадолго до японской войны у окна сидел с барышней ученик военно-фельдшерской школы, погоны которого можно было принять за офицерские. Дальше, у другого окна, сидел, углубись в чтение журнала, старик. Он был в прорезиненной, застегнутой у ворота накидке. Входит, гремя саблей, юный гусарский офицер с дамой под ручку. На даме шляпа величиной чуть не с аэроплан. Сбросив швейцару пальто, офицер идет и не находит места: все столы заняты… Вдруг взгляд его падает на юношу-военного. Офицер быстро подходит и становится перед ним. Последний встает перед начальством, а дама офицера, чувствуя себя в полном праве, садится на его место.

— Потрудитесь оставить кофейную, видите, что написано? — указывает офицер на вывеску.

Но не успел офицер опустить свой перст, указывающий на вывеску, как вдруг раздается голос:

— Корнет, пожалуйте сюда!

Публика смотрит. Вместо скромного в накидке старика за столиком сидел величественный генерал Драгомиров, профессор Военной академии.

Корнет бросил свою даму и вытянулся перед генералом.

— Потрудитесь оставить кофейную, вы должны были занять место только с моего разрешения. А нижнему чину разрешил я. Идите!

Сконфуженный корнет, подобрав саблю, заторопился к выходу. А юноша-военный занял свое место у огромного окна с зеркальным стеклом.

Года через два, а именно 25 сентября 1905 года, это зеркальное стекло разлетелось вдребезги. То, что случилось здесь в этот день, поразило Москву.

Это было первое революционное выступление рабочих и первая ружейная перестрелка в центре столицы, да еще рядом с генерал-губернаторским домом!

С половины сентября пятого года Москва уже была очень неспокойна, шли забастовки. Требования рабочих становились все решительнее.

В субботу, 24 сентября, к Д. И. Филиппову явилась депутация от рабочих и заявила, что

с воскресенья они порешили забастовать.

Часов около девяти утра, как всегда в праздник, рабочие стояли кучками около ворот. Все было тихо. Вдруг около одиннадцати часов совершенно неожиданно вошел через парадную лестницу с Глинищевского переулка взвод городовых с обнаженными шашками. Они быстро пробежали через бухгалтерию на черный ход и появились на дворе. Рабочие закричали:

— Вон полицию!

Произошла свалка. Из фабричного корпуса бросали бутылками и кирпичами. Полицейских прогнали.

Всё успокоилось. Вдруг у дома появился полицмейстер в сопровождении жандармов и казаков, которые спешились в Глинищевском переулке и совершенно неожиданно дали два залпа в верхние этажи пятиэтажного дома, выходящего в переулок и заселенного частными квартирами. Фабричный же корпус, из окон которого кидали кирпичами, а по сообщению городовых, даже стреляли (что и заставило их перед этим бежать), находился внутри двора.

Летели стекла… Сыпалась штукатурка… Мирные обыватели — квартиранты метались в ужасе. Полицмейстер ввел роту солдат в кофейную» потребовал топоры и ломы — разбивать баррикады, которых не было, затем повел солдат во двор и приказал созвать к нему всех рабочих, предупредив, что, если они не явятся, он будет стрелять. По мастерским были посланы полиция и солдаты, из столовой забрали обедавших, из спален — отдыхавших. На двор согнали рабочих, мальчиков, дворников и метельщиков, но полиция не верила удостоверениям старших служащих, что все вышли, и приказала стрелять в окна седьмого этажа фабричного корпуса…

Около двухсот рабочих вывели окруженными конвоем и повели в Гнездниковский переулок, где находились охранное отделение и ворота в огромный двор дома градоначальника.

Около четырех часов дня в сопровождении полицейского в контору Филиппова явились три подростка-рабочих, израненные, с забинтованными головами, а за ними стали приходить еще и еще рабочие и рассказывали, что во время пути под конвоем и во дворе дома градоначальника их били. Некоторых избитых даже увезли в каретах скорой помощи в больницы.

Испуганные небывалым происшествием, москвичи толпились на углу Леонтьевского переулка, отгороженные от Тверской цепью полицейских. На углу против булочной Филиппова, на ступеньках крыльца у запертой двери бывшей парикмахерской Леона Эмбо, стояла кучка любопытных, которым податься было некуда: в переулке давка, а на Тверской — полиция и войска. На верхней ступеньке, у самой двери невольно обращал на себя внимание полным спокойствием красивый брюнет с большими седеющими усами.

Это был Жюль. При взгляде на него приходили на память строчки Некрасова из поэмы «Русские женщины»:

Народ галдел, народ зевал,
Едва ли сотый понимал,
Что делается тут…
Зато посмеивался в ус,
Лукаво щуря взор,
Знакомый с бурями француз,
Столичный куафер.

Жюль — парижанин, помнивший бои Парижской коммуны, служил главным мастером у Леона Эмбо, который был «придворным» парикмахером князя В. А. Долгорукова.

Леон Эмбо, французик небольшого роста с пушистыми, холеными усами, всегда щегольски одетый по последней парижской моде. Он ежедневно подтягивал князю морщины, прилаживал паричок на совершенно лысую голову и подклеивал волосок к

волоску, завивая колечком усики молодившегося старика.

Во время сеанса он тешил князя, болтая без умолку обо всем, передавая все столичные сплетни, и в то же время успевал проводить разные крупные дела, почему и слыл влиятельным человеком в Москве. Через него многого можно было добиться у всемогущего хозяина столицы, любившего своего парикмахера.

Во время поездок Эмбо за границу его заменяли или Орлов, или Розанов. Они тоже пользовались благоволением старого князя и тоже не упускали своего. Их парикмахерская была напротив дома генерал-губернатора, под гостиницей «Дрезден», и в числе мастеров тоже были французы, тогда модные в Москве.

Половина лучших столичных парикмахерских принадлежала французам, и эти парикмахерские были учебными заведениями для купеческих саврасов.

Западная культура у нас с давних времен прививалась только наружно, через парикмахеров и модных портных. И старается «французик из Бордо» около какого-нибудь Лёньки или Серёньки с Таганки, и так-то вокруг него извивается, и так-то наклоняется, мелким барашком завивает и орет:

— Мал-шик!.. Шипси!..

Пока вихрастый мальчик подает горячие щипцы, Лёнька и Серёнька, облитые одеколоном и вежеталем, ковыряют в носу, и оба в один голос просят:

— Ты меня уж так причеши таперича, чтобы без тятеньки выходило а-ля-капуль, а при тятеньке по-русски.

Здесь они перенимали у мастеров манеры, прически и учились хорошему тону, чтобы прельщать затем замоскворецких невест и щеголять перед яровскими певицами…

Обставлены первосортные парикмахерские были по образцу лучших парижских. Все сделано по-заграничному, из лучшего материала. Парфюмерия из Лондона и Парижа… Модные журналы экстренно из Парижа… В дамских залах — великие художники по прическам, люди творческой куаферской фантазии, знатоки стилей, психологии и разговорщики.

В будуарах модных дам, молодящихся купчих и невест-миллионерш они нередко поверенные всех их тайн, которые умеют хранить…

Они друзья с домовой прислугой — она выкладывает им все сплетни про своих хозяев… Они знают все новости и всю подноготную своих клиентов и умеют учесть, что кому рассказать можно, с кем и как себя вести… Весьма наблюдательны и даже остроумны…

Один из них, как и все, начавший карьеру с подавания щипцов, доставил в одну из редакций свой дневник, и в нем были такие своеобразные перлы: будуар, например, он называл «блудуар».

А в слове «невеста» он «не» всегда писал отдельно. Когда ему указали на эти грамматические ошибки, он сказал:

— Так вернее будет.

В этом дневнике, кстати сказать, попавшем в редакционную корзину, был описан первый «электрический» бал в Москве. Это было в половине восьмидесятых годов. Первое электрическое освещение провели в купеческий дом к молодой вдове-миллионерше, и первый бал с электрическим освещением был назначен у нее.

Роскошный дворец со множеством комнат и всевозможных уютных уголков сверкал разноцветными лампами. Только танцевальный зал был освещен ярким белым светом. Собралась вся прожигающая жизнь Москва, от дворянства до купечества.

Автор дневника присутствовал на балу, конечно, у своих друзей, прислуги, загримировав перед балом в «блудуаре» хозяйку дома применительно к новому освещению.

Она была великолепна, но зато все московские щеголихи в бриллиантах при новом, электрическом свете танцевального зала показались скверно раскрашенными куклами: они привыкли к газовым рожкам и лампам. Красавица хозяйка дома была только одна с живым цветом лица.

Танцевали вплоть до ужина, который готовил сам знаменитый Мариус из «Эрмитажа».

При лиловом свете столовой мореного дуба все лица стали мертвыми, и гости старались искусственно вызвать румянец обильным возлиянием дорогих вин.

Как бы то ни было, а ужин был весел, шумен, пьян — и… вдруг потухло электричество!

Минут через десять снова загорелось… Скандал! Кто под стол лезет… Кто из-под стола вылезает… Во всех позах осветило… А дамы!

— До сих пор одна из них, — рассказывал мне автор дневника и очевидец, — она уж и тогда-то не молода была, теперь совсем старуха, я ей накладку каждое воскресенье делаю, — каждый раз в своем блудуаре со смехом про этот вечер говорит… «Да уж забыть пора», — как-то заметил я ей. «И што ты… Про хорошее лишний раз вспомнить приятно!».

Модные парикмахерские засверкали парижским шиком в шестидесятых, годах, когда после падения крепостного права помещики прожигали на все манеры полученные за землю и живых людей выкупные. Москва шиковала вовсю, и налезли парикмахеры-французы из Парижа, а за ними офранцузились и русские, и какой-нибудь цирюльник Елизар Баранов на Ямской не успел еще переменить вывески: «Цырюльня. Здесь ставят пиявки, отворяют кровь, стригут и бреют Баранов», а уж тоже козлиную бородку отпустил и тоже кричит, завивая приказчика из Ножевой линии:

— Мальшик, шипси! Шевелись, дьявол!

И все довольны.

Еще задолго до этого времени первым блеснул парижский парикмахер Гивартовский на Моховой. За ним Глазов на Пречистенке, скоро разбогатевший от клиентов своего дворянского района Москвы. Он нажил десяток домов, почему и переулок назвали Глазовским.

Лучше же всех считался Агапов в Газетном переулке, рядом с церковью Успения. Ни раньше, ни после такого не было. Около дома его в дни больших балов не проехать по переулку: кареты в два ряда, два конных жандарма порядок блюдут и кучеров вызывают.

Агапов всем французам поперек горла встал: девять дамских самых первоклассных мастеров каждый день объезжали по пятнадцати — двадцати домов. Клиенты Агапова были только родовитые дворяне, князья, графы.

В шестидесятых годах носили шиньоны, накладные косы и локоны, «презенты» из вьющихся волос.

Расцвет парикмахерского дела начался с восьмидесятых годов, когда пошли прически с фальшивыми волосами, передними накладками, затем «трансформатионы» из вьющихся волос кругом головы, — все это из лучших, настоящих волос.

Тогда волосы шли русские, лучше принимавшие окраску, и самые дорогие — французские. Денег не жалели. Добывать волосы ездили по деревням «резчики», которые скупали косы у крестьянок за ленты, платки, бусы, кольца, серьги и прочую копеечную дрянь.

Прически были разных стилей, самая модная: «Екатерина II» и «Людовики» XV и XVI.

После убийства Александра II, с марта 1881 года, все московское дворянство носило год траур и парикмахеры на них не работали. Барские прически стали носить только купчихи, для которых траура не было. Барских парикмахеров за это время съел траур. А с 1885 года французы окончательно стали добивать русских мастеров, особенно Теодор, вошедший в моду и широко развивший дело…

Но все-таки, как ни блестящи были французы, русские парикмахеры Агапов и Андреев (последний с 1880 года) занимали, как художники своего искусства, первые места. Андреев даже получил в Париже звание профессора куафюры, ряд наград и почетных дипломов.

Славился еще в Газетном переулке парикмахер Базиль. Так и думали все, что он был француз, на самом же деле это был почтенный москвич Василий Иванович Яковлев.

Модные парикмахеры тогда очень хорошо зарабатывали: таксы никакой не было.

— Стригут и бреют и карманы греют! — острили тогда про французских

парикмахеров.

Конец этому положил Артемьев, открывший обширный мужской зал на Страстном бульваре и опубликовавший: «Бритье 10 копеек с одеколоном и вежеталем. На чай мастера не берут». И средняя публика переполняла его парикмахерскую, при которой он также открыл «депо пиявок».

До того времени было в Москве единственное «депо пиявок», более полвека помещавшееся в маленьком сереньком домике, приютившемся к стене Страстного монастыря. На окнах стояли на утеху гуляющих детей огромные аквариумы с пиявками разных размеров. Пиявки получались откуда-то с юга и в «депо» приобретались для больниц, фельдшеров и захолустных окраинных цирюлен, где еще парикмахеры ставили пиявки. «Депо» принадлежало Молодцовым, из семьи которых вышел известный тенор шестидесятых и семидесятых годов П. А. Молодцов, лучший Торопка того времени. В этой роли он удачно дебютировал в Большом театре, но ушел оттуда, поссорившись с чиновниками, и перешел в провинцию, где пользовался огромным успехом.

— Отчего же ты, Петрушка, ушел из императорских театров да Москву на Тамбов сменял? — спрашивали его друзья.

— От пиявок! — отвечал он.

Были великие искусники создавать дамские прически, но не менее великие искусники были и мужские парикмахеры. Особенным умением подстригать усы славился Липунцов на Большой Никитской, после него Лягин и тогда еще совсем молодой, его мастер, Николай Андреевич.

Лягина всегда посещали старые актеры, а Далматов называл его «мой друг».

В 1879 году мальчиком в Пензе при театральном парикмахере Шишкове был ученик, маленький Митя. Это был любимец пензенского антрепренера В. П. Далматова, который единственно ему позволял прикасаться к своим волосам и учил его гриму. Раз В. П. Далматов в свой бенефис поставил «Записки сумасшедшего» и приказал

Мите приготовить лысый парик. Тот принес на спектакль мокрый бычий пузырь и начал напяливать на выхоленную прическу Далматова… На крик актера в уборную сбежались артисты.

— Вы великий артист, Василий Пантелеймонович, но позвольте и мне быть артистом своего дела! — задрав голову на высокого В. П. Далматова, оправдывался мальчуган. — Только примерьте!

В. П. Далматов наконец согласился — и через несколько минут пузырь был напялен, кое-где подмазан, и глаза В. П. Далматова сияли от удовольствия: совершенно голый череп при его черных глазах и выразительном гриме производил сильное впечатление.

И сейчас еще работает в Москве восьмидесятилетний старик, чисто выбритый и бодрый.

— Я все видел — и горе и славу, но я всегда работал, работаю и теперь, насколько хватает сил, — говорит он своим клиентам.

— Я крепостной, Калужской губернии. Когда в 1861 году нам дали волю, я ушел в Москву — дома есть было нечего; попал к земляку дворнику, который определил меня к цирюльнику Артемову, на Сретенке в доме Малюшина. Спал я на полу, одевался рваной шубенкой, полено в головах. Зимой в цирюльне было холодно. Стричься к нам ходил народ с Сухаревки. В пять часов утра хозяйка будила идти за водой на бассейн или на Сухаревку, или на Трубу. Зимой с ушатом на санках, а летом с ведрами на коромысле… Обувь — старые хозяйские сапожишки. Поставишь самовар… Сапоги хозяину вычистишь. Из колодца воды мыть посуду принесешь с соседнего двора.

Хозяева вставали в семь часов пить чай. Оба злые. Хозяин чахоточный. Били чем попало и за все, — все не так. Пороли розгами, привязавши к скамье. Раз после розог два месяца в больнице лежал — загноилась спина… Раз выкинули зимой на улицу и дверь заперли. Три месяца в больнице в горячке лежал…

С десяти утра садился за работу — делать парики, вшивая по одному волосу: в день

был урок сделать в три пробора 30 полос. Один раз заснул за работой, прорвал пробор и жестоко был выдран. Был у нас мастер, пьяный тоже меня бил. Раз я его с хозяйской запиской водил в квартал, где его по этой записке выпороли. Тогда такие законы были — пороть в полиции по записке хозяина. Девять лет я отбыл у него, получил звание подмастерья и поступил по контракту к Агапову на шесть лет мастером, а там открыл свою парикмахерскую, а потом в Париже получил звание профессора.

Это и был Иван Андреевич Андреев.

В 1888 и в 1900 годах он участвовал в Париже на конкурсе французских парикмахеров и получил за прически ряд наград и почетный диплом на звание действительного заслуженного профессора парикмахерского искусства.

В 1910 году он издал книгу с сотней иллюстраций, которые увековечили прически за последние полвека.

Два кружка

Московский артистический кружок был основан в шестидесятых годах и окончил свое существование в начале восьмидесятых годов. Кружок занимал весь огромный бельэтаж бывшего голицынского дворца, купленного в сороковых годах купцом Бронниковым. Кружку принадлежал ряд зал и гостиных, которые образовывали круг с огромными окнами на Большую Дмитровку с одной стороны, на Театральную площадь — с другой, а окна белого голицынского зала выходили на Охотный ряд.

Противоположную часть дома тогда занимали сцена и зрительный зал, значительно перестроенные после пожара в начале этого столетия.

Круг роскошных, соединенных между собой зал и гостиных замыкал несколько мелких служебных комнат без окон, представлявших собой островок, замаскированный наглухо стенами, вокруг которого располагалось круглое фойе. Любимым местом гуляющей по фойе публики всегда был белый зал с мягкой мебелью и уютными уголками.

Великим постом это фойе переполнялось совершенно особой публикой — провинциальными актерами, съезжавшимися для заключения условий с антрепренерами на предстоящий сезон.

По блестящему паркету разгуливали в вычурных костюмах и первые «персонажи», и очень бедно одетые маленькие актеры, хористы и хористки. Они мешались в толпе с корифеями столичных и провинциальных сцен и важными, с золотыми цепями, в перстнях антрепренерами, приехавшими составлять труппы для городов и городишек.

Тут были косматые трагики с громоподобным голосом и беззаботные будто бы, а на самом деле себе на уме комики — «Аркашки» в тетушкиных кацавейках и в сапогах без подошв, утраченных в хождениях «из Вологды в Керчь и из Керчи в Вологду». И все это шумело, гудело, целовалось, обнималось, спорило и голосило.

Великие не очень важничали, маленькие не раболепствовали. Здесь все чувствовали себя запросто: Гамлет и могильщик, Пиккилы и Ахиллы, Мария Стюарт и слесарша Пошлепкина. Вспоминали былые сезоны в Пин-ске, Минске, Хвалынске и Иркутске.

Все актеры и актрисы имели бесплатный вход в Кружок, который был для них необходимостью: это было единственное место для встреч их с антрепренерами.

Из года в год актерство помещалось в излюбленных своих гостиницах и меблирашках, где им очищали места содержатели, предупрежденные письмами, хотя в те времена и это было лишнее: свободных номеров везде было достаточно, а особенно в таких больших гостиницах, как «Челыши».

Теперь на месте «Челышей» высится огромное здание гостиницы «Метрополь», с ее разноцветными фресками и «Принцессой Грезой» Врубеля, помогавшего вместе с архитектором Шехтелем строителю «Метрополя» С. И. Мамонтову.

А в конце прошлого столетия здесь стоял старинный домище Челышева с множеством номеров на всякие цены, переполненных великим постом съезжавшимися в Москву

актерами. В «Челышах» останавливались и знаменитости, занимавшие номера бельэтажа с огромными окнами, коврами и тяжелыми гардинами, и средняя актерская братия — в верхних этажах с отдельным входом с площади, с узкими, кривыми, темными коридорами, насквозь пропахшими керосином и кухней.

Во второй половине поста многие переезжали из бельэтажа наверх… подешевле.

Вторым актерским пристанищем были номера Голяшкина, потом — Фальцвейна, на углу Тверской и Газетного переулка. Недалеко от них, по Газетному и Долгоруковскому переулкам, помещались номера «Принц», «Кавказ» и другие. Теперь уже и домов этих нет, на их месте стоит здание телеграфа.

Не менее излюбленным местом были «Черныши», в доме Олсуфьева, против Брюсовского переулка.

Были еще актерские номера на Большой Дмитровке, на Петровке, были номера при Китайских банях, на Неглинном, довольно грязные, а самыми дешевыми были меблирашки «Семеновка» на Сретенском бульваре, где в 1896 году выстроен огромный дом страхового общества «Россия».

В «Семеновку» пускали жильцов с собаками. Сюда главным образом приезжали из провинции комические старухи на великий пост.

Начиная от «Челышей» и кончая «Семеновкой», с первой недели поста актеры жили весело. У них водились водочка, пиво, самовары, были шумные беседы… Начиная с четвертой — начинало стихать. Номера постепенно освобождались: кто уезжал в провинцию, получив место, кто соединялся с товарищем в один номер. Начинали коптить керосинки: кто прежде обедал в ресторане, стал варить кушанье дома, особенно семейные.

Керосинка не раз решала судьбу людей. Скажем, у актрисы А. есть керосинка. Актер Б., из соседнего номера, прожился, обедая в ресторане. Случайный разговор в коридоре, разрешение изжарить кусок мяса на керосинке… Раз, другой…

— А я тоже собираюсь купить керосинку! Уж очень удобно! — говорит актер Б.

— Да зачем же, когда у меня есть! — отвечает актриса А.

Проходит несколько дней.

— Ну, что зря за номер платить! Переноси свою керосинку ко мне… У меня комната побольше!

И счастливый брак на «экономической» почве состоялся.

Актеры могли еще видеться с антрепренерами в театральных ресторанах: «Щербаки» на углу Кузнецкого переулка и Петровки, «Ливорно» в Кузнецком переулке и «Вельде» за Большим театром; только для актрис, кроме Кружка, другого места не было. Здесь они встречались с антрепренерами, с товарищами по сцене, могли получить контрамарку в театр и повидать воочию своих драматургов: Островского, Чаева, Потехина, Юрьева, а также многих других писателей, которых знали только по произведениям, и встретить знаменитых столичных актеров: Самарина, Шуйского, Садовского, Ленского, Музиля, Горбунова, Киреева. Провинциальные актеры имели возможность и дебютировать в пьесах, ставившихся на сцене Кружка — единственном месте, где разрешалось играть великим постом. Кружок умело обошел закон, запрещавший спектакли во время великого поста, в кануны праздников и по субботам. Кружок ставил — с разрешения генерал-губернатора князя Долгорукова, воображавшего себя удельным князем и не подчинявшегося Петербургу, — спектакли и постом, и по субботам, но с тем только, чтобы на афишах стояло: «сцены из трагедии «Макбет», «сцены из комедии «Ревизор» или «сцены из оперетты «Елена Прекрасная», хотя пьесы шли целиком.

Литературно-художественный кружок основался совершенно случайно в немецком ресторане «Альпийская роза» на Софийке.

Вход в ресторан был строгий: лестница в коврах, обставленная тропическими растениями, внизу швейцары, и ходили сюда завтракать из своих контор главным образом московские немцы. После спектаклей здесь собирались артисты Большого и Малого театров и усаживались в двух небольших кабинетах. В одном из них председательствовал певец А.

И. Барцал, а в другом — литератор, историк театра В. А. Михайловский — оба бывшие посетители закрывшегося Артистического кружка.

Как-то в память этого объединявшего артистический мир учреждения В. А. Михайловский предложил устраивать время от времени артистические ужины, а для начала в ближайшую субботу собраться в Большой Московской гостинице. Мысль эта была подхвачена единодушно, и собралось десятка два артистов с семьями. Весело провели время, пели, танцевали под рояль. Записались тут же на следующий вечер, и набралось желающих так много, что пришлось в этой же гостинице занять большой зал… На этом вечере был весь цвет Малого и Большого театров, литераторы и музыканты. Читала М. Н. Ермолова, пел Хохлов, играл виолончелист Брандуков. Программа вышла богатая. И весной 1898 года состоялось в ресторане «Эрмитаж» учредительное собрание, выработан был устав, а в октябре 1899 года, в год столетия рождения Пушкина, открылся Литературно-художественный кружок в доме графини Игнатьевой, на Воздвиженке.

Роскошные гостиные, мягкая мебель, отдельные столики, уголки с трельяжами, камины, ковры, концертный рояль… Уютно, интимно… Эта интимность Кружка и была привлекательна. Приходили сюда отдыхать, набираться сил и вдохновения, обменяться впечатлениями и переживать счастливые минуты, слушая и созерцая таланты в этой непохожей на клубную обстановке. Здесь каждый участвующий не знал за минуту, что он будет выступать. Под впечатлением общего настроения, наэлектризованный предыдущим исполнителем, поднимался кто-нибудь из присутствовавших и читал или монолог, или стихи из-за своего столика, а если певец или музыкант — подходил к роялю. Молодой еще, застенчивый и скромный, пробирался аккуратненько между столиками Шаляпин, и его бархатный молодой бас гремел:

Люди гибнут за металл…

Потом чаровал нежный тенор Собинова. А за ними вставали другие, великие тех дней. Звучала музыка известных тогда музыкантов… Скрябин, Игумнов, Корещенко….

От музыки Корещенки
Подохли на дворе щенки, —

сострил раз кто-то, но это не мешало всем восторгаться талантом юного композитора-пианиста.

Все больше и больше собиралось посетителей, больше становилось членов клуба. Это был единственный тогда клуб, где членами были и дамы. От наплыва гостей и новых членов тесно стало в игнатьевских залах.

Отыскали новое помещение, на Мясницкой. Это красивый дом на углу Фуркасовского переулка. Еще при Петре I принадлежал он Касимовскому царевичу, потом Долгорукову, умершему в 1734 году в Березове в ссылке, затем Черткову, пожертвовавшему свою знаменитую библиотеку городу, и в конце концов купчиха Обидина купила его у князя Гагарина, наследника Чертковых, и сдала его под Кружок.

Помещение дорогое, расходы огромные, но число членов росло не по дням, а по часам. Для поступления в действительные члены явился новый термин: «общественный деятель». Это было очень почтенно и модно и даже иногда заменяло все. В баллотировочной таблице стояло: «…такой-то, общественный деятель», — и выборы обеспечены. В члены-соревнователи выбирали совсем просто, без всякого стажа.

Но членских взносов оказалось мало. Пришлось организовать карточную игру с запрещенной «железкой». Члены Охотничьего клуба, избранные и сюда, сумели организовать крупную игру, и штрафы с засидевшихся за «железкой» игроков пополняли кассу. Штрафы были такие: в 2 часа ночи — 30 копеек, в 2 часа 30 минут — 90 копеек, то есть удвоенная сумма плюс основная, в 3 часа — 2 рубля 10 копеек, в 3 часа 30 минут — 4

рубля 50 копеек, в 4 часа — 9 рублей 30 копеек, в 5 часов — 18 рублей 60 копеек, а затем Кружок в 6 часов утра закрывался, и игроки должны были оставлять помещение, но нередко игра продолжалась и днем, и снова до вечера…

Игра была запрещенная, полиция следила за клубом, и были случаи, что составлялся протокол, и «железка» закрывалась.

Тут поднимались хлопоты о разрешении, даже печатались статьи в защиту клубной игры, подавались слезницы генерал-губернатору, где доказывалось, что игра не вред, а чуть ли не благодеяние, и опять играли до нового протокола.

Тесно стало помещение, да и карточные комнаты были слишком на виду.

В это время Елисеев в своем «дворце Бахуса» отделал роскошное помещение с лепными потолками и сдал его Кружку. Тут были и удобные, сокровенные комнаты для «железки», и залы для исполнительных собраний, концертов, вечеров.

Кружок сделался самым модным буржуазным клубом, и помещение у Елисеева опять стало тесно. Выработан был план, по которому отделали на Большой Дмитровке старинный барский особняк. В бельэтаже — огромный двухсветный зал для заседаний, юбилеев, спектаклей, торжественных обедов, ужинов и вторничных «собеседований». Когда зал этот освобождался к двум часам ночи, стулья перед сценой убирались, вкатывался десяток круглых столов для «железки», и шел открытый азарт вовсю, переносившийся из разных столовых, гостиных и специальных карточных комнат. Когда зал был занят, игра происходила в разных помещениях. Каких только комнат не было здесь во всех трех этажах! Запасная столовая, мраморная столовая, зеркальная столовая, верхний большой зал, верхняя гостиная, нижняя гостиная, читальня, библиотека (надо заметить, прекрасная) и портретная, она же директорская. Внизу бильярдная, а затем, когда и это помещение стало тесно, был отделан в левом крыле дома специально картежный зал — «азартный». Летняя столовая была в небольшом тенистом садике, с огромным каштаном и цветочными клумбами, среди которых сверкали электричеством вычурные павильончики-беседки для ужинающих веселыми компаниями, а во всю длину сада тянулась широкая терраса, пристроенная к зданию клуба в виде огромного балкона. Здесь у каждой компании был свой излюбленный стол.

Едва ли где-нибудь в столице был еще такой тихий и уютный уголок на чистом воздухе, среди зелени и благоухающих цветов, хотя тишина и благоухание иногда нарушались беспокойным соседом — двором и зданиями Тверской полицейской части, отделенной от садика низенькой стеной.

Выше векового каштана стояла каланча, с которой часовой иногда давал тревожные звонки о пожаре, после чего следовали шум и грохот выезжающей пожарной команды, чаще слышалась нецензурная ругань пьяных, приводимых в «кутузку», а иногда вопли и дикие крики упорных буянов, отбивающих покушение полицейских на их свободу…

Иногда благоухание цветов прорывала струйка из навозных куч около конюшен, от развешанного мокрого платья пожарных, а также из всегда открытых окон морга, никогда почти не пустовавшего от «неизвестно кому принадлежащих трупов», поднятых на улицах жертв преступлений, ожидающих судебно-медицинского вскрытия. Морг возвышался рядом со стенкой сада… Но к этому все так привыкли, что и внимания не обращали.

Только раз как-то за столом «общественных деятелей» один из них, выбирая по карточке вина, остановился на напечатанном на ней портрете Пушкина и с возмущением заметил:

— При чем здесь Пушкин? Это профанация!

— Пушкин всегда и при всем. Это великий пророк… Помните его слова, относящиеся и ко мне, и к вам, и ко многим здесь сидящим… Разве не о нас он сказал:

И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Говорившего дополнил сосед-весельчак:

— Уж там запишут или не запишут ваши имена, а вот что Пушкин верно сказал, так это:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,

И указал одной рукой на морг, а другой — на соседний стол, занятый картежниками, шумно спорившими.

Этот разговор происходил в августе 1917 года, когда такие клубы, действительно, были уже «у гробового входа».

Через месяц Кружок закрылся навсегда.

Когда новое помещение для азартной игры освободило большой двухсветный зал, в него были перенесены из верхних столовых ужины в свободные от собраний вечера. Здесь ужинали группами, и каждая имела свой стол. Особым почетом пользовался длинный стол, накрытый на двадцать приборов. Стол этот назывался «пивным», так как пиво было любимым напитком членов стола и на нем ставился бочонок с пивом. Кроме этого, стол имел еще два названия: «профессорский» и «директорский».

Завсегдатаи стола являлись после десяти часов и садились закусывать.

Одни ужинали, другие играли в скромные винт и преферанс, третьи проигрывались в «железку» и штрафами покрывали огромные расходы Кружка.

Когда предреволюционная температура 1905 года стала быстро подниматься, это отразилось и в Кружке ярче, чем где-нибудь.

С эстрады стало говориться то, о чем еще накануне молчали. Допущена была какая-то свобода действия и речей.

Все было разрешено, или, лучше сказать, ничего не запрещалось.

С наступлением реакции эстрада смолкла, а разврат усилился. Правительство боялось только революционеров, а все остальное поощряло: разрешало шулерские притоны, частные клубы, разгул, маскарады, развращающую литературу, — только бы политикой не пахло.

Допустили широчайший азарт и во всех старых клубах.

Отдельно стоял только неизменный Английский клуб, да и там азартные игры процветали, как прежде. Туда власти не смели сунуть носа, равно как и дамы.

В Купеческом клубе жрали аршинных стерлядей на обедах. В Охотничьем — разодетые дамы «кушали деликатесы», интриговали на маскарадах, в карточные их не пускали. В Немецком — на маскарадах, в «убогой роскоши наряда», в трепаных домино, «замарьяживали» с бульвара пьяных гостей, а шулера обыгрывали их в карточных залах.

Огромный двухсветный зал. Десяток круглых столов, по десяти и двенадцати игроков сидят за каждым, окруженные кольцом стоящих, которые ставят против банка со стороны. Публика самая разнообразная. За «рублевыми» столами — шумливая публика, споры,

— Вы у меня рубль отсюда стащили!

— Нет, вы у меня сперли! — Дежурный!

— Кто украл? У вас украли или вы украли?

За «золотыми» столами, где ставка не меньше пяти рублей, публика более «серьезная», а за «бумажным», с «пулькой» в двадцать пять рублей, уже совсем «солидная».

На дамах бриллианты, из золотых сумочек они выбрасывают пачки кредиток… Тут же сидят их кавалеры, принимающие со стороны участие в их игре или с нетерпением ожидающие, когда дама проиграется, чтобы увезти ее из клуба…

Много таких дам в бриллиантах появилось в Кружке после японской войны. Их звали «интендантскими дамами». Они швырялись тысячами рублей, особенно «туровала» одна блондинка, которую все называли «графиней». Она была залита бриллиантами. Как-то скоро она сошла на нет — сперва слиняли бриллианты, а там и сама исчезла. Ее потом встречали на тротуаре около Сандуновских бань…

Самая крупная игра — «сотенный» стол, где меньшая ставка сто рублей, — велась в одной из комнат вверху или внизу.

Иногда кроме сотенной «железки» в этой комнате играли в баккара.

Раз игра в баккара дошла до невиданных размеров. Были ставки по пяти и десяти тысяч. Развели эту игру два восточных красавца с довольно зверскими лицами, в черкесках дорогого сукна, в золотых поясах, с кинжалами, сверкавшими крупными драгоценными камнями. Кем записаны они были в первый раз — неизвестно, но в первый же день они поразили таким размахом игры, что в следующие дни этих двух братьев — князей Шаховых — все записывали охотно. Они держали ответственный банк в баккара без отказа, выложив в обеспечение ставок пачки новеньких крупных кредиток на десятки тысяч. За ними увивались «арапы».

Ежедневно все игроки с нетерпением ждали прихода князей: без них игра не клеилась. Когда они появлялись, стол оживал. С неделю они ходили ежедневно, проиграли больше ста тысяч, как говорится, не моргнув глазом — и вдруг в один вечер не явились совсем (их уже было решено провести в члены-соревнователи Кружка).

— Где же азиаты? — волновались игроки.

— Напрасно ждете. Их вы не увидите, — заявил вошедший в комнату репортер одной газеты.

— ???

Молчаливое удивление.

— Сегодня сообщили в редакцию, что они арестованы. Я ездил проверить известие: оба эти князя никакие не князья, они оказались атаманами шайки бандитов, и деньги, которые проигрывали, они привезли с последнего разбоя в Туркестане. Они напали на почту, шайка их перебила конвой, а они собственноручно зарезали почтовых чиновников, взяли ценности и триста тысяч новенькими бумажками, пересылавшимися в казначейство. Оба они отправлены в Ташкент, где их ждет виселица.

Скажут:

— Почему автор этой книги открывает только дурные стороны клубов, а не описывает подробно их полезную общественную и просветительную деятельность?

И автор на это смело ответит:

— Потому, что для нашего читателя интереснее та сторона жизни, которая даже во времена существования

клубов была покрыта тайной, скрывавшей те истинные источники средств, на которые строилась «общественная деятельность» этих клубов.

О последней так много писалось тогда и, вероятно, еще будет писаться в мемуарах современников, которые знали только одну казовую сторону: исполнительные собрания с участием знаменитостей, симфонические вечера, литературные собеседования, юбилеи писателей и артистов с крупными именами, о которых будут со временем писать… В связи с ними будут, конечно, упоминать и Литературно-художественный кружок, насчитывавший более 700 членов и 54 875 посещений в год.

Еще найдутся кое у кого номера журнала «Известия Кружка» и толстые, отпечатанные на веленевой бумаге с портретом Пушкина отчеты.

В них, к сожалению, ни слова о быте, о типах игроков, за счет азарта которых жил и пировал клуб.

Охотничий клуб

Дом Малкиеля, где был театр Бренко, перешел к миллионеру Спиридонову, который сдал его под Охотничий клуб.

Этот клуб зародился в трактирчике-низке на Неглинном проезде, рядом с Трубной площадью, где по воскресеньям бывал собачий рынок и птичий базар. Трактир так и звали: «Собачий рынок».

Охотники и любители птиц наполняли площадь, где стояли корзины с курами, голубями, индюками, гусями. На подставках висели клетки со всевозможными певчими птицами. Тут же продавались корм для птиц, рыболовные принадлежности, удочки, аквариумы с дешевыми золотыми рыбками и всех пород голуби.

Большой угол занимал собачий рынок. Каких-каких собак здесь не было! И борзые, и хортые, и псовые, и гончары всех сортов, и доги, и бульдоги, и всякая мохнатая и голая мелкота за пазухами у продавцов. Здесь работали собачьи воры.

И около каждой собачьей породы была своя публика. Вокруг мохнатых болонок и голых левреток, вечно дрожавших, как осиновый лист, суетятся франты, дамские угодники, высматривающие подарок для дамы сердца. Около сеттеров, легашей и пегих гончих — солидные члены богатых обществ, ружейные охотники. Возле дворняг и всяких ублюдков на веревках, без ошейников — огородники и домовладельцы с окраины, высматривающие цепного сторожа. Оборванцы, только что поймавшие собаку, тащили ее на рынок. Между ними бывали тоже особенные специалисты.

Так года два подряд каждое воскресенье мальчуган приводил на веревке красивую и ласковую рыжую собаку по кличке Цезарь, дворняжку, которая жила на извозчичьем дворе-трактире в Столешниковом переулке, и продавал ее. На другой день собака с перегрызенной веревкой уже была дома и ждала следующего воскресенья. Бывало, что собаку признавали купцы, но доказать было нельзя, и Цезарь снова продавался.

Яркой группой были борзятники, окружавшие своры борзых собак, псовых, хортых и паратых гончих; доезжачие в чекменях и поддевках с чеканными поясами, с охотничьим рогом через плечо, с арапником и лихо заломленными шапками.

По одному виду можно было понять, что каждому из них ничего не стоит остановить коня на полном карьере, прямо с седла ринуться на матерого волка, задержанного на лету доспевшей собакой, налечь на него всем телом и железными руками схватить за уши, придавить к земле и держать, пока не сострунят.

Они осматривают собак, спорят. Разговор их не всякий поймет со стороны. Так и сыплются слова:

— Пазонки, черные мяса, выжлец, переярок, щипцы, прибылой, отрыж.

Вот, кажется, знакомое слово «щипцы», а это, оказывается, морда у борзой так называется.

Были тут и старики с седыми усами в дорогих расстегнутых пальто, из-под которых виднелся серебряный пояс на чекмене. Это — борзятники, москвичи, по зимам живущие в столице, а летом в своих имениях; их с каждым годом делалось меньше. Псовая охота, процветавшая при крепостном праве, замирала. Кое-где еще держали псарни, но в маленьком масштабе.

По зимам охотники съезжались в Москву на собачью выставку отовсюду и уже обязательно бывали на Трубе. Это место встреч провинциалов с москвичами. С рынка они шли в «Эрмитаж» обедать и заканчивать день или, вернее сказать, ночь у «Яра» с цыганскими хорами, «по примеру своих отцов».

Ружейные охотники — москвичи — сплоченной компанией отправлялись в трактир «Собачий рынок», известный всем охотникам под этим названием, хотя официально он назывался по фамилии владельца.

Трактир «Собачий рынок» был не на самой площади, а вблизи нее, на Неглинном проезде, но считался на Трубе. Это был грязноватый трактирчик-низок. В нем имелся так называемый чистый зал, по воскресеньям занятый охотниками. Каждая их группа на этот день имела свой дожидавшийся стол.

Псовые и оружейные охотники, осмотрев до мелочей и разобрав по косточкам всякую достойную внимания собаку, отправлялись в свой низок, и за рюмкой водки начинался разговор «по охоте».

В трактир то и дело входили собачники со щенками за пазухой и в корзинках (с большими собаками барышников в трактир не впускали), и начинался осмотр, а иногда и

покупка собак.

Кривой собачник Александр Игнатьев, знаменитый собачий вор, предлагает желто-пегого пойнтера и убедительно говорит:

— От самого Ланского с Тверского бульвара. Вчера достукались. — Поднимает за шиворот щенка. — Его мать в прошлом году золотую медаль на выставке в манеже получила. Дианка. Помните?

Александр Михайлович Ломовский, генерал, самое уважаемое лицо между охотниками Москвы, тычет пальцем в хвост щенка и делает какой-то крюк рукой.

— Это ничего-с, Александр Михайлыч. Уж такой прутик, какого поискать.

Ломовский опять молча делает крюк рукой.

— Помилуйте, Александр Михайлыч, не может же этого быть. Мать-то его, Дианка, ведь родная сестра…

— Словом, «родная сестра тому кобелю, которого вы, наверное, знаете», — замечает редактор журнала «Природа и охота» Л. П. Сабанеев и обращается к продавцу: — Уходи, Сашка, не проедайся. Нашел кого обмануть! Уж если Александру Михайлычу несешь собаку, так помни про хвост. Понимаешь, прохвост, помни!

Продавец конфузливо уходит, рассуждая:

— Ну, хоть убей, сам никакого порока не видел! Не укажи Александр Михайлыч чутошную поволоку в прутике… Ну и как это так? Ведь же от Дианки… Родной брат тому кобелю…

Третий собеседник, Николай Михайлович Левачев, городской инженер, известный перестройкой подземной Неглинки, в это время, не обращая ни на что никакого внимания, составлял на закуску к водке свой «Левачевский» салат, от которого глаза на лоб лезли.

Подходили к этому столу самые солидные московские охотники, садились, и разговоры иногда продолжались до поздней ночи.

В одно из таких воскресений договорились до необходимости устроить Охотничий клуб. На другой день был написан Сабанеевым устав, под которым подписались во главе с Ломовским влиятельные люди, и через месяц устав был утвержден министром.

Почти все московские охотники, люди со средствами, стали членами клуба, и он быстро вошел в моду.

Началось с охотничьих собеседований, устройства выставок, семейных вечеров, охотничьих обедов и ужинов по субботам с дамами и хорами певиц, цыганским и русским.

Но сразу прохарчились. Расход превысил доход. Одной бильярдной и скромной коммерческой игры в карты почтенных старичков-охотников оказалось мало. Штрафов — ни копейки, а это главный доход клубов вообще. Для них нужны азартные игры. На помощь явился М. Л. Лазарев, бывший секретарь Скакового общества, страстный игрок.

Горячо взялся Лазарев за дело, и в первый же месяц касса клуба начала пухнуть от денег. Но главным образом богатеть начал клуб на Тверской, в доме, где был когда-то «Пушкинский театр» Бренко.

И началась азартная игра.

В третьем этаже этого дома, над бальной залой и столовой, имелась потайная комната, до которой добраться по лестничкам и запутанным коридорчикам мог только свой человек. Допускались туда только члены клуба, крупные игроки. Игра начиналась после полуночи, и штраф к пяти часам утра доходил до тридцати восьми рублей. Так поздно начинали играть для того, чтобы было ближе к штрафу, и для того, чтобы было меньше разговоров и наплыва любопытствующих и мелких игроков. А крупным игрокам, ведущим тысячную игру, штраф нипочем.

В одной из этих комнат стояло четыре круглых стола, где за каждый садилось по двенадцати человек. Тут были столы «рублевые» и «золотые», а рядом, в такой же комнате, стоял длинный, покрытый зеленым сукном стол для баккара и два круглых «сторублевых» стола для «железки», где меньше ста рублей ставка не принималась. Здесь игра начиналась не раньше двух часов ночи, и бывали случаи, что игроки засиживались в этой комнате

вплоть до открытия клуба на другой день, в семь часов вечера, и, отдохнув тут же на мягких диванах, снова продолжали игру.

Полного расцвета клуб достиг в доме графа Шереметева на Воздвиженке, где долго помещалась городская управа.

С переездом управы в новое здание на Воскресенскую площадь дом занял Русский охотничий клуб, роскошно отделав загаженные канцеляриями барские палаты.

Пошли маскарады с призами, обеды, выставки и субботние ужины, на которые съезжались буржуазные прожигатели жизни обоего пола. С Русским охотничьим клубом в его новом помещении не мог спорить ни один другой клуб; по азарту игры достойным соперником ему явился впоследствии Кружок.

Поздний час. За длинным столом сидело и стояло человек пятнадцать. Шла баккара. Посредине стола держал банк изящный брюнет, методически продвигая по зеленому сукну холеной, слегка вздрагивающей рукой без всяких украшений атласную карту. Он то и дело брал папиросу, закуривал не торопясь, стараясь казаться хладнокровным. По временам он как-то странно моргал глазами, но его красивое лицо было неподвижно, как маска. Перед ним лежали пачки сотенных, тысяч на пять, а напротив, у его помощника, груды более мелких кредиток и тоже груда сотенных.

Его помощник, облысевший преждевременно, бесцветный молодой человек в смокинге — неудачный отпрыск когда-то богатого купеческого рода. Он исправлял должность крупье, платил, когда банк проигрывал, и получал выигрыши. После каждой получки аккуратненько раскладывал кредитки, сортируя их. Кругом сидели обычные понтеры, любители баккара. Темный шатен с самой красивой бородой в Москве, на которую заглядывались дамы и которая дорого обошлась московским купчихам… Перед ним горка разбросанных сотенных, прикрытых большой золотой табакеркой, со сверкающей большой французской буквой N во всю ее крышку.

За эту табакерку он заплатил бешеные деньги в Париже, потому что это была табакерка Наполеона I. Из-за нее, как рассказывал владелец, Наполеон проиграл Ватерлоо, так как, нюхая табак, недослышал доклада адъютанта, перепутал направления и двинул кавалерию по пересеченной местности, а пехоту — по равнине.

— Понюшка табаку перевернула мир! — так заключал он свой рассказ и показывал друзьям, вынимая из бумажника официальное удостоверение, что эта табакерка действительно принадлежала Наполеону.

Он, не считая, пачками бросал деньги, спокойной рукой получал выигрыши, не обращая внимания на проигрыш. Видно, что это все ему или скучно, или мысль его была далеко. Может быть, ему вспоминался безбородый юноша-маркер, а может быть, он предчувствовал грядущие голодные дни на Ривьере и в Монако.

Рядом с ним так же спокойно проигрывал и выигрывал огромные куши, улыбаясь во всю ширь круглого, румяного лица, покручивая молодые усики, стройный юноша, богач с Волги.

Он играл, как ребенок, увлекшийся занявшей его в тот момент игрушкой, радовался и ни о чем не думал.

Около него — высокий молодой человек с продолговатым лицом, с манерами англичанина. Он похож на статую. Ни один мускул его лица не дрогнет. На лице написана холодная сосредоточенность человека, делающего серьезное дело. Только руки его выдают… Для опытного глаза видно, что он переживает трагедию: ему страшен проигрыш… Он справляется с лицом, но руки его тревожно живут, он не может с ними справиться…

На другом конце стола прилизанный, с английским пробором на лысеющей голове скаковой «джентльмен», поклонник «карт, женщин и лошадей», весь занят игрой. Он соображает, следит за каждой картой, рассматривает каждую полоску ее крапа, когда она еще лежит в ящике под рукой банкомета, и ставит то мелко, то вдруг большой куш и почти всегда выигрывает.

Банкомет моргает и нервно тасует колоду, заглядывая вниз. Он ждет, пока дотасует до

бубнового туза. Раньше метать не будет. Этот миллионер — честнейший из игроков, но он нервен и суеверен. И нервность его выражается в моргании, а иногда он двигает шеей, — это уж крайняя степень нервности.

В дом Шереметева клуб переехал после пожара, который случился в доме Спиридонова поздней ночью, когда уж публика из нижних зал разошлась и только вверху, в тайной комнате, играли в «железку» человек десять крупных игроков. Сюда не доносился шум из нижнего этажа, не слышно было пожарного рожка сквозь глухие ставни. Прислуга клуба с первым появлением дыма ушла из дому. К верхним игрокам вбежал мальчуган-карточник и за ним лакей, оба с испуганными лицами, приотворили дверь, крикнули: «Пожар!» — и скрылись.

Но никто на них не обратил внимания. Поздние игроки, как всегда, очень зарвались. Игра шла очень крупная. Метал Александр Степанович Саркизов (Саркуша), богатый человек и умелый игрок, хладнокровный и обстоятельный. Он бил карту за картой и загребал золото и кредитки.

— Пахнет дымом, слышите? — Вдруг поднял голову, понюхал воздух и заволновался, моргая по привычке глазами, табачный фабрикант.

— Это от твоих папирос пахнет! — острит Саркуша и открывает девятку.

Вдруг грохот шагов по коридору. В дверь вместе с дымом врываются швейцар и пожарный.

— Кыш, вы, дьяволы! Сгорите!

— Перегородка в коридоре занялась! — кричит швейцар.

Некоторые в испуге вскочили, ничего не понимая, другие продолжали игру, а Саркуша опять открыл девятку и, загребая деньги, закричал пожарному:

— Тэбэ что за дэло? Дай банк домэтать!

— Да ведь ваши шубы сгорят! — оправдывается швейцар.

Саркуша рассовывает по карманам деньги, схватывает со стола лоток карт и с хохотом швыряет в угол.

Игроки сквозь густой дым едва добрались до парадной лестницы, которая еще не горела, и спустились вниз, в гардеробную, где в ожидании их волновались швейцары.

Эти подробности пожара очень любили рассказывать участники этого злополучного вечера, а Саркуша обижался:

— Какая талия была! Помэшали домэтать!

В большой зале бывшего Шереметевского дворца на Воздвиженке, где клуб давал маскарады, большие обеды, семейные и субботние ужины с хорами певиц, была устроена сцена. На ней играли любители, составившие потом труппу Московского Художественного театра.

Давали спектакли, из которых публике, чисто клубной, предпочитавшей маскарады и веселые ужины, больше всего нравился «Потонувший колокол», а в нем особенно мохнатый леший, прыгавший через камни и рытвины, и страшный водяной, в виде огромной лягушки, полоскавшейся в ручье и кричавшей: «Бре-ке-ке-кекс!»

Труппа была сыгравшаяся, прекрасная. Репертуар поддерживался избранный. Обо всем этом писалось много, — равно как писалось о маскарадах в газетах и даже публиковались в объявлениях названия ценных призов за лучшие костюмы.

Один из лучших призов получил какой-то московский красавец, явившийся в черном фраке, цилиндре, с ярко-синей бородой, расчесанной а-ля Скобелев на две стороны.

Этот костюм выделился между другими, украшенными драгоценными камнями купеческими костюмами, — и «Принц Рауль Синяя борода» получил золотой портсигар в пятьсот рублей.

Львы на воротах

Старейший в Москве Английский клуб помнил еще времена, когда «шумел, гудел

пожар московский», когда на пылавшей Тверской, сквозь которую пробивались к заставе остатки наполеоновской армии, уцелел один великолепный дворец.

Дворец стоял в вековом парке в несколько десятин, между Тверской и Козьим болотом. Парк заканчивался тремя глубокими прудами, память о которых уцелела только в названии «Трехпрудный переулок».

Дворец этот был выстроен в половине восемнадцатого века поэтом М. М. Херасковым, и в екатерининские времена здесь происходили тайные заседания первого московского кружка масонов: Херасков, Черкасский, Тургенев, Н. В. Карамзин, Енгалычев, Кутузов и «брат Киновион» — розенкрейцеровское имя Н. И. Новикова.

В 1792 году арестовали Н. И. Новикова, его кружок, многих масонов.

После 1812 года дворец Хераскова перешел во владение графа Разумовского, который и пристроил два боковых крыла, сделавших еще более грандиозным это красивое здание на Тверской. Самый же дворец с его роскошными залами, где среди мраморных колонн собирался цвет просвещеннейших людей тогдашней России, остался в полной неприкосновенности, и в 1831 году в нем поселился Английский клуб.

Лев Толстой в «Войне и мире» так описывает обед, которым в 1806 году Английский клуб чествовал прибывшего в Москву князя Багратиона: «…Большинство присутствовавших были старые, почтенные люди с широкими, самоуверенными лицами, толстыми пальцами, твердыми движениями и голосами».

Вот они-то и переехали на Тверскую, где на воротах до сего времени дремлют их современники — каменные львы с огромными, отвисшими челюстями, будто окаменевшие вельможи, переваривающие лукулловский обед. Они смотрят безучастно на шумные, веселые толпы экскурсантов, стремящиеся в Музей Революции, и на пролетающие по Тверской автомобили… Так же безучастно смотрят, как сто лет назад смотрели на золотой герб Разумовских, на раззолоченные мундиры членов клуба в парадные дни, на мчавшиеся по ночам к цыганам пьяные тройки гуляк… Так же безучастно смотрели они в зимние ночи на кучеров на широком клубном дворе, гревшихся вокруг костров.

Одетые в бархатные, обшитые галуном шапки и в воланы дорогого сукна, кучера не знали, куда они попадут завтра: домой или к новому барину?

Отправит ли их новый барин куда-нибудь к себе в «деревню, в глушь, в Саратов», а семью разбросает по другим вотчинам…

Судьба крепостных решалась каждую ночь в «адской комнате» клуба, где шла азартная игра, где жизнь имений и людей зависела от одной карты, от одного очка… а иногда даже — от ловкости банкомета, умеющего быстротой рук «исправлять ошибки фортуны», как выражался Федор Толстой, «Американец», завсегдатай «адской комнаты»… Тот самый, о котором Грибоедов сказал:

Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
И крепко на руку нечист…

И, по-видимому, «Американец» даже гордился этим и сам Константину Аксакову за клубным обедом сказал, что эти строки написаны про него… Загорецкий тоже очень им отдает. Пушкин увековечил «Американца» в Зарецком словами: «Картежной шайки атаман».

Это был клуб Фамусовых, Скалозубов, Загорецких, Репетиловых, Тугоуховских и Чацких.

Конечно, ни Пушкин, ни Грибоедов не писали точных портретов; создавая бытовой художественный образ, они брали их как сырой материал из повседневной жизни.

Грибоедов в «Горе от ума» в нескольких типах отразил тогдашнюю Москву, в том числе и быт Английского клуба.

Герцен в «Былом и думах» писал, что Английский клуб менее всего английский. В нем собакевичи кричат против освобождения и ноздревы шумят за естественные и неотъемлемые

права дворян…

Это самое красивое здание на Тверской скрывал ряд пристроек-магазинов.

Октябрь смел пристройки, выросшие в первом десятилетии двадцатого века, и перед глазами — розовый дворец с белыми стройными колоннами, с лепными работами. На фронтоне белый герб республики сменил золоченый графский герб Разумовских. В этом дворце — Музее Революции — всякий может теперь проследить победное шествие русской революции, от декабристов до Ленина.

И, как введение в историю Великой революции, как кровавый отблеск зарницы, сверкнувшей из глубины грозных веков, встречают входящих в Музей на площадке вестибюля фигуры Степана Разина и его ватаги, работы скульптора Коненкова. А как раз над ними — полотно художника Горелова:

Это с Дона челны налетели, Взволновали простор голубой, — То Степан удалую ватагу На добычу ведет за собой…

Это первый выплыв Степана «по матушке по Волге». А вот и конец его: огромная картина Пчелина «Казнь Стеньки Разина». Москва, площадь, полная народа, бояре, стрельцы… палач… И он сам на помосте, с грозно поднятой рукой, прощается с бунтарской жизнью и вещает грядущее:

С паденьем головы удалой
Всему, ты думаешь, конец —
Из каждой капли крови алой
Отважный вырастет боец.

Поднимаешься на пролет лестницы — дверь в Музей, в первую комнату, бывшую приемную. Теперь ее название: «Пугачевщина». Слово, впервые упомянутое в печати Пушкиным. А дальше за этой комнатой уже самый Музей с большим бюстом первого русского революционера — Радищева.

В приемной Английского клуба теперь стоит узкая железная клетка. В ней везли Емельяна с Урала до Москвы и выставляли на площадях и базарах попутных городов «на позорище и устрашение» перед толпами народа, еще так недавно шедшего за ним. В этой клетке привезли его и на Болотную площадь и 16 января 1775 года казнили.

На том самом месте, где стоит теперь клетка, сто лет тому назад стоял сконфуженный автор «Истории Пугачевского бунта» — великий Пушкин.

А на том месте, где сейчас висят цепи Пугачева, которыми он был прикован к стене тюрьмы, тогда висела «черная доска», на которую записывали исключенных за неуплаченные долги членов клуба, которым вход воспрещался впредь до уплаты долгов. Комната эта звалась «лифостротон».[14]

И рисует воображение дальнейшую картину: вышел печальный и мрачный поэт из клуба, пошел домой, к Никитским воротам, в дом Гончаровых, пошел по Тверской, к Страстной площади. Остановился на Тверском бульваре, на том месте, где стоит ему памятник, остановился в той же самой позе, снял шляпу с разгоряченной головы… Лето… Пусто в Москве… Все разъехались по усадьбам… Пусто в квартире… Некуда идти… И видит он клуб, «львов на воротах», а за ними ярко освещенные залы, мягкие ковры, вино, карты… и его любимая «говорильня». Там его друзья — Чаадаев, Нащокин, Раевский…

И пошел одиноко поэт по бульвару… А вернувшись в свою пустую комнату, пишет 27 августа 1833 года жене: «Скажи Вяземскому, что умер тезка его, князь Петр Долгоруков, получив какое-то наследство и не успев промотать его в Английском клубе, о чем здешнее общество весьма жалеет. В клубе не был, чуть ли я не исключен, ибо позабыл возобновить свой билет, надобно будет заплатить штраф триста рублей, а я бы весь Английский клуб

---

[14] Судилище

готов продать за двести рублей».

Уже впоследствии Пугачев помог ему расплатиться с клубом, и он снова стал посещать его.

В письме к П. В. Нащокину А. С. Пушкин 20 января 1835 года пишет: «Пугачев сделался добрым, исправным плательщиком оброка… Емелька Пугачев оброчный мой мужик… Денег он мне принес довольно, но как около двух лет жил я в долг, то ничего и не остается у меня за пазухой и все идет на расплату».

И Пушкин и Грибоедов хорошо знали клуб. «Горе от ума» — грибоедовская Москва, и многие типы его — члены Английского клуба. Как-то я нашел в извлечениях из «Журнала старшин» клуба, где записывались только обстоятельства почему-либо «достопамятные», следующее: «1815 г. Предложенный от члена Сибилева из кандидатов в члены г-н Чатский по баллотированию не избран, вновь перебаллотирован и тоже не избран». Забаллотировали в Английский клуб — это событие! О нем говорила вся барская Москва. Кто такой Чатский и почему он не избран? Но хочется предположить, что есть что-то общее с «Горе от ума». По крайней мере, фамилия Чатский — это Чацкий.

И является вопрос: за что могли не избрать в члены клуба кандидата, то есть лицо, уже бывавшее в клубе около года до баллотировки? Вернее всего, что за неподходящие к тому времени взгляды, которые высказывались Чатским в «говорильне».

Те речи и монологи, которые мы читаем в «Горе от ума», конечно, при свободе слова в «говорильне» могли им произноситься как кандидатом в члены, но при баллотировке в члены его выбрать уже никак не могли и, вероятно, рады были избавиться от такого «якобинца». Фамусовы, конечно, Чацкого не выберут. Это, конечно, мои предположения, но я уверен, что Чатский, забаллотированный в 1815 году, и Чацкий Грибоедова, окончившего пьесу в 1822 году, несомненно, имеют общее. Во всяком случае, писатель помнил почему-то такую редкую фамилию.

«Народных заседаний проба в палатах Аглицкого клоба». Может быть, Пушкин намекает здесь на политические прения в Английском клубе. Слишком близок ему был П. Я. Чаадаев, проводивший ежедневно вечера в Английском клубе, холостяк, не игравший в карты, а собиравший около себя в «говорильне» кружок людей, смело обсуждавших тогда политику и внутренние дела. Некоторые черты Чаадаева Пушкин придал своему Онегину в описании его холостой жизни и обстановки…

Сейчас, перечитывая бессмертную комедию, я еще раз утверждаюсь, что забаллотированный Чатский и есть Чацкий. Разве Фамусов, «Аглицкого клоба верный сын до гроба», — а там почти все были Фамусовы, — потерпел бы Чацкого в своей среде? А как забаллотировать? Да пустить слух, что он… сумасшедший!..

А весь монолог Репетилова — разве это не портреты членов Английского клуба?

Чацкий . Чай в клубе?
Репетилов . …В Английском!..
У нас есть общество, и тайные собранья
По четвергам. Секретнейший Союз.
Чацкий . …В клубе?
Репетилов . Именно… Шумим, братец, шумим!

Конечно, и Чаадаев, о котором в связи с Английским клубом вспоминает Герцен в «Былом и думах», был бельмом на глазу, но исключить его было не за что, хотя он тоже за свои сочинения был объявлен сумасшедшим, — но это окончилось благополучно, и Чаадаев неизменно, от юности до своей смерти 14 апреля 1856 года, был членом клуба, и, по преданиям, читал в «говорильне» лермонтовское стихотворение на смерть Пушкина. Читал — а его слушали «ничтожные потомки известной подлостью прославленных отцов…»

В своих письмах Чаадаев два раза упоминает Английский клуб.

В письме к А. С. Пушкину в 1831 году: «…я бываю иногда — угадайте где? В

Английском клубе! Вы мне говорили, что Вам пришлось бывать там; а я бы Вас встречал там, в этом прекрасном помещении, среди этих греческих колонн, в тени прекрасных деревьев…»

Потом, уже перед концом своей жизни, Чаадаев, видимо нуждаясь в деньгах, пишет своей кузине Щербатовой:

«…К довершению всего теперь кредит в клубе ограничен пятьюдесятью рублями, каковая сумма Вашим кузеном уже давно исчерпана…»

За два дня до своей смерти Чаадаев был еще в Английском клубе и радовался окончанию войны. В это время в «говорильне» смело обсуждались политические вопросы, говорили о войне и о крепостничестве.

И даже сам Николай I чутко прислушивался к этим митингам в «говорильне» и не без тревоги спрашивал приближенных:

— А что об этом говорят в Москве в Английском клубе?

Здесь в самые страшные николаевские времена говорили беспрепятственно даже о декабристах. В том же «Журнале старшин» 24 сентября записано: «Офисиянт клуба Алексей Герасимов Соколов пришел поутру убирать комнату, нашел на столе запечатанное письмо с надписью: «Ивану Петровичу Бибикову, полковнику жандармов, прошу старшин вручить ему». Старшины по представлению им письма положили, пригласив г-на Бибикова, в присутствии его то письмо сжечь, а буде Бибиков изъявит желание получить его, как по подписи ему принадлежащее, в таковом случае предоставить ему оное взять, которое однакож Бибиков не принял, а письмо в общем присутствии старшин было сожжено…»

В книге Семенникова (Госиздат, 1921 г.) «Книгоиздательская деятельность Н. И. Новикова» среди перечисленных изданий упоминается книга, автором которой значится В. В. Чичагов. Это имя напомнило мне многое.

В прошлом столетии, в восьмидесятых годах я встречался с людьми, помнившими рассказы этого старика масона, в былые времена тоже члена Английского клуба, который много рассказывал о доме поэта М. М. Хераскова.

Дом был выстроен во второй половине XVIII века поэтом совместно с братом генерал-поручиком А. М. Херасковым. Поэт Херасков жил здесь с семьей до самой своей смерти.

При М. М. Хераскове была только одна часть, средняя, дворца, где колонны и боковые крылья, а может быть, фронтон с колоннами и ворота со львами были сооружены после 1812 года Разумовским, которому Херасковы продали имение после смерти поэта в 1807 году. Во время пожара 1812 года он уцелел, вероятно, только благодаря густому парку. Если сейчас войти на чердак пристроек, то на стенах главного корпуса видны уцелевшие лепные украшения бывших наружных боковых стен.

В первой половине прошлого столетия в палатах дворца Разумовского существовала протестующая «говорильня», к которой прислушивался царь.

За сто лет в этом доме поэта Хераскова звучали речи масонов, закончившиеся их арестом.

Со смертью Чаадаева в 1856 году «говорильня» стала «кофейной комнатой», где смелые речи сменились пересказом статей из «Московских ведомостей» и возлежанием в креслах пресытившихся гурманов и проигравшихся картежников.

Л. Н. Толстой, посещавший клуб в период шестидесятых годов, назвал его в «Анне Карениной» — «храм праздности». Он тоже вспоминает «говорильню», но уже не ту, что была в пушкинские времена.

Князь Гагин, введя в эту комнату Левина, назвал ее «умною». В этой комнате трое господ говорили о последней новости в политике.

Он описывает в другом месте клубные впечатления декабриста Волконского, в шестидесятых годах вернувшегося из сибирской каторги:

«Пройдясь по залам, уставленным столами со старичками, играющими в ералаш, повернувшись в инфернальной, где уж знаменитый «Пучин» начал свою партию против

«компании», постояв несколько времени у одного из бильярдов, около которого, хватаясь за борт, семенил важный старичок и еле-еле попадал в своего шара, и, заглянув в библиотеку, где какой-то генерал степенно читал через очки, далеко держа от себя газету, и записанный юноша, стараясь не шуметь, пересматривал подряд все журналы, он направился в комнату, где собирались умные люди разговаривать».

Одна из особенностей «умной комнаты» состояла в том, что посетители ее знали, когда хотели знать, все, что делалось на свете, как бы тайно оно ни происходило.

В «Войне и мире» описывается роскошный бал, данный Москвой Багратиону в Английском клубе.

Вот и все, что есть в литературе об этом столетнем московском дворянском гнезде.

Ничего нет удивительного. Разве обыкновенного смертного, простого журналиста, пустили бы сюда?

Нет и нет!

Если мне несколько раз и в прошлом и нынешнем столетии удалось побывать в этом клубе, то уж не какжурналисту, а как члену охотничьих и спортивных обществ, где членами состояли одновременно и члены Английского клуба.

Дом принадлежал тогда уж не Разумовским, а Шаблыкину.

Роскошь поразительная. Тишина мертвая — кроме «инфернальной», где кипела азартная игра на наличные: в начале этого века среди членов клуба появились богатые купцы, а где купец, там денежки на стол.

Только сохранил свой старый стиль огромный «портретный» зал, длинный, уставленный ломберными столами, которые все были заняты только в клубные дни, то есть два раза в неделю — в среду и в субботу.

Здесь шла скромная коммерческая игра в карты по мелкой, тихая, безмолвная. Играли старички на своих, десятилетиями насиженных местах. На каждом столе стояло по углам по четыре стеариновых свечи, и было настолько тихо, что даже пламя их не колыхалось.

Время от времени играющие мановением руки подзывали лакеев, которые бесшумно, как тени, вырастали неведомо откуда перед барином, молчаливо делающим какой-то, им двоим известный, жест.

Тень лакея, такого же старого, как и барин, исчезала, и через минуту рядом с ломберным столом появлялся сервированный столик.

Этот «портретный» зал назывался членами клуба в шутку «детская».

Назывался он не в насмешку над заседавшими там старичками, а потому, что там велась слишком мелкая игра, и играющие, как умные детки, молчали наравне с мундирными портретами по стенам. А чуть кто-нибудь возвышал голос в карточном споре, поднимались удивленные головы, раздавалось повелительное «тс», и все смолкало.

Вход в «портретную» был через аванзал, которым, собственно, начинался клуб.

Аванзал — большая комната с огромным столом посредине, на котором в известные дни ставились баллотировочные ящики, и каждый входящий в эти дни член клуба, раньше чем пройти в следующие комнаты, обязан был положить в ящики шары, сопровождаемый дежурным старшиной.

Это были дни баллотировки в действительные члены.

По всем стенам аванзала стояли удивительно покойные, мягкие диваны, где после обеда члены клуба и гости переваривали пищу в облаках дыма ароматных сигар, а в старину — жуковского табаку в трубках с саженными черешневыми чубуками, которые зажигали лакеи.

Старички особенно любили сидеть на диванах и в креслах аванзала и наблюдать проходящих или сладко дремать. Еще на моей памяти были такие древние старички — ну совсем князь Тугоуховский из «Горе от ума». Вводят его в мягких замшевых или суконных сапожках, закутанного шарфом, в аванзал или «кофейную» и усаживают в свое кресло. У каждого было излюбленное кресло, которое в его присутствии никто занять не смел.

— Кресло Геннадия Владимировича.

Садился старичок, смотрел вокруг, старался слушать вначале, а потом тихо засыпал.

Старый лакей, который служил здесь еще во времена крепостного права, знающий привычки старого барина, в известный час поставит перед ним столик с прибором и дымящейся серебряной миской и осторожно будит его, посматривая на часы:

— Ваше превосходительство! Часы в этот момент начинают бить девять.

— Ваше превосходительство, кашка поставлена.

— А? Уж девять? Слышу!

Полакомится кашкой — и ведут его в карету.

Направо из аванзала вход во «фруктовую», где стояли столы с фруктами и конфетами, а за «фруктовой» — большая парадная столовая.

Левая дверь из аванзала вела в уже описанную «портретную».

В одно из моих ранних посещений клуба я проходил в читальный зал и в «говорильне» на ходу, мельком увидел старика военного и двух штатских, сидевших на диване в углу, а перед ними стоял огромный, в черном сюртуке, с львиной седеющей гривой, полный энергии человек, то и дело поправлявший свое соскакивающее пенсне, который ругательски ругал «придворную накипь», по протекции рассылаемую по стране управлять губерниями.

Это был известный винодел Лев Голицын, когда-то блестяще окончивший Московский университет, любимец профессора Никиты Крылова, известный краснобай, горячий спорщик, всегда громко хваставшийся тем, что он «не посрамлен никакими чинами и орденами».

Сидящий военный был А. А. Пушкин — сын поэта. Второй, толстый, с седеющими баками, был губернатор В. С. Перфильев, женатый на дочери Толстого, «Американца».

Льва Голицына тоже недолюбливали в Английском клубе за его резкие и нецензурные по тому времени (начало восьмидесятых годов) речи. Но Лев Голицын никого не боялся. Он ходил всегда, зиму и лето, в мужицком бобриковом широченном армяке, и его огромная фигура обращала внимание на улицах.

Извозчики звали его «диким барином». Татары в его кавказском имении прозвали его «Аслан Дели» — сумасшедший Лев.

Он бросал деньги направо и налево, никому ни в чем не отказывал, особенно учащейся молодежи, держал на Тверской, на углу Чернышевского переулка, рядом с генерал-губернаторским домом магазинчик виноградных вин из своих великолепных крымских виноградников «Новый Свет» и продавал в розницу чистое, натуральное вино по двадцать пять копеек за бутылку.

— Я хочу, чтобы рабочий, мастеровой, мелкий служащий пили хорошее вино! — заявил он.

В конце девяностых годов была какая-то политическая демонстрация, во время которой от дома генерал-губернатора расстреливали и разгоняли шашками жандармы толпу студентов и рабочих. При появлении демонстрации все магазины, конечно, на запор.

Я видел, как упало несколько человек, видел, как толпа бросилась к Страстному и как в это время в открывшихся дверях голицынского магазина появилась в одном сюртуке, с развевающейся седой гривой огромная фигура владельца. Он кричал на полицию и требовал, чтобы раненых несли к нему на перевязку.

Через минуту его магазин был полон спасавшимися. Раненым делали перевязку в задней комнате дочь и жена Л. Голицына, а сам он откупоривал бутылку за бутылкой дорогие вина и всех угощал.

Когда полиция стала стучать в двери, он запер магазин на ключ и крикнул:

— Я именинник, это — мои гости!

Через черный ход он выпустил затем всех, кому опасно было попадаться в руки полиции, и на другой день в «говорильне» клуба возмущался действиями властей.

Конечно, такой член Английского клуба был не по нутру тайным, советникам, но в «говорильне» его слушали.

Однажды в «говорильне» Лев Голицын громовым голосом, размахивая руками и

поминутно поправляя пенсне, так же горячо доказывал необходимость запрещения водки, чтобы народ пил только чистые виноградные вина.

— Мы богаты, наш юг создан для виноградарства! Ему пробовал возражать красивый высокий блондин

с закрученными усами — В. Н. Мартынов, видный чиновник удельного ведомства, Мартынов — сын убийцы Лермонтова.

Перед ними стоял старик с белой шевелюрой и бородой. Он делился воспоминаниями с соседями. Слышались имена: Лермонтов, Пушкин, Гоголь…

Это был А. А. Стахович, известный коннозаводчик и автор интересных мемуаров, поклонник Пушкина и друг Гоголя. В своем имении «Пальне» под Ельцом он поставил в парке памятник Пушкину: бюст на гранитном пьедестале.

Бывали здесь и другие типы. В начале восьмидесятых годов сверкала совершенно лысая голова московского вице-губернатора, человека очень веселого, И. И. Красовского. Про него было пущено, кажется Шумахером, четверостишие:

Краса инспекции московской
И всей губернии краса —
Иван Иванович Красовский,
Да где же ваши волоса?

Бывал и обер-полицмейстер А. А. Козлов, не пропускавший ни одного значительного пожара. По установленному издавна порядку о каждом пожаре посетители Английского клуба извещались: входил специальный слуга в залы, звонил звонком и тихим, бархатным голосом извещал:

— В Городской части пожар номер пять, на Ильинке.

— В Рогожской, в Дурном переулке пожар номер три.

И с первым появлением этого вестника выскакивал А. А. Козлов, будь в это время обед или ужин, и мчался на своей лихой паре, переодеваясь на ходу в непромокаемый плащ и надевая каску, которая всегда была в экипаже. С пожара он возвращался в клуб доедать свой обед или ужин.

Собирались иногда в «кофейной» П. И. Бартенев — издатель «Русского архива» и К. К. Тарновский — драматург.

За «говорильней» следовала большая гостиная; в ней, как и в «портретной», ломберные столы были заняты крупными игроками в коммерческие игры.

Десятками тысяч рублей здесь кончались пульки и роббера.

За большой гостиной следовала «галерея» — длинная комната, проходная в бильярдную и в читальню, имевшая также выход в сад.

Бильярдная хранила старый характер, описанный Л. Н. Толстым. Даже при моем последнем посещении клуба в 1912 году я видел там китайский бильярд, памятный Л. Н. Толстому.

На этом бильярде Лев Николаевич в 1862 году проиграл проезжему офицеру тысячу рублей и пережил неприятную минуту: денег на расплату нет, а клубные правила строги — можно и на «черную доску» попасть.

Чем бы это окончилось — неизвестно, но тут же в клубе находился М. Н. Катков, редактор «Русского вестника» и «Московских ведомостей», который, узнав, в чем дело, выручил Л. Н. Толстого, дав ему взаймы тысячу рублей для расплаты. А в следующей книге «Русского вестника» появилась повесть Толстого «Казаки».

В левом углу проходной «галереи» была дверка в «инфернальную» и в «старшинскую» комнату, где происходили экстренные заседания старшин в случае каких-нибудь споров и недоразумений с гостями и членами клуба. Здесь творили суд и расправу над виновными, имена которых вывешивались на «черную доску».

Рядом со «старшинской» был внутренний коридор и комната, которая у прислуги

называлась «ажидация», а у членов — «лакейская». Тут ливрейные лакеи азартных игроков, засиживавшихся в «инфернальной» до утра, ожидали своих господ и дремали на барских шубах, расположившись на деревянных диванах.

Эта «ажидация» для выездных лакеев, которые приезжали сюда в старые времена на запятках карет и саней, была для них клубом. Лакеи здесь судачили, сплетничали и всю подноготную про своих господ разносили повсюду.

За «галереей» и бильярдной была читальня в пристройке, уже произведенной Разумовским после 1812 года. Этот зал строил Жилярди.

Входишь — обычно публики никакой. Сядешь в мягкое кресло. Ни звука. Только тикают старинные часы. Зеленые абажуры над красным столом с уложенными в удивительном порядке журналами и газетами, к которым редко прикасаются.

Безмолвно и важно стоят мраморные колонны, поддерживающие расписные своды — творчество художников времен Хераскова.

Поблескивают золотыми надписями кожаные переплеты сквозь зеркальные стекла шкафов. Окна занавешены. Только в верхнюю, полукруглую часть окна, незашторенную, глядит темное небо.

Великолепные колонны с лепными карнизами переходят в покойные своды, помнящие тайные сборища масонов, — по преданиям, здесь был кабинет Хераскова. Сквозь полумрак рельефно выступает орнамент — головы каких-то рыцарей.

Верхний полукруг окна осветился выглянувшей из-за облака луной, снова померк… Часы бьют полночь. С двенадцатым ударом этих часов в ближайшей зале забили другие — и с новым двенадцатым ударом в более отдаленной зале густым, бархатным басом бьют старинные английские часы, помнящие севастопольские разговоры и, может быть, эпиграммы на царей Пушкина и страстные строфы Лермонтова на смерть поэта…

В ярком блеске «храм праздности» представлялся в дни торжественных обедов.

К шести часам в такие праздники обжорства Английский клуб был полон. Старики, молодежь, мундиры, фраки… Стоят кучками, ходят, разговаривают, битком набита ближайшая к большой гостиной «говорильня». А двери в большую гостиную затворены: там готовится огромный стол с выпивкой и закуской…

— Сезон блюсти надо, — говаривал старшина по хозяйственной части П. И. Шаблыкин, великий гурман, проевший все свои дома. — Сезон блюсти надо, чтобы все было в свое время. Когда устрицы флексбургские, когда остендские, а когда крымские. Когда лососина, когда семга… Мартовский белорыбий балычок со свежими огурчиками в августе не подашь!

Все это у П. И. Шаблыкина было к сезону — ничего не пропустит. А когда, бывало, к новому году с Урала везут багряную икру зернистую и рыбу — первым делом ее пробуют в Английском клубе.

Настойки тоже по сезону: на почках березовых, на почках черносмородинных, на травах, на листьях, — и воды разные шипучие — секрет клуба…

Но вот часы в залах, одни за другими, бьют шесть. Двери в большую гостиную отворяются, голоса смолкают, и начинается шарканье, звон шпор… Толпы окружают закусочный стол. Пьют «под селедочку», «под парную белужью икорку», «под греночки с мозгами» и т. д. Ровно час пьют и закусывают. Потом из залы-читальни доносится первый удар часов — семь, — и дежурный звучным баритоном покрывает чоканье рюмок и стук ножей.

— Кушанье поставлено!

Блестящая толпа человек в двести движется через «говорильню», «детскую» и «фруктовую» в большую столовую, отделенную от клуба аванзалом.

Занимают места, кто какое облюбует.

На хорах — оркестр музыки. Под ним, на эстраде хоры — или цыганский, или венгерский, или русский от «Яра».

Эстрада в столовой — это единственное место, куда пропускаются женщины, и то

только в хоре. В самый же клуб, согласно с основания клуба установленным правилам, ни одна женщина не допускалась никогда. Даже полы мыли мужчины.

Уселись. Старейший цыган Федор Соколов повел седым усом, сверкнул глазами, притопнул ногой, звякнул струной гитары — и грянул цыганский хор.

А налево, около столов, уставленных дымящимися кастрюлями, замерли как статуи, в белых одеждах и накрахмаленных белых колпаках, с серебряными черпаками в руках, служители «храма праздности».

Теперь здесь зал заседаний Музея Революции.

Сошел на нет и этот клуб. У большинства дворян не осталось роскошных выездов. Дела клуба стали слабнуть, вместо шестисот членов осталось двести. Понемногу стало допускаться в члены и именитое купечество.

Люднее стало в клубе, особенно в картежных комнатах, так как единственно Английский клуб пользовался правом допускать у себя азартные игры, тогда строго запрещенные в других московских клубах, где игра шла тайно. В Английский клуб, где почетным старшиной был генерал-губернатор, а обер-полицмейстер — постоянным членом, полиция не смела и нос показать.

После революции 1905 года, когда во всех клубах стали свободно играть во все азартные игры, опять дела клуба ослабли; пришлось изобретать способы добычи средств. Избрали для этой цели особую комиссию. Избранники додумались использовать пустой двор возведением на нем по линии Тверской, вместо стильной решетки и ворот с историческими львами, ряда торговых помещений.

Несколько членов этой комиссии возмутились нарушением красоты дворца и падением традиций. Подали особое мнение, в котором, между прочим, было сказано, что «клубу не подобает пускаться в рискованные предприятия, совсем не подходящие к его традициям», и закончили предложением «не застраивать фасада дома, дабы не очутиться на задворках торговых помещений».

Пересилило большинство новых членов, и прекрасный фасад Английского клуба, исторический дом поэта Хераскова, дворец Разумовских, очутился на задворках торговых помещений, а львы были брошены в подвал.

Дела клуба становились все хуже и хуже… и публика другая, и субботние обеды — парадных уже не стало — скучнее и малолюднее… Обеды накрывались на десять — пятнадцать человек. Последний парадный обед, которым блеснул клуб, был в 1913 году в 300-летие дома Романовых.

А там грянула империалистическая война. Половина клуба была отдана под госпиталь. Собственно говоря, для клуба остались прихожая, аванзал, «портретная», «кофейная», большая гостиная, читальня и столовая. А все комнаты, выходящие на Тверскую, пошли под госпиталь. Были произведены перестройки. Для игры «инфернальная» была заменена большой гостиной, где метали баккара, на поставленных посредине столах играли в «железку», а в «детской», по-старому, шли игры по маленькой.

В таком виде клуб влачил свое существование до начала 1918 года, когда самый клуб захватило и использовало для своих нужд какое-то учреждение.

Одним из первых распоряжений организованной при Наркомпросе Комиссии по охране памятников искусства и старины было уничтожение торговых помещений перед фасадом дворца.

Революция открыла великолепный фасад за железной решеткой со львами, которых снова посадили на воротах, а в залах бывшего Английского клуба был организован Музей старой Москвы.

Наконец, 12 ноября 1922 года в обновленных залах бывшего Английского клуба открывается торжественно выставка «Красная Москва», начало Музея Революции. Это — первая выставка, начало революционного Музея в бывшем «храме праздности».

Выставка открылась в 6 часов вечера 12 ноября. Ярко горит электричество в холодных, несколько лет не топленных роскошных залах Английского клуба. Красные флаги

расцветили холодный мрамор старинных стен. Из «портретной» доносятся говор, шарканье ног, прорезаемые иногда звоном шпор…

Тот же «портретный» зал. Только портреты другие. На стенах портреты и фотографии бойцов Октябрьской революции в Москве.

Зал переполнен. Наркомы, представители учреждений, рабочих организаций… Пальто, пиджаки, кожаные куртки, военные шинели… В первый раз за сто лет своего существования зал видит в числе почетных гостей женщин. Гости собираются группами около уголков и витрин — каждый находит свое, близкое ему по переживаниям.

Стены, увешанные оружием, обрамляющим фотографии последних московских боев, собрали современников во главе с наркомами… На фотографиях эпизодов узнают друг друга… Говорят…

Бойцы вспоминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.

Студенты

До реакции восьмидесятых годов Москва жила своею жизнью, а университет — своею.

Студенты в основной своей части еще с шестидесятых годов состояли из провинциальной бедноты, из разночинцев, не имевших ничего общего с обывателями, и ютились в «Латинском квартале», между двумя Бронными и Палашевским переулком, где немощеные улицы были заполнены деревянной стройкой с мелкими квартирами.

Кроме того, два больших заброшенных барских дома дворян Чебышевых, с флигелями, на Козихе и на Большой Бронной почти сплошь были заняты студентами.

Первый дом назывался между своими людьми «Чебышевская крепость», или «Чебыши», а второй величали «Адом». Это — наследие нечаевских времен. Здесь в конце шестидесятых годов была штаб-квартира, где жили студенты-нечаевцы и еще раньше собирались Каракозовцы, члены кружка «Ад».

В каждой комнатушке студенческих квартир «Латинского квартала» жило обыкновенно четверо. Четыре убогие кровати, они же стулья, столик да полка книг.

Одевалось студенчество кто во что, и нередко на четырех квартирантов было две пары сапог и две пары платья, что устанавливало очередь: сегодня двое идут на лекции, а двое других дома сидят; завтра они пойдут в университет.

Обедали в столовых или питались всухомятку. Вместо чая заваривали цикорий, круглая палочка которого, четверть фунта, стоила три копейки, и ее хватало на четверых дней на десять.

К началу учебного года на воротах каждого дома висели билетики — объявления о сдаче комнат внаймы. В половине августа эти билетики мало-помалу начинали исчезать.

В семидесятых годах формы у студентов еще не было, но все-таки они соблюдали моду, и студента всегда можно было узнать и по манерам, и по костюму. Большинство, из самых радикальных, были одеты по моде шестидесятых годов: обязательно длинные волосы, нахлобученная таинственно на глаза шляпа с широченными полями и иногда — верх щегольства — плед и очки, что придавало юношам ученый вид и серьезность. Так одевалось студенчество до начала восьмидесятых годов, времени реакции.

Вступив на престол, Александр III стал заводить строгие порядки. Они коснулись и университета. Новый устав 1884 года уничтожил профессорскую автономию и удвоил плату за слушание лекций, чтобы лишить бедноту высшего образования, и, кроме того, прибавился новый расход — студентам предписано было носить новую форму: мундиры, сюртуки и пальто с гербовыми пуговицами и фуражками с синими околышами.

Устав окончательно скрутил студенчество. Пошли петиции, были сходки, но все это не выходило из университетских стен. «Московские ведомости», правительственная газета,

поддерживавшая реакцию, обрушились на студентов рядом статей в защиту нового устава, и первый выход студентов на улицу был вызван этой газетой.

Большая Дмитровка, начинаясь у Охотного ряда, оканчивается на той части Страстного бульвара, которая называется Нарышкинским сквером.

Третий дом на этой улице, не попавший в руки купечества, заканчивает правую сторону Большой Дмитровки, выходя и на бульвар. В конце XVIII века дом этот выстроил ротмистр Талызин, а в 1818 году его вдова продала дом Московскому университету. Ровно сто лет, с 1818 по 1918 год, в нем помещалась университетская типография, где сто лет печатались «Московские ведомости».

Дом, занятый типографией, надо полагать, никогда не ремонтировался и даже снаружи не красился. На вид это был неизменно самый грязный дом в столице, с облупленной штукатуркой, облезлый, с никогда не мывшимися окнами, закоптелыми изнутри. Огромная типография освещалась керосиновыми коптилками, отчего потолки и стены были черны, а приходившие на ночную смену наборщики, даже если были блондины, ходили брюнетами от летевшей из коптилок сажи. Типография выходила окнами на Дмитровку, а особняк, где были редакция и квартира редактора, — на сквер.

Постановив на сходке наказать «Московские ведомости» «кошачьим концертом», толпы студентов неожиданно для полиции выросли на Нарышкинском сквере, перед окнами газеты, и начался вой, писк, крики, ругань, и полетели в окна редактора разные пахучие предметы, вроде гнилых огурцов и тухлых яиц.

Явилась полиция, прискакал из соседних казарм жандармский дивизион, и начался разгон демонстрантов. Тут уже в окна газеты полетели и камни, зазвенели стекла…

Посредине бульвара конные жандармы носились за студентами. Работали с одной стороны нагайками, а с другой — палками и камнями. По бульвару метались лошади без всадников, а соседние улицы переполнились любопытными. Свалка шла вовсю: на помощь полиции были вызваны казаки, они окружили толпу и под усиленным конвоем повели в Бутырскую тюрьму. «Ляпинка»- описанное выше общежитие студентов Училища живописи — вся сплошь высыпала на бульвар.

Когда окруженную на бульваре толпу студентов, в числе которой была случайно попавшая публика, вели от Страстного к Бутырской тюрьме, во главе процессии обращал на себя внимание великан купчина в лисьей шубе нараспашку и без шапки. Это был подрядчик-строитель Громов. Его знала вся Москва за богатырскую фигуру. Во всякой толпе его плечи были выше голов окружающих. Он попал совершенно случайно в свалку прямо из трактира. Конный жандарм ударил его нагайкой по лицу. В ответ на это гигант сорвал жандарма с лошади и бросил его в снег. И в результате его степенство шагал в тюрьму.

На улице его приказчик, стоявший в числе любопытных на тротуаре, узнал Громова.

— Сидор Мартыныч, что с вами? — крикнул он.

— Агапыч, беги домой, скажи там, что я со скубентами в ривалюцию влопалси! — изо всех сил рявкнул Громов.

— Революция… Революция… — отозвалось в толпе и покатилось по всей Москве.

Но до революции было еще далеко!

Как это выступление, так и ряд последующих протестов, выражавшихся в неорганизованных вспышках, оставались в стенах университета. Их подавляли арестами и высылками, о которых большинство москвичей и не знало, так как в газетах было строго запрещено писать об этом.

В 1887 году, когда к студенческому уставу были прибавлены циркуляры, ограничивавшие поступление в университет, когда инспекция и педеля, эти университетские сыщики, вывели из терпения студентов, опять произошли крупные уличные демонстрации, во время которых было пущено в ход огнестрельное оружие, но и это для большой публики прошло незаметно.

С каждым годом все чаще и чаще стали студенты выходить на улицу. И полиция была уже начеку. Чуть начнут собираться сходки около университета, тотчас же останавливают

движение, окружают цепью городовых и жандармов все переулки, ведущие на Большую Никитскую, и огораживают Моховую около Охотного ряда и Воздвиженки. Тогда открываются двери манежа, туда начинают с улицы тащить студентов, а с ними и публику, которая попадается на этих улицах.

Самым ярким в прошлом столетии было студенческое выступление, после которого более ста пятидесяти студентов было отдано в солдаты, и последующие за ним, где требовали отмены «временных правил», на основании которых правительство и отдало студентов в солдаты.

Эта мера, в связи с волнениями студентов, вызвала протест всей интеллигенции и полное сочувствие к студенчеству в широких слоях населения. Но в печати никаких подробностей и никаких рассуждений не допускалось: говорили об этом втихомолку.

Тогда ходило по рукам много нелегальных стихотворений. Вот одно из них:

Сейте!

«Сейте разумное, доброе, вечное».[15]
Сейте студентов по стогнам земли,
Чтобы поведать все горе сердечное
Всюду бедняги могли.

Сейте, пусть чувство растет благородное,
Очи омочит слеза, —
Сквозь эти слезы пусть слово свободное
Руси откроет глаза.

Пусть все узнают, что нравами грубыми
Стали опять щеголять,
Снова наполнится край скалозубами,
Чтоб просвещение гнать.

Пусть все узнают: застенки по-старому,
И палачи введены,
Отданы гневу их дикому, ярому
Лучшие силы страны.

Вольные степи ветрами обвеяны,
Русь широка и грозна —
Вырастет новое — всюду посеяны
Светлых идей семена.

Те, что упорно и долго не верили
Правде свободных идей,
Ныне поймут — обсчитали, обмерили,
Выгнали их сыновей.

Всех разогнали, а всех ли вы выбили,
Сделавши подлость и срам?
Это свершили вы к вашей погибели.
Память позорная вам!

---

[15] Строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Сеятелям»

И действительно, разбросанные в войска по разным городам России студенты были приняты везде радушно и везде заговорили о том, о чем прежде молчали. Это революционизировало и глухую провинцию.

Другое стихотворение, «Судак и обер-полицмейстер», описывающее усмирение студенческих беспорядков в Москве, тоже не проскочило в печать, но распространялось в литографских оттисках:

Я видел грозные моменты,
Досель кружится голова…
Шумели буйные студенты,
Гудела старая Москва,
Толпы стремились за толпами…
Свистки… Ура… Нагайки… Вой…
Кругом войска… за казаками
Трухтит жандармов синий строй.
Что улица — картины те же,
Везде народ… Везде войска…
Студенты спрятаны в манеже,
Шумят, как бурная река.
И за студентами загнали
В манеж испуганный народ,
Всех, что кричали, не кричали,
Всех, кто по улице пройдет, —
Вали в манеж! А дело жарко,
Войскам победа не легка…
Лови! Дави! Идет кухарка,
Под мышкой тащит судака…
Вскипели храбрые войска!
Маневр… Другой… И победили!
Летят кто с шашкой, кто с штыком,
В манеже лихо водворили
Кухарку с мерзлым судаком…

Когда кухарку с судаком действительно загнали в манеж, а новая толпа студентов высыпала из университета на Моховую, вдруг видят: мчится на своей паре с отлетом, запряженной в казенные, с высокой спинкой, сани, сам обер-полицмейстер. В толпе студентов, стоявших посредине улицы, ему пришлось задержаться и ехать тихо.

— Я вас прошу разойтись! — закричал, приподнявшись в санях, генерал.

В ответ — шум, а потом сзади саней взрыв хохота и крики:

— Долой самодержавие! И опять хохот и крики:

— Долой самодержавие!.. Долой!..

Взбешенный полицмейстер вскакивает в ворота манежа и натыкается на кухарку с судаком, которая хватает его за рукав и вопит:

— Ваше благородие, выпустите! Рыбина-то протухнет…

И тычет в него оттаявшим судаком.

А у подъезда, под хохот толпы, городовые сдирают с задка полицмейстерских саней широкую полосу бумаги с яркой надписью: «Долой самодержавие!»

Во время остановки студенты успели наклеить на сани одну из афиш, сработанных художниками в «Ляпинке» для расклейки по городу:

«Долой самодержавие!»

Этот лозунг, ставший впоследствии грозным, тогда еще был новинкой.

Московский университет. «Татьянин день», 12 января старого стиля, был студенческий праздник в Московском университете.

Никогда не были так шумны московские улицы, как ежегодно в этот день. Толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись, втроем и вчетвером на одном извозчике и горланили. Недаром во всех песенках рифмуется: «спьяна» и «Татьяна»! Это был беззаботно-шумный гулящий день. И полиция, — такие она имела расчеты и указания свыше, — в этот день студентов не арестовывала. Шпикам тоже было приказано не попадаться на глаза студентам.

Тогда любимой песней была «Дубинушка».

12 января утром — торжественный акт в университете в присутствии высших властей столицы. Три четверти зала наполняет студенческая беднота, промышляющая уроками: потертые тужурки, блины-фуражки с выцветшими добела, когда-то синими околышами… Но между ними сверкают шитые воротники роскошных мундиров дорогого сукна на белой шелковой подкладке и золочеными рукоятками шпаг по моде причесанные франтики; это дети богачей.

По окончании акта студенты вываливают на Большую Никитскую и толпами, распевая «Gaudeamus igitur», [16] движутся к Никитским воротам и к Тверскому бульвару, в излюбленные свои пивные. Но идет исключительно беднота; белоподкладочники, надев «николаевские» шинели с бобровыми воротниками, уехали на рысаках в родительские палаты.

Зарядившись в пивных, студенчество толпами спускается по бульварам вниз на Трубную площадь, с песнями, но уже «Gaudeamus» заменен «Дубинушкой». К ним присоединилось уже несколько белоподкладочников, которые, не желая отставать от товарищей, сбросили свой щегольской наряд дома и в стареньких пальтишках вышагивают по бульварам. Перед «Московскими ведомостями» все останавливаются и орут:

И вырежем мы в заповедных лесах
На барскую спину дубину…

И с песнями вкатываются толпы в роскошный вестибюль «Эрмитажа», с зеркалами и статуями, шлепая сапогами по белокаменной лестнице, с которой предупредительно сняты, ради этого дня, обычные мягкие дорогие ковры.

Еще с семидесятых годов хозяин «Эрмитажа» француз Оливье отдавал студентам на этот день свой ресторан для гулянки.

Традиционно в ночь на 12 января огромный зал «Эрмитажа» преображался. Дорогая шелковая мебель исчезала, пол густо усыпался опилками, вносились простые деревянные столы, табуретки, венские стулья… В буфете и кухне оставлялись только холодные кушанья, водка, пиво и дешевое вино. Это был народный праздник в буржуазном дворце обжорства.

В этот день даже во времена самой злейшей реакции это был единственный зал в России, где легально произносились смелые речи. «Эрмитаж» был во власти студентов и их гостей — любимых профессоров, писателей, земцев, адвокатов.

Пели, говорили, кричали, заливали пивом и водкой пол — в зале дым коромыслом! Профессоров поднимали на столы… Ораторы сменялись один за другим. Еще есть и теперь в живых люди, помнящие «Татьянин день» в «Эрмитаже», когда В. А. Гольцева после его речи так усиленно «качали», что сюртук его оказался разорванным пополам; когда после Гольцева так же энергично чествовали А. И. Чупрова и даже разбили ему очки, подбрасывая его к потолку, и как, тотчас после Чупрова, на стол вскочил косматый студент в красной рубахе и порыжелой тужурке, покрыл шум голосов неимоверным басом, сильно ударяя на «о», по-семинарски:

---

[16] «Итак, радуйтесь, друзья…» (название старинной студенческой песни на латинском языке)

— То-оварищи!.. То-оварищи!..

— Долой! Долой! — закричали студенты, увлеченные речами своих любимых профессоров.

— То-оварищи! — упорно гремел бас.

— До-о-олой! — вопил зал, и ближайшие пытались сорвать оратора со стола.

Но бас новым усилием покрыл шум;

— Да, долой!.. — грянул он, грозно подняв руки, и ближайшие смолкли.

— Долой самодержавие! — загремел он еще раз и спрыгнул в толпу.

Произошло нечто небывалое… Через минуту студента качали, и зал гремел от криков.

А потом всю ночь на улицах студенты прерывали свои песни криками:

— Долой самодержавие!..

И этот лозунг стал боевым кличем во всех студенческих выступлениях. Особенно грозно прозвучал он в Московском университете в 1905 году, когда студенчество слилось с рабочими в университетских аудиториях, открывшихся тогда впервые для народных сходок. Здесь этот лозунг сверкал и в речах и на знаменах и исчез только тогда, когда исчезло самодержавие.

В стенах Московского университета грозно прозвучал не только этот боевой лозунг пятого года, но и первые баррикады в центре столицы появились совершенно стихийно пятнадцатого октября этого года тоже в стенах и дворах этого старейшего высшего учебного заведения.

Нарышкинский сквер

Нарышкинский сквер, этот лучший из бульваров Москвы, образовался в половине прошлого столетия. Теперь он заключен между двумя проездами Страстного бульвара, внутренним и внешним. Раньше проезд был только один, внутренний, а там, где сквер, был большой сад во владении князя Гагарина, и внутри этого сада был тот дворец, где с 1838 года помещается бывшая Екатерининская больница.

Еще в 1926 году, когда перемащивали проезд против здания больницы, из земли торчали уцелевшие столетние пни, остатки этого сада. Их снова засыпали землей и замостили.

Продолжением этого сада до Путинковского проезда была в те времена грязная Сенная площадь, на которую выходил ряд домов от Екатерининской больницы до Малой Дмитровки, а на другом ее конце, рядом со Страстным монастырем, был большой дом С. П. Нарышкиной. В шестидесятых годах Нарышкина купила Сенную площадь, рассадила на ней сад и подарила его городу, который и назвал это место Нарышкинским сквером.

Рядом с Екатерининской больницей стоял прекрасный старинный особняк. До самой Октябрьской революции он принадлежал князю Волконскому, к которому перешел еще в пятидесятых годах от князя Мещерского.

Говоря об этом особняке, нельзя не вспомнить, что через дом от него стоял особняк, имевший романтическую историю. Ранее он принадлежал капитану Кречетникову, у которого в 1849 году его купил титулярный советник А. В. Сухово-Кобылин.

Этот титулярный советник был не кто иной, как драматург, автор «Свадьбы Кречинского», Александр Васильевич Сухово-Кобылин, который и жил здесь до 1859 года…

В доме князя Волконского много лет жил его родственник, разбитый параличом граф Шувалов, крупный вельможа. Его часто вывозили в колясочке на Нарышкинский сквер.

После смерти Шувалова, в конце девяностых годов, Волконский сдал свой дом в аренду кондитеру Завьялову. На роскошном барском особняке появилась вывеска:

«Сдается под свадьбы, балы и поминовенные обеды».

Так до, 1917 года и служил этот дом, переходя из рук в руки, от кондитера к кондитеру: от Завьялова к Бурдину, Феоктистову и другим.

То всю ночь сверкали окна огнями и дом гудел музыкой на свадьбах и купеческих

балах, привлекая публику с бульваров к своим окнам, то из него доносились басы протодьяконов, возглашавших «вечную память».

Бывали здесь богатые купеческие свадьбы, когда около дома стояли чудные запряжки; бывали и небогатые, когда стояли вдоль бульвара кареты, вроде театральных, на клячах которых в обыкновенное время возили актеров императорских театров на спектакли и репетиции. У этих карет иногда проваливалось дно, и ехавшие бежали по мостовой, вопя о спасении… Впрочем, это было безопасно, потому что заморенные лошади еле двигались… Такой случай в восьмидесятых годах был на Петровке и закончился полицейским протоколом.

Впереди всех стояла в дни свадебных балов белая, золоченая, вся в стеклах свадебная карета, в которой привозили жениха и невесту из церкви на свадебный пир: на паре крупных лошадей в белоснежной сбруе, под голубой, если невеста блондинка, и под розовой, если невеста брюнетка, шелковой сеткой. Жених во фраке и белом галстуке и невеста, вся в белом, с венком флердоранжа и с вуалью на голове, были на виду прохожих.

Устраивали такие пиры кондитеры на всякую цену- с холодными и с горячими блюдами, с генералом штатским и генералом военным, с «кавалерией» и «без кавалерии». Военные с обширной «кавалерией» на груди, иногда вплоть до ленты через плечо, ценились очень дорого и являлись к богатому купечеству, конечно, не «именитому», имевшему для пиров свои дворцы и «своих» же генералов.

Лакеи ценились по важности вида. Были такие, с расчесанными седыми баками, что за министра можно принять… только фрак засаленный и всегда с чужого плеча. Лакеи приглашались по публике глядя. И вина подавались тоже «по публике».

— Чтоб вина были от Депре: коньяк № 184, портвейн № 211 и № 113… С розовым ярлыком… Знаешь? — заказывает бывалый купец, изучивший в трактирах марки модных тогда вин.

— Слушаю… только за эту цену пополам придется.

— Ну ладно, пополам так пополам, на главный стол орла, а на задние ворону…

Дошлые были купцы, а кондитеры еще чище… «Орел» и «ворона» — и оба Депре!

Были у водочника Петра Смирнова два приказчика — Карзин и Богатырев. Отошли от него и открыли свой винный погреб в Златоустинском переулке, стали разливать свои вина, — конечно, мерзость. Вина эти не шли. Фирма собиралась уже прогореть, но, на счастье, пришел к ним однажды оборванец и предложил некоторый проект, а когда еще показал им свой паспорт, то оба в восторг пришли: в паспорте значилось — мещанин Цезарь Депре…

Портвейн 211-й и 113-й… Коньяк 184… Коньяк «финьшампань» 195… Ярлык и розовый, и черный, и белый… Точно скопировано у Депре… Ну, кто будет вглядываться, что Ц. Депре, а не К. Депре, кто разберет, что у К. Депре орел на ярлыке, а у Ц. Депре ворона без короны, сразу и не разглядишь…

И вот на балах и свадьбах и на поминовенных обедах, где народ был «серый», шли вина с вороной…

Долго это продолжалось, но кончилось судом. Оказалось, что Ц. Депре, компаньон фирмы под этим именем, лицо действительное и паспорт у него самый настоящий.

На свадьбу из церкви первыми приезжают гости. Они входят парами: толстые купчихи в шелках рядом с мужьями в долгополых сюртуках. На некоторых красуются медали «За усердие». Молодежь и дамы — под руку. Все выстраиваются шеренгами возле стен. Когда все установятся, показывается в ливрее, с жезлом вроде скипетра церемониймейстер, а вслед за ним, под руку с женихом, невеста с букетом. Они становятся впереди гостей, а вслед за ними идут пары: сначала — родители жениха и становятся по правую руку от жениха, потом родители невесты подходят к ним и становятся рядом с невестой, предварительно расцеловавшись с детьми и между собой.

Лакеи вносят в тонких длинных бокалах шампанское: «Редерер» или «Клико» — для почетных и ленинское — для гостей попроще.

Поздравления и тосты. Иногда зазвенит о пол разбитый бокал, что считается счастливым предзнаменованием. Оркестр играет туш. После поздравления все усаживаются вокруг стола. Начинается чаепитие. Потом часть гостей идет в соседние комнаты играть в карты. Тогда играли в стуколку по крупной и по мелкой. Другие окружают буфет. Затем начинаются танцы и свадебное веселье. Когда дотанцуются до усталости, идут к свадебному обеду, который сразу делается шумным, потому что буфет уже сделал свое дело. Свадебный генерал говорит поздравительную речь, потом идут тосты и речи, кто во что горазд. Молодежь — барышни и кавалеры — перекидываются через стол шариками хлеба, а потом и все принимают участие в этой игре, и летят через столы головы селедок, корки хлеба, а иногда сверкнет и красный рак, украшавший разварного осетра…

После отъезда «молодых» гости еще допивают остатки, а картежники, пришедшие в азарт, иногда играют до следующего дня.

На окраинах существовал особый промысел. В дождливую погоду, особенно осенью, немощеный переулок представлял собой вязкое болото, покрытое лужами, и надо меж них уметь лавировать, знать фарватер улицы. Мальчишки всегда дежурили на улице. Это лоцманы. Когда едет богатый экипаж — тут ему и беда.

Был случай, когда свадебная карета — этот стеклянный фонарь, где сидели разодетые в пух и прах невеста с женихом, — проезжала в одном из переулков в Хапиловке.

Эта местность особенно славилась своими пиратами. «Молодые» ехали с визитом к жившему в этом переулке богатому и скупому родственнику и поразили местное население невиданным экипажем на дорогой паре лошадей под голубой шелковой сеткой. Глаза у пиратов сразу разгорелись на добычу.

— Коим тут местом проехать, ребята?

— А вот сюды, полевей. Еще полевей!

Навели на скрытую водой глубокую рытвину: лошади сразу по брюхо, а карета набок. Народ сбежался — началась торговля, и «молодые» заплатили полсотни рублей за выгрузку кареты и по десять рублей за то, что перенесли «молодых» на руках в дом дяди.

Теперь там асфальтовые мостовые, а о свадебных каретах, вероятно, и памяти уж не осталось.

На поминовенных обедах в холодную зиму кондитер не топил помещение.

— Народом нагреется, ко второму блюду всем жарко будет! — утешал он гостей.

— Да ведь ноги замерзли!

— А вы калошек не снимайте… Эй, свицар, принеси их степенству калошки…

Так предложил и мне толстый кондитер Феоктистов, когда я раздевался в промерзлой передней.

Еще за кутьей, этим поминовенным кушаньем, состоявшим из холодного риса с изюмом, и за блинами со свежей икрой, которую лакеи накладывали полными ложками на тарелки, слышался непрерывный топот вместе с постукиванием ножей. Если закрыть глаза, представлялось, что сидишь в конюшне с деревянным полом. Это гости согревали ноги.

Единственный наследник, которому поминаемый оставил большое наследство, сидел на почетном месте, против духовенства, и усердно подливал «святым отцам» и водку и вино, и сам тоже притопывал, согревая ноги.

— Во благовремении и при такой низкой температуре вино на пользу организму послужить должно, — гулко басил огромный протодьякон перед каждым лафитным стаканом водки, который он плескал в свой огромный рот.

— Л вот покойничек рябиновочку обожал… Помянем душу усопшего рябиновочкой… Отец Никодим, пожалуйте по единой, — подтягивал церковный староста, друг покойного.

— Нет, уж я лучше кагорцу. Я не любитель рябиновки. Кагорец, оно лучше… крепит, а та послабляет… Я — кагорцу.

— А я вот рябиновочки…

Когда уже пар стоял над обедающими и топот прекратился, обносили миндальным киселем с миндальным молоком.

Чоканье стаканов прорезало глухой шум трехсот голосов, иногда покрываемых раскатистым хохотом.

И вдруг какой-то звериный рык. Это протодьякон встал, крякнул и откашлялся… Задвигались стулья, воцарилось молчание, а протодьякон рявкнул:

— Вечная память… ве-ечная па-амять!..

И огромные стекла гудели в окнах, и звенели стеклянные висюльки на старинной княжеской люстре. Поминальный обед кончился.

История двух домов

При Купеческом клубе был тенистый сад, где члены клуба летом обедали, ужинали и на широкой террасе встречали солнечный восход, играя в карты или чокаясь шампанским. Сад выходил в Козицкий переулок, который прежде назывался Успенским, но с тех пор, как статс-секретарь Екатерины II Козицкий выстроил на Тверской дворец для своей красавицы жены, сибирячки-золотопромышленницы Е. И. Козицкой, переулок стал носить ее имя и до сих пор так называется.

Дом этот в те времена был одним из самых больших и лучших в Москве, фасадом он выходил на Тверскую, выстроен был в классическом стиле, с гербом на фронтоне и двумя стильными балконами.

После смерти Е. И. Козицкой дом перешел к ее дочери, княгине А. Г. Белосельской-Белозерской. В этом-то самом доме находился исторический московский салон Дочери Белосельского-Белозерского — Зинаиды Волконской. Здесь в двадцатых годах прошлого столетия собирались тогдашние представители искусства и литературы. Пушкин во время своих приездов в Москву бывал у Зинаиды Волконской, которой посвятил известное стихотворение:

Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений,
И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется, и пылает гений.
Певца, плененного тобой.
Не отвергай смиренной дани,
Внемли с улыбкой голос мой,
Как мимоездом Каталани
Цыганке внемлет кочевой.

Один из гостей Волконской, поэт А. Н. Муравьев, случайно повредил стоявшую в салоне статую Аполлона. Сконфузившись и желая выйти из неловкого положения, Муравьев на пьедестале статуи написал какое-то четверостишие, вызвавшее следующий экспромт Пушкина:

Лук звенит, стрела трепещет.
И, клубясь, издох Пифон;
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон!
Кто ж вступился за Пифона,

Кто разбил твой истукан?
Ты, соперник Аполлона,
Бельведерский Митрофан.

В салоне Зинаиды Волконской веял дух декабристов.

По ступеням беломраморной лестницы Москва провожала до зимнего возка княгиню Марию Волконскую, жену сосланного на каторгу декабриста, когда она ехала туда, где

Работа кипела под звуки оков,
Под песни — работа над бездной!
Стучались в упругую грудь рудников
И заступ и молот железный.

Родные, близкие, друзья собрались проводить остановившуюся здесь на сутки проездом в Сибирь Марию Волконскую.

В поэме Некрасова «Русские женщины» Мария Волконская уже далеко, в снежной тундре, так вспоминает этот незабвенный вечер:

Певцов-итальянцев тут слышала я,
Что были тогда знамениты,
Отца моего сослуживцы, друзья
Тут были, печалью убиты.
Тут были родные ушедших туда,
Куда я сама торопилась.
Писателей группа, любимых тогда,
Со мной дружелюбно простилась:
Тут были Одоевский, Вяземский;
был Поэт вдохновенный и милый,
Поклонник кузины, что рано почил,
Безвременно взятый могилой,[17]
И Пушкин тут был…

Зинаида Волконская навсегда поселилась в Италии, где салон «Северной Коринны», как ее там прозвали, привлекал лучшее общество Рима. Но в конце концов ее обобрало католическое духовенство, и она умерла в бедности. Московский салон прекратился с ее отъездом в 1829 году, а дом во владении Белосельских-Белозерских, служивших при царском дворе, находился до конца семидесятых годов, когда его у князей купил подрядчик Малкиель. До этого известно только, что в конце шестидесятых годов дом был занят пансионом Репмана, где учились дети богатых людей, а весь период от отъезда Волконской до Репмана остается неизвестным. Из этого периода дошла до нас только одна легенда, сохранившаяся у стариков соседей да у отставных полицейских Тверской части, которые еще были живы в восьмидесятых годах и рассказывали подробности.

В середине прошлого века поселилась во дворце Белосельских-Белозерских старая княгиня, родственница владельца, и заняла со своими многочисленными слугами и приживалками половину здания, заперев парадные покои. Дворец погрузился в тихий мрак. Только раз в неделю, в воскресенье, слуги сводили старуху по беломраморной лестнице и усаживали в запряженную шестеркой старых рысаков карету, которой правил старик кучер, а на запятках стояли два ветхих лакея в шитых ливреях, и на левой лошади передней пары мотался верхом форейтор, из конюшенных «мальчиков», тоже лет шестидесяти.

---

[17] Веневитинов

После возвращения от обедни опять на целую неделю запирались на замок ворота, что не мешало, впрочем, дворне лазить через забор и пропадать целые ночи, за что им жестоко доставалось от немца-управляющего. Он порол их немилосердно. Тогда, по московскому обычаю, порку призводила по субботам полиция. Управляющий отбирал виновных, отправлял их в часть с поименной запиской и с пометкой, сколько кому ударов дать; причем письмо на имя квартального всегда заканчивалось припиской: «при сем прилагается три рубля на розги». Но порка не помогала, путешествия через забор не прекращались, — уж очень соблазнительно было.

По другую сторону Тверской стоял за решеткой пустовавший огромный дом, выстроенный еще при Екатерине II вельможей Прозоровским и в сороковых годах очутившийся в руках богатого помещика Гурьева, который его окончательно забросил. Дом стоял с выбитыми окнами и провалившейся крышей. Впоследствии, в восьмидесятых годах, в этом доме был «Пушкинский театр» Бренко.

А тогда в нем жили… черти.

Такие слухи упорно носились по Москве. Прохожие по ночам слышали раздававшиеся в доме вой, грохот ржавого железа, а иногда на улицу вылетали из дома кирпичи, а сквозь разбитые окна многие видели белое привидение.

Черти проказили, старая княгиня ездила к обедне, а заведовавший в части поркой квартальный, из аракчеевских солдат, получал свои трешницы, и никто не обращал внимания на дом, где водятся черти.

Но вот и в доме Белосельских появилась нечистая сила! Слух о привидении пошел со двора; из людской перекинулся к барыниным приживалкам. Этому слуху предшествовал переполох в доме Гурьева. Нижний этаж там снял содержатель зверинца, известный укротитель Крейцберг, увековеченный стихами П. Вейнберга, а верхний продолжал стоять с разбитыми рамами и прогнившей крышей.

Стали привозить зверей, расставлять клетки. Вот тут и начался переполох среди приживалок старой барыни: «Нечистую силу спугнули звери, она сюда и переселилась!» Наконец увидали и белое привидение, ходившее по лестнице. Доложили барыне, и на другой день «по старой Калужской дороге», вслед за каретой шестеркой и тройкой немца-управляющего, потянулись телеги с имуществом и семьями крепостных. Мужчины шли пешком, босые и полураздетые, и больше половины их разбежалось дорогой. Дворец Белосельских опустел окончательно.

Между тем Крейцберг поселился в доме Гурьева, в комнате при зверинце, вместе с ручной пантерой. В первую же ночь пантера забеспокоилась. Проснулся укротитель и услышал страшный вой зверей, обычно мирно спавших по ночам.

Укротитель зажег свечку, взял заряженный пистолет и вышел в зверинец.

Перед ним двигалось приведение в белом и исчезло в вестибюле, где стало подниматься по лестнице во второй этаж. Крейцберг пустил вслед ему пулю, выстрел погасил свечку, — пришлось вернуться. На другой день наверху, в ободранных залах, он обнаружил кучу соломы и рогож — место ночлега десятков людей.

Полиция сделала засаду. Во дворе были задержаны два оборванца, и в одном из них квартальный узнал своего «крестника», которого он не раз порол по заказу княгининого управляющего.

В следующую ночь дом Белосельских был тоже окружен мушкетерами и пожарными, и в надворных строениях была задержана разбойничья шайка, переселившаяся из дома Гурьева. Была найдена и простыня, в которой форейтор изображал «белую даму». В числе арестованных оказалось с десяток поротых клиентов квартального.

Они сознались, что белое привидение было ими выдумано, чтобы выселить барыню, а главное — зверя-управляющего и чтобы всей шайкой поселиться в пустом дворце Белосельских, так как при зверинце в старом убежище оставаться было уже нельзя. «Призраки» были жестоко выпороты в Тверской части. Особенно форейтор, изображавший «белую даму».

Такова легенда, ходившая об этих домах. Вслед за зверинцем, еще в не отделанных залах дома Гурьева, в бельэтаже, открылся танцкласс. И сейчас еще живы москвичи, отплясывавшие там в ободранных залах в то время, когда над танцующими носились голуби и воробьи, а в капителях колонн из птичьих гнезд торчали солома и тряпки.

Долго еще боялись этих домов москвичи и, чуть стемнеет, перебегали на всякий случай на противоположный тротуар, сначала на одну сторону, а потом на другую. Подальше от нечистой силы.

Прошло много лет. В 1878 году, после русско-турецкой войны, появился в Москве миллионер Малкиель — поставщик обуви на войска. Он купил и перестроил оба эти дома: гурьевский — на свое имя, и отделал его под «Пушкинский театр» Бренко, а другой — на имя жены.

Во флигеле дома, где был театр Бренко, помещалась редакция журнала «Будильник». Прогорел театр Бренко, прогорел Малкиель, дома его перешли к кредиторам. «Будильник» продолжал там существовать, и помещение редакции с портретами главных сотрудников, в числе которых был еще совсем юный Антон Чехов, изображено Константином Чичаговым и напечатано в красках во всю страницу журнала в 1886 году.

После перестройки Малкиеля дом Белосельских прошел через много купеческих рук. Еще Малкиель совершенно изменил фасад, и дом потерял вид старинного дворца. Со времени Малкиеля весь нижний этаж с зеркальными окнами занимал огромный магазин портного Корпуса, а бельэтаж — богатые квартиры. Внутренность роскошных зал была сохранена. Осталась и беломраморная лестница, и выходивший на парадный двор подъезд, еще помнивший возок Марии Волконской.

Домом по очереди владели купцы Носовы, Ланины, Морозовы, и в конце девяностых годов его приобрел петербургский миллионер Елисеев, колониальщик и виноторговец, и приступил к перестройке. Архитектор, привезенный Елисеевым, зашил весь дом тесом, что было для Москвы новинкой, и получился гигантский деревянный ящик, настолько плотный, что и щелочки не осталось.

Идет год, второй, но плотные леса все еще окружают стройку. Москвичи-старожилы, помнившие, что здесь когда-то жили черти и водились привидения, осторожно переходили на другую сторону, тем более, что о таинственной стройке шла легенда за легендой.

Нашлись смельчаки, которые, несмотря на охрану и стаю огромных степных овчарок во дворе, все-таки ухитрялись проникнуть внутрь, чтобы потом рассказывать чудеса.

— Индийская пагода воздвигается.

— Мавританский замок.

— Языческий храм Бахуса.

Последнее оказалось ближе всего к истине.

Наконец леса были сняты, тротуары очищены, и засверкали тысячи огней сквозь огромные зеркальные стекла.

Храм Бахуса.

Впрочем, это название не было официальным; в день снятия лесов назначено было торжественное, с молебствием освящение «Магазина Елисеева и погреба русских и иностранных вин».

С утра толпы народа запрудили улицу, любуясь на щегольской фасад «нового стиля» с фронтоном, на котором вместо княжеского герба белелось что-то из мифологии, какие-то классические фигуры. На тротуаре была толчея людей, жадно рассматривавших сквозь зеркальные стекла причудливые постройки из разных неведомых доселе Москве товаров.

Горами поднимаются заморские фрукты; как груда ядер, высится пирамида кокосовых орехов, с голову ребенка каждый; необъятными, пудовыми кистями висят тропические бананы; перламутром отливают разноцветные обитатели морского царства — жители неведомых океанских глубин, а над всем этим блещут электрические звезды на батареях винных бутылок, сверкают и переливаются в глубоких зеркалах, вершины которых теряются в туманной высоте.

Так был описан в одной из ненапечатанных «Поэм о Москве» этот храм обжорства:

А на Тверской в дворце роскошном Елисеев
Привлек толпы несметные народа
Блестящей выставкой колбас, печений, лакомств…
Ряды окороков, копченых и вареных,
Индейки, фаршированные гуси,
Колбасы с чесноком, с фисташками и перцем,
Сыры всех возрастов — и честер, и швейцарский,
И жидкий бри, и пармезон гранитный…
Приказчик Алексей Ильич старается у фруктов.
Уложенных душистой пирамидой,
Наполнивших корзины в пестрых лентах…
Здесь все — от кальвиля французского с гербами
До ананасов и невиданных японских вишен.

Двери магазина были еще заперты, хотя внутри стали заранее собираться приглашенные, проходя со двора.

Привезенные для молебна иконы стояли посреди магазина, среди экзотических растений.

Наконец, к полудню зашевелилась полиция, оттесняя народ на противоположную сторону улицы. Прискакал взвод жандармов и своими конями разделил улицу для проезда важных гостей.

Ровно в полдень, в назначенный час открытия, двери магазина отворились, и у входа появился громадный швейцар. Начали съезжаться гости, сверкая орденами и лентами, военное начальство, штатские генералы в белых штанах и плюмажных треуголках, духовенство в дорогих лиловых рясах. Все явились сюда с какого-то официального богослужения в Успенском соборе. Некоторые, впрочем, заезжали домой и успели переодеться. Елисеев ловко воспользовался торжественным днем.

В зале встречал гостей стройный блондин — Григорий Григорьевич Елисеев в безукоризненном фраке, с «Владимиром» на шее и французским орденом «Почетного легиона» в петлице. Он получил этот важный орден за какое-то очень крупное пожертвование на благотворительность, а «Почетный легион» — за выставку в Париже выдержанных им французских вин.

Архиерея Парфения встретил синодальный хор в своих красных, с откидными рукавами камзолах, выстроившийся около икон и церковнослужителей с ризами для духовенства.

Нечто фантастическое представляло собой внутренность двусветного магазина. Для него Елисеев слил нижний этаж с бельэтажем, совершенно уничтожив зал и гостиные бывшего салона Волконской, и сломал историческую беломраморную лестницу, чтобы очистить место елисеевским винам. Золото и лепные украшения стен и потолка производили впечатление чего-то странного. В глубине зала вверху виднелась темная ниша в стене, вроде какой-то таинственной ложи, а рядом с ней были редкостные английские часы, огромный золоченый маятник которых казался неподвижным, часы шли бесшумно.

Зал гудел, как муравейник. Готовились к молебну. Духовенство надевало златотканые ризы. Тишина. Тихо входят мундирные и фрачные гости. За ними — долгополые сюртуки именитых таганских купцов, опоздавших к началу.

В половине молебна в дверях появилась громадная, могучая фигура, с первого взгляда напоминающая Тургенева, только еще выше и с огромной седеющей львиной гривой — прямо-таки былинный богатырь.

Странным показался серый пиджак среди мундиров, но большинство знатных гостей обернулось к нему и приветливо кланялось.

А тот по своей близорукости, которой не помогало даже пенсне, ничего и никого не видел. Около него суетились Елисеев и благообразный, в черном сюртуке, управляющий новым магазином.

Это был самый дорогой гость, первый знаток вин, создавший огромное виноделие Удельного ведомства и свои образцовые виноградники «Новый Свет» в Крыму и на Кавказе, — Лев Голицын.

Во второй половине зала был сервирован завтрак.

Серебро и хрусталь сверкали на белоснежных скатертях, повторяя в своих гранях мириады электрических отблесков, как застывшие капли водопада, переливались всеми цветами радуги. А посредине между хрустальными графинами, наполненными винами разных цветов, вкуса и возраста, стояли бутылки всевозможных форм — от простых светлых золотистого шато-икема с выпуклыми стеклянными клеймами до шампанок с бургонским, кубышек мадеры и неуклюжих, примитивных бутылок венгерского. На бутылках старого токая перламутр времени сливался с туманным фоном стекла цвета болотной тины.

На столах все было выставлено сразу, вместе с холодными закусками. Причудливых форм заливные, желе и галантины вздрагивали, огромные красные омары и лангусты прятались в застывших соусах, как в облаках, и багрянили при ярком освещении, а доминировали надо всем своей громадой окорока.

Окорока вареные, с откинутой плащом кожей, румянели розоватым салом. Окорока вестфальские провесные, тоже с откинутым плащом, спорили нежной белизной со скатертью. Они с математической точностью нарезаны были тонкими, как лист, пластами во весь поперечник окорока, и опять пласты были сложены на своп места так, что окорок казался целым.

Жирные остендские устрицы, фигурно разложенные на слое снега, покрывавшего блюда, казалось, дышали.

Наискось широкого стола розовели и янтарились белорыбьи и осетровые балыки. Чернелась в серебряных ведрах, в кольце прозрачного льда, стерляжья мелкая икра, высилась над краями горкой темная осетровая и крупная, зернышко к зернышку, белужья. Ароматная

паюсная, мартовская, с Сальянских промыслов, пухла на серебряных блюдах; далее сухая мешочная — тонким ножом пополам каждая икринка режется — высилась, сохраняя форму мешков, а лучшая в мире паюсная икра с особым землистым ароматом, ачуевская — кучугур, стояла огромными глыбами на блюдах…

Ряды столов представляли собой геометрическую фигуру.

Кончился молебен. Начался завтрак. Архиерей в черной рясе и клобуке занял самое почетное место, лицом к часам и завешенной ложе.

Все остальные гости были рассажены строго по чинам и положению в обществе. Под ложей, на эстраде, расположился оркестр музыки.

Из духовенства завтракать остались только архиерей, местный старик священник и протодьякон — бас необычайный. Ему предстояло закончить завтрак провозглашением многолетия. Остальное духовенство, получив «сухими» и корзины лакомств для семей, разъехалось, довольное подарками.

Архиерея угощали самыми дорогими винами, но он только их «пригубливал», давая, впрочем, отзывы, сделавшие бы честь и самому лучшему гурману.

Усердно угощавшему Елисееву архиерей отвечал:

— И не просите, не буду. Когда-нибудь, там, после… А теперь, сами видите, владыке не подобает.

Зато протодьякон старался вовсю, вливая в необъятную утробу стакан за стаканом из стоявших перед ним бутылок. Только покрякивал и хвалил.

Становилось шумнее. Запивая редкостные яства дорогими винами, гости пораспустились. После тостов, сопровождавшихся тушами оркестра, вдруг какой-то подгулявший гость встал и потребовал слова. Елисеев взглянул, сделал нервное движение,

нагнулся к архиерею и шепнул что-то на ухо. Архиерей мигнул сидевшему на конце стола протодьякону, не спускавшему глаз со своего владыки.

Не замолк еще стук ножа о тарелку, которым оратор требовал внимания, как по зале раздалось рыканье льва: это откашлялся протодьякон, пробуя голос.

Как гора, поднялся он, и загудела по зале его октава, от которой закачались хрустальные висюльки на канделябрах.

— Многолетие дому сему! Здравие и благоденствие! А когда дошел до «многая лета», даже страшно стало.

Официальная часть торжества кончилась.

Архиерей встал, поклонился и жестом попросил всех остаться на своих местах. Хозяин проводил его к выходу.

Громовые октавы еще переливались бархатным гулом под потолком, как вдруг занавес ложи открылся и из нее, до солнечного блеска освещенной внутри, грянула разудалая песня:

Гайда, тройка, снег пушистый.
Ночь морозная кругом…

Публика сразу пришла в себя, увидав в ложе хор яровских певиц в белых платьях.

Бешено зааплодировали Анне Захаровне, а она, коротенькая и толстая, в лиловом платье, сверкая бриллиантами, кланялась из своей ложи и разводила руками, посылая воздушные поцелуи.

На другой день и далее, многие годы, до самой революции, магазин был полон покупателей, а тротуары — безденежных, а то и совсем голодных любопытных, заглядывавших в окна.

— И едят же люди. Ну, ну!

В этот магазин не приходили: в него приезжали.

С обеих сторон дома на обеих сторонах улицы и глубоко по Гнездниковскому переулку стояли собственные запряжки: пары, одиночки, кареты, коляски, одна другой лучше. Каретники старались превзойти один другого. Здоровенный, с лицом в полнолуние, швейцар в ливрее со светлыми пуговицами, но без гербов, в сопровождении своих помощников выносил корзины и пакеты за дамами в шиншиллях и соболях с кавалерами в бобрах или в шикарных военных «николаевских» шинелях с капюшонами.

Он громовым голосом вызывал кучеров, ставил в экипаж покупки, правой рукой на отлет снимал картуз с позументом, а в левой зажимал полученный «на чай».

Все эти важные покупатели знали продавцов магазина и особенно почтенных звали по имени и отчеству.

— Иван Федорыч, чем полакомите?

Иван Федорович знал вкусы своих покупателей по своему колбасному или рыбному отделению.

Знал, что кому предложить: кому нежной, как сливочное масло, лососины, кому свежего лангуста или омара, чудищем красневшего на окне, кому икру, памятуя, что один любит белужью, другой стерляжью, третий кучугур, а тот сальян. И всех помнил Иван Федорович и разговаривал с каждым таким покупателем, как равный с равным, соображаясь со вкусом каждого.

— Вот, Николай Семеныч, получена из Сибири копченая нельмушка и маринованные налимьи печенки. Очень хороши. Сам я пробовал. Вчера граф Рибопьер с Карлом Александрычем приезжали. Сегодня за второй порцией прислали… Так прикажете завернуть?

Распорядился и быстро пошел навстречу высокой даме, которой все кланялись.

— Что прикажете, Ольга Осиповна?

— А вот что, ты уж мне, Иван Федорыч, фунтик маслица, там какое-то финляндское есть…

— Есть, есть, Ольга Осиповна.

— Да кругленькую коробочку селедочек маринованных. Вчера муж брал.

— Знаю-с, вчера Михаил Провыч брали…

О. О. Садовская, почти ежедневно заходившая в магазин, пользовалась особым почетом, как любимая артистка.

Вообще же более скромная публика стеснялась заходить в раззолоченный магазин Елисеева.

Дамы обыкновенно толпились у выставки фруктов, где седой, высокий, важный приказчик Алексей Ильич у одного прилавка, а у другого его помощник, молодой и красивый Александр Иванович, знали своих покупательниц и умели так отпустить им товар, что ни одного яблока не попадет с пятнышком, ни одной обмякшей ягодки винограда.

Всем магазином командовал управляющий Сергей Кириллович, сам же Елисеев приезжал в Москву только на один день: он был занят устройством такого же храма Бахуса в Петербурге, на Невском, где был его главный, еще отцовский магазин.

В один из таких приездов ему доложили, что уже три дня ходит какой-то чиновник с кокардой и портфелем, желающий говорить лично «только с самим» по важному делу, и сейчас он пришел и просит доложить.

Принимает Елисеев скромно одетого человека в своем роскошном кабинете, сидя в кресле у письменного стола, и даже не предлагает ему сесть.

— Что вам угодно?

— Мне угодно запечатать ваш магазин. Я мог бы это сделать и вчера, и третьего дня, но без вас не хотел. Я — вновь назначенный акцизный чиновник этого участка.

Елисеев встает, подает ему руку и, указывая на средний стул, говорит:

— Садитесь, пожалуйста.

— Да позвольте уже здесь, к письменному столу… Мне удобнее писать протокол.

И сел.

— Какой протокол?

— О незаконной торговле вином, чего ни в каком случае я допустить не могу, чтобы не быть в ответе.

Елисеев сразу догадался, в чем дело, но возразил:

— Магазин с торговлей винами мне разрешен властями. Это вы, кажется, должны знать.

— Власти разрешили вам, но упустили из виду, что вход в заведение, торгующее вином, от входа в церковь не разрешается ближе сорока двух сажен. А где у вас эти сорок две сажени?

Какой был в дальнейшем разговор у Елисеева с акцизным, неизвестно, но факт тот, что всю ночь кипела работа: вывеска о продаже вина перенесена была в другой конец дома, выходящий в Козицкий переулок, и винный погреб получил отдельный ход и был отгорожен от магазина.

Вина, заказанные в магазине, приходилось брать через ход с Козицкого переулка, но, конечно, не для всех.

Вина составляли главный доход Елисеева. В его погребах хранились самые дорогие вина, привезенные отцом владельца на трех собственных парусных кораблях, крейсировавших еще в первой половине прошлого века между Финским заливом и гаванями Франции, Испании, Португалии и острова Мадейры, где у Елисеева были собственные винные склады.

В мифологии был Бахус и была слепая Фемида, богиня правосудия с весами в руках, на которых невидимо Для себя и видимо для всех взвешивала деяния людские и преступления. Глаза у нее были завязаны, чтобы никакого подозрения в лицеприятии быть не могло.

Прошли тысячелетия со времени исчезновения олимпийских богов, но поклонники Бахуса не переводились, и на их счет воздвигали храмы жрецы его.

Строились храмы и Фемиде, долженствовавшей взвешивать грехи поклонников Бахуса.

Она изображалась в храмах всего мира с повязкой на глазах. Так было в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Калькутте, Тамбове и Можайске.

А в Московском Кремле, в нише вестибюля она смотрела во все глаза! И когда она сняла повязку — неизвестно. А может, ее и совсем не было?

С самого начала судебной реформы в кремлевском храме правосудия, здании судебных установлений, со дня введения судебной реформы в 1864–1866 годы стояла она. Статуя такая, как и подобает ей быть во всем мире: весы, меч карающий и толстенные томы законов. Одного только не оказалось у богини, самого главного атрибута — повязки на глазах.

Почти полвека стояла зрячая Фемида, а может быть, и до сего времени уцелела как памятник старины в том же виде. Никто не обращал внимания на нее, а когда один газетный репортер написал об этом заметку в либеральную газету «Русские ведомости», то она напечатана не была.

— Да нельзя же, на всю Европу срам пойдет!

Не повезло здесь богине правосудия: тысячепудовый штукатурный потолок с богатой лепкой рухнул в главном зале храма Фемиды, сшиб ей повязку вместе с головой, сокрушил и символ закона — зерцало.

Счастье, что Фемида была коммерческая, не признававшая кровавых жертв, и потому обошлось без них: потолок рухнул ночью, в пустом помещении.

Храм Бахуса существовал до Октябрьской революции. И теперь это тот же украшенный лепными работами двусветный зал, только у подъезда не вызывает швейцар кучеров, а магазин всегда полон народа, покупающего необходимые для питания продукты.

И все так же по вечерам яркие люстры сверкают сквозь зеркальные стекла.

Когда Елисеев сдал третий этаж этого дома под одной крышей с магазином коммерческому суду, то там были водружены, как и во всех судах, символы закона: зерцала с указом Петра I и золоченый столб с короной наверху, о котором давным-давно ходили две строчки:

В России нет закона,
Есть столб, и на столбе корона.

Водрузили здесь и Фемиду с повязкой на глазах.

Но здесь ей надели повязку для того, должно быть, чтобы она не видела роскоши соседнего храма Бахуса, поклонники которого оттуда время от времени поднимались волей рока в храм Фемиды.

Бани

Единственное место, которого ни один москвич не миновал, — это бани. И мастеровой человек, и вельможа, и бедный, и богатый не могли жить без торговых бань.

В восьмидесятых годах прошлого века всемогущий «хозяин столицы» — военный генерал-губернатор В. А. Долгоруков ездил в Сандуновские бани, где в шикарном номере семейного отделения ему подавались серебряные тазы и шайки. А ведь в его дворце имелись мраморные ванны, которые в то время были еще редкостью в Москве. Да и не сразу привыкли к ним москвичи, любившие по наследственности и веничком попариться, и отдохнуть в раздевальной, и в своей компании «язык почесать».

Каждое сословие имело свои излюбленные бани. Богатые и вообще люди со средствами шли в «дворянское» отделение. Рабочие и беднота — в «простонародное» за пятак.

Вода, жар и пар одинаковые, только обстановка иная. Бани как бани! Мочалка — тринадцать, мыло по одной копейке. Многие из них и теперь стоят, как были, и в тех же домах, как и в конце прошлого века, только публика в них другая, да старых хозяев, содержателей бань, нет, и память о них скоро совсем пропадет, потому что рассказывать о них некому.

В литературе о банном быте Москвы ничего нет. Тогда все это было у всех на глазах, и никого не интересовало писать о том, что все знают: ну кто будет читать о банях? Только в словаре Даля осталась пословица, очень характерная для многих бань: «Торговые бани других чисто моют, а сами в грязи тонут!»

И по себе сужу: проработал я полвека московским хроникером и бытописателем, а мне и на ум не приходило хоть словом обмолвиться о банях, хотя я знал немало о них, знал бытовые особенности отдельных бань; встречался там с интереснейшими москвичами всех слоев, которых не раз описывал при другой обстановке. А ведь в Москве было шестьдесят самых разнохарактерных, каждая по-своему, бань, и, кроме того, все они имели постоянное население, свое собственное, сознававшее себя настоящими москвичами.

Даже в моей первой книге о «Москве и москвичах» я ни разу и нигде словом не обмолвился и никогда бы не вспомнил ни их, ни ту обстановку, в которой жили банщики, если бы один добрый человек меня носом не ткнул, как говорится, и не напомнил мне одно слово, слышанное мною где-то в глухой деревушке не то бывшего Зарайского, не то бывшего Коломенского уезда; помню одно лишь, что деревня была вблизи Оки, куда я часто в восьмидесятых годах ездил на охоту.

Там, среди стариков, местных жителей, я не раз слыхал это слово, а слово это было:

— Мы москвичи!

И с какой гордостью говорили они это, сидя на завалинках у своих избенок.

— Мы москвичи!

И приходит ко мне совершенно незнакомый, могучего сложения, с седыми усами старик:

— Вас я десятки лет знаю и последние книги ваши перечитал… Уж извините, что позволю себе вас побеспокоить.

Смотрит на меня и улыбается:

— За вами должок есть! Я положительно удивился.

— Новых долгов у меня нет, а за старые, с ростовщиками, за меня революция рассчиталась, спасибо ей!

Так ему и сказал.

— Да вот в том-то и дело, что есть, и долг обязательный…

— Кому же это я должен?

— Вы всей Москве должны!.. В ваших книгах обо всей

Москве написали и ни слова не сказали о банях. А ведь Москва без бань — не Москва! А вы Москву знаете, и грех вам не написать о нас, старых москвичах. Вот мы и просим вас не забыть бань.

Мы делились наперебой воспоминаниями, оба увлеченные одной темой разговора, знавшие ее каждый со своей стороны. Говорили беспорядочно, одно слово вызывало другое, одна подробность — другую, одного человека знал один с одной стороны, другой — с другой. Слово за слово, подробность за подробностью, рисовали яркие картины и типы.

Оба мы увлеклись одной целью — осветить знакомый нам быт со всех сторон.

— Вот я еще в силах работать, а как отдам все силы Москве — так уеду к себе на родину. Там мы ведь почти все москвичи. Вот почему нам и обидно, что вы нас забыли. Ваша аудитория гораздо шире, чем вы думали, озаглавливая книгу. Они не только те, которые родились в Москве, а и те, которых дают Москве области. Так, Ярославская давала половых, Владимирская — плотников, Калужская — булочников. Банщиков давали три губернии, но в каждой по одному-двум уездам, и не подряд, а гнездами. На Москву немного гнезд давал Коломенский уезд: коломенцы больше работают в Петербурге. Испокон века Москву насыщали банщиками уезды: Зарайский — Рязанский, Тульский — Каширский и Веневский. Так из поколения в поколение шли в Москву мужчины и женщины. Вот и я привезен был десятилетним мальчиком, как привозили и дедов, и отцов, и детей наших!..

Когда еще не было железных дорог, ребятишек привозили в Москву с попутчиками, на лошадях. Какой-нибудь родственник, живущий в Москве, также с попутчиком приезжал на

побывку в деревню, одетый в чуйку, картуз с лаковым козырьком, сапоги с калошами, и на жилете — часы с шейной цепочкой.

Все его деревенские родные и знакомые восхищались, завидовали, слушая его рассказы о хорошей службе, о житье в Москве. Отец, имеющий сына десяти — двенадцати лет, упрашивал довезти его до Москвы к родственникам, в бани.

Снаряжают мальчонку чуть грамотного, дают ему две пары лаптей, казинетовую поддевку, две перемены домотканого белья и выхлопатывают паспорт, в котором приходилось прибавлять года, что стоило денег.

В Москве мальчика доставляли к родственникам и землякам, служившим в какой-нибудь бане. Здесь его сперва стригут, моют, придают ему городской вид.

Учение начинается с «географии». Первым делом показывают, где кабак и как в него проникать через задний ход, потом — где трактир, куда бегать за кипятком, где булочная. И вот будущий москвич вступает в свои права и обязанности.

Работа мальчиков кроме разгона и посылок сливалась с работой взрослых, но у них была и своя, специальная. В два «небанных» дня недели — понедельник и вторник — мальчики мыли бутылки и помогали разливать квас, которым торговали в банях, а в «банные» дни готовили веники, которых выходило, особенно по субботам, и накануне больших праздников, в некоторых банях по три тысячи штук. Веники эти привозили возами из глухих деревень, особенно много из-под Гжели, связанные лыком попарно. Работа мальчиков состояла в том, чтобы развязывать веники.

В банях мальчики работали при раздевальнях, помогали и цирюльникам, а также обучались стричь ногти и срезать мозоли. На их обязанности было также готовить мочалки, для чего покупали кули из-под соли, на которые шло хорошее мочало. Для любителей бралось самое лучшее мочало — «бараночное», нежное и мягкое, — его привозили специально в московские булочные и на него низали баранки и сушки; оно было втрое дороже кулевого. В два «небанных дня» работы было еще больше по разному домашнему хозяйству, и вдобавок хозяин посылал на уборку двора своего дома, вывозку мусора, чистку снега с крыши. А больше всего мальчуганам доставалось и работы, и колотушек от «кусочников».

Это были полухозяева, в руках которых находились и банщики, и банщицы, и весь банный рабочий люд, а особенно эксплуатировались ими рабочие-парильщики, труд которых и условия жизни не сравнимы были ни с чем.

С пяти часов утра до двенадцати ночи голый и босой человек, только в одном коротеньком фартучке от пупа До колена, работает беспрерывно всеми мускулами своего тела, при переменной температуре от 14 до 60 градусов по Реомюру, да еще притом все время мокрый.

За это время он успевал просыхать только на полчаса в полдень, когда накидывал на себя для обеда верхнее платье и надевал опорки на ноги. Это парильщик.

Он не получал ни хозяйских харчей и никакого жалованья. Парильщики жили подачками от мывшихся за свой каторжный труд в пару, жаре и мокроте. Таксы за мытье и паренье не полагалось.

— Сколько ваша милость будет! — было их обычным ответом на вопрос вымытого посетителя.

Давали по-разному. Парильщики знали свою публику, кто сколько дает, и по-разному старались мыть и тереть.

В Сандуновские бани приходил мыться владелец пассажа миллионер Солодовников, который никогда не спрашивал — сколько, а молча совал двугривенный, из которого банщику доставался только гривенник.

Парильщики не только не получали жалованья, а половину своих «чайных» денег должны были отдавать хозяину или его заместителю — «кусочнику», «хозяйчику».

Кроме того, на обязанности парильщика лежала еще топка и уборка горячей бани и мыльной.

«Кусочник» следит, когда парильщик получает «чайные», он знает свою публику и знает, кто что дает. Получая обычный солодовниковский двугривенный, он не спрашивает, от кого получен, а говорит:

— От храппаидола… — и выругается.

«Кусочник» платил аренду хозяину бани, сам нанимал и увольнял рабочих, не касаясь парильщиков: эти были в распоряжении самого хозяина.

«Кусочники» жили семьями при банях, имели отдельные комнаты и платили разную аренду, смотря по баням, от двадцати до ста рублей в месяц.

В свою очередь, раздевальщики, тоже не получавшие хозяйского жалованья, должны были платить «кусочникам» из своих чаевых разные оклады, в зависимости от обслуживаемых раздевальщиком диванов, углов, простенков, кабинок.

«Кусочники» должны были стирать диванные простыни, платить жалованье рабочим, кормить их и мальчиков, а также отвечать за чистоту бань и за пропажу вещей у моющихся в «дворянских» банях.

Революция 1905 года добралась до «кусочников». Рабочие тогда постановили ликвидировать «кусочников», что им и удалось. Но через два года, с усилением реакции, «кусочники» опять появились и существовали во всей силе вплоть до 1917 года.

Бичом бань, особенно «простонародных», были кражи белья, обуви, а иногда и всего узла у моющихся. Были корпорации банных воров, выработавших свою особую систему. Они крали белье и платье, которое сушилось в «горячей» бане. Делалось это следующим образом. Воры «наподдавали» на «каменку», так, чтобы баня наполнилась облаком горячего пара; многие не выдерживали жары и выходили в мыльню. Пользуясь их отсутствием, воры срывали с шестов белье и прятали его тут же, а к вечеру снова приходили в бани и забирали спрятанное. За это приходилось расплачиваться служащим в банях из своего скудного содержания.

Была еще воровская система, практиковавшаяся в «дворянских» отделениях бань, где за пропажу отвечали «кусочники».

Моющийся сдавал платье в раздевальню, получал жестяной номерок на веревочке, иногда надевал его на шею или привязывал к руке, а то просто нацеплял на ручку шайки и шел мыться и париться. Вор, выследив в раздевальне, ухитрялся подменить его номерок своим, быстро выходил, получал платье и исчезал с ним. Моющийся вместо дорогой одежды получал рвань и опорки.

Банные воры были сильны и неуловимы. Некоторые хозяева, чтобы сохранить престиж своих бань, даже входили в сделку с ворами, платя им отступного ежемесячно, и «купленные» воры сами следили за чужими ворами, и если какой попадался — плохо ему приходилось, пощады от конкурентов не было: если не совсем убивали, то калечили на всю жизнь.

Во всех почти банях в раздевальнях были деревянные столбы, поддерживавшие потолок.

При поимке вора, положим, часов в семь утра, его, полуголого и босого, привязывали к такому столбу поближе к выходу. Между приходившими в баню бывали люди, обкраденные в банях, и они нередко вымещали свое озлобление на пойманном…

В полночь, перед запором бань, избитого вора иногда отправляли в полицию, что бывало редко, а чаще просто выталкивали, несмотря на погоду и время года.

В подобной обстановке с детских лет воспитывались будущие банщики. Побегов у них было значительно меньше, чем у деревенских мальчиков, отданных в учение по другим профессиям.

Бегали от побоев портные, сапожники, парикмахеры, столяры, маляры, особенно служившие у маленьких хозяйчиков — «грызиков», где они, кроме учения ремеслу, этими хозяйчиками, а главное — их пьяными мастерами и хозяйками употреблялись на всякие побегушки. Их, в опорках и полуголых, посылали во всякое время с ведрами на бассейн за водой, они вставали раньше всех в квартире, приносили дрова, еще затемно ставили

самовары.

Измученные непосильной работой и побоями, не видя вблизи себя товарищей по возрасту, не слыша ласкового слова, они бежали в свои деревни, где иногда оставались, а если родители возвращали их хозяину, то они зачастую бежали на Хитров, попадали в воровские шайки сверстников и через трущобы и тюрьмы нередко кончали каторгой.

С банщиками это случалось редко. Они работали и жили вместе со своими земляками и родственниками, видели, как они трудились, и сами не отставали от них, а кое-какие чаевые за мелкие услуги давали им возможность кое-как, по-своему, развлекаться.

В праздники вместе с родственниками они ходили на народные гулянья в Сокольники, под Девичье, на Пресню, ходили в балаганы, в цирк.

А главное, они, уже напитавшиеся слухами от родных в деревне, вспоминая почти что сверстника Федьку или Степку, приехавшего жениться из Москвы в поддевке, в сапогах с калошами да еще при цепочке и при часах, настоящим москвичом, — сами мечтали стать такими же.

Родные и земляки, когда приходило время, устраивали им кредит на платье и обувь.

Белье им шили в деревне из неизносимого домотканого холста и крашенины, исключая праздничных рубашек, для которых покупались в Москве кумач и ситец.

На рынке банщики покупали только опорки, самую необходимую обувь, без которой банщику обойтись нельзя: скоро, и все-таки обут.

В работе — только опорки и рванье, а праздничное платье было у всех в те времена модное. Высший шик — опойковые сапоги с высокими кожаными калошами.

Заказать такие сапоги было событием: они стоили тринадцать рублей. Носили их подолгу, а потом делали к ним головки, а опорки чинились и донашивались в бане.

Верхнее платье — суконные чуйки, длинные «сибирки», жилеты с глухим воротом, а зимой овчинный тулуп, крытый сукном и с барашковым воротником. Как и сапоги, носилось все это годами и создавалось годами, сначала одно, потом другое.

Мальчики, конечно, носили обноски, но уже загодя готовили себе, откладывая по грошам какому-нибудь родному дяде или банщице-тетке «капиталы» на задаток портному и сапожнику.

В ученье мальчики были до семнадцати-восемнадцати лет. К этому времени они постигали банный обиход, умели обращаться с посетителями, стричь им ногти и аккуратно срезывать мозоли. После приобретения этих знаний такой «образованный» отрок просил хозяина о переводе его в «молодцы» на открывшуюся вакансию, чтобы ехать в деревню жениться, а то «мальчику» жениться было неудобно: засмеют в деревне.

Готовясь жениться, произведенный в «молодцы» отправлялся на Маросейку, где над воротами красовались ножницы, а во дворе жил банный портной Иона Павлов.

Является к Павлову «молодец» со своим дядей, давним приятелем.

— Ион Павлыч! Вот молодцу надо бы построить тулупишко, чуйку и все иное прочее… женить его пора!

И построит ему Иона Павлыч, что надо, на многие годы, как он строил на всех банщиков. Он только на бани и работает, и бани не знали другого портного, как своего земляка.

Вся постройка и починка делалась в кредит, на выплату. Платили по мелочам, а главный расчет производился два раза в год — на пасху и на рождество.

Так же было и с сапожником. Идет «молодец» с дядей в Каретный ряд к земляку-сапожнику.

— Петр Кирсаныч, сними-ка мерку, жениться едет! Снимет Петр Кирсаныч мерку полоской бумаги, пишет что-то на ней и спрашивает:

— Со скрипом?

— Вали со скрипом! — отвечает за него дядя.

— Подковать бы еще, дядь, на медненькие, — просит «молодец». — Кованые моднее!..

— Ладно. А как тебя зовут?

— Петрунька.

Царапает что-то сапожник на мерке карандашом и, прощаясь, назначает:

— Через два воскресенья в третье привезу!

Уже три поколения банщиков обслуживает Кирсаныч. Особенно много у него починок. То и дело прибегают к нему заказчики: тому подметки, тому подбор, тому обсоюзить, тому головки, а банщицам — то новые полусапожки яловочные на резине для сырости, то бабке-костоправке башмаки без каблуков, и починка, починка всякая. Только успевай делать.

У каждого заказа надпись, из каких бань и чья обувь.

Летом в телегу, а зимой в сани-розвальни запрягает Петр Кирсаныч немудрого старого мерина, выносит с десяток больших мешков, садится на них, а за кучера — десятилетний внучек.

— Перво-наперво в Сандуновские, потом в Китайские, потом в Челышевские!

— Знаю, дедушка, знаю, как всегда!

Воскресенье — бани закрыты для публики. В раздевальне собираются рабочие: Кирсаныч обещал приехать.

Вот и он с большим мешком, на мешке надпись мелом: «Сандуны». Самая дружеская шумная встреча.

Кирсаныч аккуратно раскладывает свою работу и начинает вызывать:

— Иван Жесткий!.. Федор Горелый!.. Семен Рюмочка!.. Саша Пузырь!.. Маша Длинная!..

Тогда фамилии не употребляли между своих, а больше по прозвищам да по приметам. Клички давались по характеру, по фигуре, по привычкам.

И что ни кличка — то сразу весь человек в ней.

Иван действительно жесткий, Федор — всегда чуть не плачет, у Рюмочки — нос красный, Маша — длинная и тонкая, а Саша — маленький, прямо-таки пузырь.

Получают заказы. Рассчитываются. Появляется штоф, стаканчик, колбаса с огурцами — чествуют и благодарят земляка Кирсаныча.

Он уезжает уже на «первом взводе» в Китайские бани… Там та же история. Те же вызовы по приметам, но никто не откликается на надпись «Петрунька Некованый».

Только когда вытряхнулись из мешка блестящие сапоги с калошами, на них так и бросился малый с сияющим лицом, и расхохотался его дядя:

— Некованый!

Опять штоф, опять веселье, проводы в Челышевские бани… Оттуда дальше, по назначенному маршруту. А поздним вечером — домой, но уж не один Кирсаныч, а с каким-нибудь Рюмочкиным, — оба на «последнем взводе». Крепко спят на пустых мешках.

Такой триумфальной гулянкой заканчивал Кирсаныч свою трудовую неделю.

Сандуновские бани, как и переулок, были названы в начале прошлого века в честь знаменитой актрисы-певицы Сандуновой. Так их зовут теперь, так их звали и в пушкинские времена.

По другую сторону Неглинки, в Крапивинском переулке, на глухом пустыре между двумя прудами, были еще Ламакинские бани. Их содержала Авдотья Ламакина. Место было трущобное, бани грязные, но, за неимением лучших, они были всегда полны народа.

Во владении Сандуновой и ее мужа, тоже знаменитого актера Силы Сандунова, дом которого выходил в соседний Звонарный переулок, также был большой пруд.

Здесь Сандунова выстроила хорошие бани и сдала их в аренду Ламакиной, а та, сохранив обогащавшие ее старые бани, не пожалела денег на обстановку для новых.

Они стали лучшими в Москве. Имя Сандуновой помогло успеху: бани в Крапивинском переулке так и остались Ламакинскими, а новые навеки стали Сандуновскими.

В них так и хлынула Москва, особенно в мужское и женское «дворянское» отделение, устроенное с неслыханными до этого в Москве удобствами: с раздевальной зеркальной залой, с чистыми простынями на мягких диванах, вышколенной прислугой, опытными банщиками и банщицами. Раздевальная зала сделалась клубом, где встречалось самое

разнообразное общество, — каждый

находил здесь свой кружок знакомых, и притом буфет со всевозможными напитками, от кваса до шампанского «Моэт» и «Аи».

В этих банях перебывала и грибоедовская, и пушкинская Москва, та, которая собиралась в салоне Зинаиды Волконской и в Английском клубе.

Когда появилось в печати «Путешествие в Эрзерум», где Пушкин так увлекательно описал тифлисские бани, Ламакина выписала из Тифлиса на пробу банщиков-татар, но они у коренных москвичей, любивших горячий полок и душистый березовый веник, особого успеха не имели, и их больше уже не выписывали. Зато наши банщики приняли совет Пушкина и завели для любителей полотняный пузырь для мыла и шерстяную рукавицу.

Потом в банях появились семейные отделения, куда дамы высшего общества приезжали с болонками и моськами. Горничные мыли собачонок вместе с барынями…

Это началось с Сандуновских бань и потом перешло понемногу и в некоторые другие бани с дорогими «дворянскими» и «купеческими» отделениями…

В «простонародные» бани водили командами солдат из казарм; с них брали по две копейки и выдавали по одному венику на десять человек.

Потом уже, в начале восьмидесятых годов, во всех банях постановили брать копейку за веник, из-за чего в Устьинских банях даже вышел скандал: посетители перебили окна, и во время драки публика разбегалась голая…

Начав брать по копейке за веник, хозяева нажили огромные деньги, а улучшений в «простонародных» банях не завели никаких.

Вообще хозяева пользовались всеми правдами и неправдами, чтобы выдавливать из всего копейки и рубли.

В некоторых банях даже воровали городскую воду. Так, в Челышевских банях, к великому удивлению всех, пруд во дворе, всегда полный воды, вдруг высох, и бани остались без воды. Но на другой день вода опять появилась — и все пошло по-старому.

Секрет исчезновения и появления воды в большую публику не вышел, и начальство о нем не узнало, а кто знал, тот с выгодой для себя молчал.

Дело оказалось простым: на Лубянской площади был бассейн, откуда брали воду водовозы. Вода шла из Мытищинского водопровода, и по мере наполнения бассейна сторож запирал краны. Когда же нужно было наполнять Челышевский пруд, то сторож крана бассейна не запирал, и вода по трубам шла в банный пруд.

Почти все московские бани строились на берегах Москвы-реки, Яузы и речек вроде Чечеры, Синички, Хапиловки и около проточных прудов.

Бани строились в большинстве случаев деревянные, одноэтажные, так как в те времена, при примитивном водоснабжении, во второй этаж подавать воду было трудно.

Бани делились на три отделения: раздевальная, мыльная и горячая.

При окраинных «простонародных» банях удобств не было никаких. У большинства даже уборные были где-нибудь во дворе: во все времена года моющийся должен был в них проходить открытым местом и в дождь и в зимнюю вьюгу.

Правильных водостоков под полами не было: мыльная вода из-под пола поступала в специальные колодцы на дворах по особым деревянным лежакам и оттуда по таким же лежакам шла в реку, только метров на десять пониже того места реки, откуда ее накачивали для мытья…

Такие бани изображены на гравюрах в издании Ровинского. Это Серебрянические бани, на Яузе.

Отоплялись бани «каменками» в горячих отделениях и «голландками» — в раздевальнях. Самой главной красотой бани считалась «каменка». В некоторых банях она нагревала и «горячую» и «мыльную».

Топили в старые времена только дровами, которые плотами по половодью пригонялись с верховьев Москвы-реки, из-под Можайска и Рузы, и выгружались под Дорогомиловым, на Красном лугу. Прибытие плотов было весенним праздником для москвичей. Тысячи

зрителей усеивали набережную и Дорогомиловский мост:

— Плоты пришли!

Самыми главными банными днями были субботы и вообще предпраздничные дни, когда в банях было тесно, и у кранов стояли вереницы моющихся с легкими липовыми шайками, которые сменили собой тяжелые дубовые.

В «дворянских» отделениях был кейф, отдых, стрижка, бритье, срезание мозолей, ставка банок и даже дерганье зубов, а «простонародные» бани являлись, можно безошибочно сказать, «поликлиникой», где лечились всякие болезни. Медиками были фельдшера, цирюльники, бабки-костоправки, а парильщики и там и тут заменяли массажисток еще в те времена, когда и слова этого не слыхали.

В окраинных «простонародных» банях эта «поликлиника» представляла такую картину.

Суббота. С пяти-шести утра двери бань не затворяются. Публика плывет без перерыва.

В уголке раздевальной примащивался цирюльник, который без всякой санитарии стриг и брил посетителей. Иногда, улучив свободное время, он занимался и медициной: пускал кровь и ставил банки, пиявки, выдергивал зубы…

«Мыльная» бани полна пара; на лавке лежит грузное, красное, горячее тело, а возле суетится цирюльник с ящиком сомнительной чистоты, в котором находится двенадцать банок, штуцер и пузырек с керосином. В пузырек опущена проволока, на конце которой пробка.

Приготовив все банки, цирюльник зажигал пробку и при помощи ее начинал ставить банки. Через две-три минуты банка втягивала в себя на сантиметр и более тело.

У цирюльников было правило продержать десять минут банку, чтобы лучше натянуло, но выходило на деле по-разному. В это время цирюльник уходил курить, а жертва его искусства спокойно лежала, дожидаясь дальнейших мучений. Наконец терпения не хватало, и жертва просила окружающих позвать цирюльника.

— Вот сейчас добрею, не велик барин! — раздавалось в ответ.

Наконец цирюльник приходил, зажигал свой факел под банкой — шишка кровавого цвета. «Хирург» берет грязный и заржавленный штуцер, плотно прижимает к возвышению, просекает кожу, вновь проделывает манипуляцию с факелом, опять ставит банку, и через три — пять минут она полна крови.

Банка снимается, кровь — прямо на пол. Затем банщик выливает на пациента шайку воды, и он, татуированный, выходит в раздевальню. После этого обычно начиналась консультация о «пользительности» банок.

Кроме банок, цирюльники «открывали кровь». Еще в восьмидесятых годах на окраинах встречались вывески *с* надписью: «Здесь стригут, бреют, ставят пиявки и пущают кровь».

Такая вывеска бывала обыкновенно над входом, а по его сторонам обычно красовались две большие длинные картины, показывавшие, как это производится.

На одной сидит человек с намыленным подбородком, другой держит его указательным и большим пальцами за нос, подняв ему голову, а сам, наклонившись к нему, заносит правой рукой бритву, наполовину в мыле.

На другой стороне сидит здоровенный, краснорожий богатырь в одной рубахе с засученным до плеча рукавом, перед ним цирюльник с окровавленным ланцетом — значит, уж операция кончена; из руки богатыря высокой струей бьет, как из фонтана, кровь, а под рукой стоит крошечный мальчишка, с полотенцем через плечо, и держит таз, большой таз, наполовину полный крови.

Эту операцию делали тоже в «мыльнях», но здесь мальчика с тазом не было, и кровь спускали прямо на пол.

«Открывание крови» было любимой операцией крючников, ломовиков, мордастых лихачей, начинавших жиреть лавочников и серого купечества.

В женских банях было свое «лечение». Первым делом — для белизны лица — заваривали в шайке траву-череду, а в «дворянских» женщины мыли лицо миндальными

высевками.

Потом шли разные притирания, вплоть до мытья головы керосином для рощения волос.

Здесь за моющимися ухаживали банщицы. Бабки-костоправки работали только в «простонародных» банях. Они принимали участие и в лечении мужчин.

Приходит, согнувшись, человек в баню, к приказчику, и просит позвать бабку.

— Прострел замучил!

То же повторял он и пришедшей бабке. Та давала ему пузырек с какой-то жидкостью, приказывала идти мыться и после паренья натереться ее снадобьем, а после бани сказаться ей.

Вымывшись и одевшись, больной вызывал бабку. Она приказывала ему ложиться брюхом поперек порога отворенной двери, клала сверху на поясницу сухой веник и ударяла потихоньку топором несколько раз по венику,

шепча непонятные заклинания. Операция эта называлась «присекание».

Бабки в жизни бань играли большую роль, из-за бабок многие специально приходили в баню. Ими очень дорожили хозяева бань: бабки исправляли вывихи, «за говаривали грыжу», правили животы как мужчинам, так и женщинам, накладывая горшок.

Главной же их специальностью было акушерство. Уже за несколько недель беременная женщина начинала просить:

— Бабушка Анисья, ты уж не оставь меня!

— Ладно, а ты почаще в баньку приходи, это пользительно, чтобы ребенок на правильную дорогу стал. Когда надо будет, я приду!

Еще задолго до того, как Гонецкий переделал Сан-дуновские бани в банный дворец, А. П. Чехов любил бывать в старых Сандуновских банях, уютных, без роскоши и ненужной блестящей мишуры.

— Антон, пойдем в баню, — зовет его, бывало, брат, художник Николай, весь измазанный краской.

— Пошел бы… да боюсь… вдруг, как последний раз, помнишь, встретим Сергиенко… Я уж оделся, выхожу, а он входит. Взял меня за пуговицу и с час что-то рассказывал. Вдруг опять встретим? А я люблю Сандуны… Только кругом воздух скверный: в сухую погоду — пыль, а когда дождь — изо всех домов выкачивают нечистоты в Неглинку.

А. П. Чехову пришлось жить в одной из квартир в новом банном дворце, воздух вокруг которого был такой же, как и при старых Сандунах.

Тогда бани держал Бирюков, банный король, как его звали в Москве. Он в Москву пришел в лапотках, мальчиком, еще при Ламакиных, в бани, проработал десять лет, понастроил ряд бань, держал и Сандуновские.

А потом случилось: дом и бани оказались в закладе у миллионера-дровяника Фирсанова.

А что к Фирсанову попало — пиши пропало! Фирсанов давал деньги под большие, хорошие дома — и так подведет, что уж дом обязательно очутится за ним. Много барских особняков и доходных домов сделалось его добычей. В то время, когда А. П. Чехова держал за пуговицу Сергиенко, «Сандуны» были еще только в залоге у Фирсанова, а через год перешли к нему…

Это был огромный дом казарменно-аракчеевского стиля, с барской роскошной раздевальной — создание известного архитектора двадцатых годов.

После смерти Ивана Фирсанова владетельницей бань, двадцати трех домов в Москве и подмосковного имения «Средниково», где когда-то гащивали великие писатели и поэты, оказалась его дочь Вера.

Широко и весело зажила Вера Ивановна на Пречистенке, в лучшем из своих барских особняков, перешедших к ней по наследству от отца. У нее стали бывать и золотая молодежь, и модные бонвиваны — львы столицы, и дельные люди, вплоть до крупных судейских чинов и адвокатов. Большие коммерческие дела после отца Вера Ивановна вела почти что лично.

Через посещавших ее министерских чиновников она узнавала, что надо, и умело проводила время от времени свои коммерческие дела.

Кругом нее вилась и красивая молодежь, довольствовавшаяся веселыми часами, и солидные богачи, и чиновные, и титулованные особы, охотившиеся за красотой, а главным образом за ее капиталами.

В один прекрасный день Москва ахнула:

— Вера Ивановна вышла замуж!

Ее мужем оказался гвардейский поручик, сын боевого генерала, Гонецкий.

До женитьбы он часто бывал в Москве — летом на скачках, зимой на балах и обедах, но к Вере Ивановне — «ни шагу», хотя она его, через своих друзей, старалась всячески привлечь в свиту своих ухаживателей.

В числе ее друзей, которым было поручено залучить Гонецкого, оказались и его друзья. Они уверили «Верочку», что он единственный наследник старого польского магната-миллионера, что он теперь его засыплет деньгами.

Друзья добились своего! Вера Ивановна Фирсанова стала Гонецкой. После свадьбы молодые, чтобы избежать визитов, уехали в «Средниково», где муж ее совершенно очаровал тем, что предложил заняться ее делами и работать вместе с ней.

Просмотрев доходы от фирсановских домов, Гонец-кий заявил:

— А вот у Хлудовых Центральные бани выстроены!

Тебе стыдно иметь сандуновские развалины: это срамит фамилию Фирсановых. Хлудовых надо перешибить! Задев «купеческое самолюбие» жены, Гонецкий ука зал ей и на те огромные барыши, которые приносят Центральные бани.

— Первое — это надо Сандуновские бани сделать такими, каких Москва еще не видела и не увидит. Вместо развалюхи построим дворец для бань, сделаем все по последнему слову науки, и чем больше вложим денег, тем больше будем получать доходов, а Хлудовых сведем на нет. О наших банях заговорит печать, и ты — знаменитость!

Перестройка старых бань была решена…

— Надо объявить через архитектурное общество конкурс на проекты бань, — заикнулась Вера Ивановна.

— Что? Московским архитекторам строить бани? А почему Хлудовы этого не сделали? Почему они выписали из Вены строителя… Эйбушиц, кажется? А он вовсе не из крупных архитекторов… Там есть знаменитости покрупней. С московскими архитекторами я и работать не буду. Надо создать нечто новое, великое, слить Восток и Запад в этом дворце!..

После поездки по европейским баням, от Турции до Ирландии, в дворце молодых на Пречистенке состоялось предбанное заседание сведущих людей. Все дело вел сам Гонецкий, а строил приехавший из Вены архитектор Фрейденберг.

Пользуясь постройкой бань, Гонецкий в какие-нибудь несколько месяцев обменял на банковские чеки, подписанные его женой, свои прежние долговые обязательства, которые исчезли в огне малахитового камина в кабинете «отставного ротмистра гвардии», променявшего блеск гвардейских парадов на купеческие миллионы.

Как-то в жаркий осенний день, какие иногда выпадают в сентябре, по бульвару среди детей в одних рубашонках и гуляющей публики в летних костюмах от Тверской заставы быстро и сосредоточенно шагали, не обращая ни на кого внимания, три коротеньких человека.

Их бритые лица, потные и раскрасневшиеся, выглядывали из меховых воротников теплых пальто. В правых руках у них были скаковые хлысты, в левых — маленькие саквояжи, а у одного, в серой смушковой шапке, надвинутой на брови, под мышкой узелок и банный веник. Он был немного повыше и пошире в плечах своих спутников.

Все трое — знаменитые жокеи: в смушковой шапке — Воронков, а два других — англичане: Амброз и Клейдон. Через два дня разыгрывается самый крупный приз для двухлеток, — надо сбавить вес, и они возвращаются из «грузинских» бань, где «потнялись» на полках.

Теперь они быстро шагают, дойдут до Всехсвятского и разойдутся по домам: Клейдон живет на Башиловке, а другие — в скаковой слободке, при своих конюшнях.

«Грузинские» бани — любимые у жокеев и у цыган, заселяющих Живодерку. А жокеи — любимые посетители банщиков, которым платили по рублю, а главное, иногда шепнут про верненькую лошадку на ближайших скачках.

Цыгане — страшные любители скачек — тоже пользуются этими сведениями, жарясь для этого в семидесятиградусную жару, в облаке горячего пара, который нагоняют банщики для своих щедрых гостей.

Как-то один знакомый, знавший, что я изучаю москвичей, пригласил меня в гости к своему родственнику — банщику.

Банщик жил на даче в Петровском парке, а бани держал где-то на Яузе.

— У него сегодня четыре именинницы: жена Софья и три дочери «погодки» Вера, Надежда и Любовь. Человек расчетливый — так всех дочерей подогнал, чтобы в один день, с матерью заодно, именины справить. Старшие две дочери гимназию кончают.

Просторный зал был отдан в распоряжение молодежи: студенты, гимназисты, два-три родственника в голубых рубахах и поддевках, в лаковых высоких сапогах, две-три молчаливые барышни в шелковых платьях. Музыка, пение, танцы под рояль. В промежутках чтение стихов и пение студенческих песен, вплоть до «Дубинушки по-студенчески». Шум, молодое веселье.

Рядом в гостиной — разодетые купчихи и бедные родственники чинно и недвижно сидят вдоль стен или группируются вокруг толстой, увешанной драгоценностями именинницы. Их обносят подносами с десертом. Несколько долгополых и короткополых — первые в смазных сапогах, вторые в штиблетах — занимают дам.

Они уходят в соседнюю комнату, где стоит большой стол, уставленный закусками и выпивкой. Приходят, прикладываются, и опять — к дамам или в соседнюю комнату, — там на двух столах степенная игра в преферанс и на одном в «стуколку». Преферансисты — пожилые купцы, два солидных чиновника — один с «Анной в петлице» — и сам хозяин дома, в долгополом сюртуке с золотой медалью на ленте на красной шее, вырастающей из глухого синего бархатного жилета.

В «стуколку» сражаются игроки попроще и помоложе.

— А ты, Кирилл Макарыч, в чужие карты глазенапы не запускай!

Письмоводитель из полицейского участка, из кутейников, ехидно отвечает:

— А что сказано в писании?

— А что?

— А сказано так: «Человек, аще хощеши выиграть, первым делом загляни в чужие карты, ибо свои посмотреть всегда успеешь».

От «стуколки» слышится:

— Туза виней… Хлоп хрестовый… Дама бубенная, червонный король…

Публика ожидательно прислушивается: в столовой стук посуды — накрывают обед.

Разлили по тарелкам горячее… Кончилось чоканье рюмками… Сразу все замолкло — лишь за столом молодежи в соседней комнате шумно кипела жизнь.

И пошло такое схлебывание с ложек, такое громкое чавканье, что даже заглушило веселье молодежи.

Кто-то поперхнулся. Сосед его молча бьет кулаком по загривку, чтобы рыбьи косточки проскочили… Фырканье, чавканье, красные лица, посоловелые глаза.

Два банщика в голубых рубахах откупоривают бутылки, пробки летят в потолок, рублевое ланинское шампанское холодным душем низвергается на гостей.

Братья Стрельцовы — люди почти «в миллионах», московские домовладельцы, староверы, кажется, по преображенскому толку, вся жизнь их была как на ладони: каждый шаг их был известен и виден десятки лет. Они оба — холостяки, жили в своем уютном доме вместе с племянницей, которая была все для них: и управляющей всем хозяйством, и кухаркой, и горничной.

У братьев жизнь была рассчитана по дням, часам и минутам. Они были почти однолетки, один брюнет с темной окладистой бородкой, другой посветлее и с проседью. Старший давал деньги в рост за огромные проценты. В суде было дело Никифорова и Федора Стрельцова, обвиняемого первым в лихоимстве: брал по сорок процентов!

Как-то вышло, что суд присудил Ф. Стрельцова только на несколько месяцев в тюрьму. Отвертеться не мог — пришлось отсиживать, но сказался больным, был отправлен в тюремную больницу, откуда каким-то способом — говорили, в десять тысяч это обошлось, — очутился дома и, сидя безвыходно, резал купоны…

Это приключение прошло незаметно, и снова потекла та же жизнь, только деньги стал отдавать не под векселя, а под дома.

Младший брат, Алексей Федорович, во время нахождения брата в тюремной больнице тоже — единственный раз — вздумал поростовщичать, дал под вексель знакомому «члену-любителю» Московского бегового общества денег, взял в обеспечение его беговую конюшню.

А. Ф. Стрельцов из любопытства посмотреть, как бегут его лошади, попал на бега впервые и заинтересовался ими. Жизнь его, дотоле молчаливая, наполнилась спортивными разговорами. Он стал ездить каждый беговой день на своей лошадке. Для ухода за лошадью дворник поставил своего родственника-мальчика, служившего при чьей-то беговой конюшне.

Алексей Федорович начал «пылить» на бега в шарабане со своим Ленькой, который был и конюх и кучер.

Время от времени сам стал брать вожжи в руки, научился править, плохую лошаденку сменил на бракованного рысачка, стал настоящим «пыльником», гонялся по Петербургскому шоссе от заставы до бегов, до трактира «Перепутье», где собирались часа за два до бегов второсортные спортсмены, так же как и он, пылившие в таких же шарабанчиках и в трактире обсуждавшие шансы лошадей, а их кучера сидели на шарабанах и ждали своих хозяев.

Конюхи из трактира к началу бегов отвозили хозяев в полтиничные места беговой беседки, тогда еще деревянной, а сами, стоя на шарабанах, смотрели через забор на бега, знали каждую лошадь, обсуждали шансы выигрыша и даже играли в тотализатор, складываясь по двугривенному — тогда еще тотализатор был рублевый.

Иногда Алексей Федорович заезжал и на конюшню своего должника, аккуратно платившего проценты, а оттуда на круг, посмотреть на проездки.

Спорт наполнил жизнь его, хотя домашний обиход оставался тот же самый.

Старший Федор все так же ростовщичал и резал купоны, выезжая днем в город, по делам. Обедали оба брата дома, ели исключительно русские кушанья, без всяких деликатесов, но ни тот, ни другой не пил. К восьми вечера они шли в трактир Саврасенкова на Тверской бульвар, где собиралась самая разнообразная публика и кормили дешево.

В задних двух залах стояли хорошие бильярды, где собирались лучшие московские игроки и, конечно, шулера, а наверху были «саврасенковские нумера», куда приходили парочки с бульвара, а шулера устраивали там свои «мельницы», куда завлекали из бильярдной игроков и обыгрывали их наверняка.

Придя в трактир, Федор садился за буфетом вместе со своим другом Кузьмой Егорычем и его братом Михаилом — содержателями трактира. Алексей шел в бильярдную, где вел разговоры насчет бегов, а иногда и сам играл на бильярде по рублю партия, но всегда так сводил игру, что ухитрялся даже с шулеров выпрашивать чуть не в полпартии авансы, и редко проигрывал, хотя играл не кием, а мазиком.

Так каждый вечер до одиннадцати часов проводили они время у Саврасенковых.

В десять часов утра братья вместе выходили из дому — Федор по делам в город, а Алексей в свои Чернышевские бани, с их деревянной внутренней отделкой, всегда чисто выструганными и вымытыми лавками.

Он приходил в раздевальню «дворянского» отделения, сидел в ней часа два, принимал от приказчика выручку и клал ее в несгораемый шкаф. Затем звал цирюльника. Он

ежедневно брился — благо даром, не платить же своему деньги, а в одиннадцать часов аккуратно являлся брат Федор, забирал из шкафа пачки денег, оставляя серебро брату, — и уходил.

Алексей по уходе брата отправлялся напротив, через Брюсовский переулок, в грязный извозчичий трактир в доме Косоурова пить чай и проводил здесь ровно час, беседуя, споря и обсуждая шансы беговых лошадей с извозчиками.

Сюда ездили лихачи и полулихачи. Они, так же как и конюхи «пыльников», следили через забор за состязаниями и знали лошадей. Каждый из любезности справлялся о шансах его лошади на следующий бег.

— А вот на последнем гандикапе вы уже к столбу подходили первым, да вас Балашов объехал… Его Вольный-то сбил вашего, сам заскакал и вашего сбил… Балашов-то успел своего на рысь поставить и выиграл, а у вас проскачка…

В это время Стрельцов был уже членом-любителем бегового общества. Вышло это неожиданно.

Владелец заложенных у него лошадей разорился, часть лошадей перешла к другим кредиторам, две остались за долг Стрельцову. Наездник, у которого стояли лошади, предложил ему оставить их за собой и самому ездить на них на призы.

Попробовал на проездках — удачно. Записал одну на поощрительный приз — благополучно пришел последним. После ряда проигрышей ему дали на большой гандикап выгодную дистанцию. Он уже совсем выиграл бы, если б не тот случай, о котором ему напоминали из сочувствия каждый раз извозчики.

С той поры он возненавидел Балашова и все мечтал объехать его во что бы то ни стало. Шли сезоны, а он все приходил в хвосте или совсем последним. Каждый раз брал билет на себя в тотализаторе — и это иногда был единственный билет на его лошадь. Публика при выезде его на старт смеялась, а во время бега, намекая на профессию хозяина, кричала:

— Веником! Веником ее!

А он все надеялся на свой единственный билет сорвать весь тотализатор, и все приезжал последним. Даже публика смеяться перестала. А Стрельцов по-своему наполнял свою жизнь этим спортом, — ведь единственная жизненная радость была!

Алексей Федорович не смел говорить брату об увлечении, которое считал глупостью, стоящей сравнительно недорого и не нарушавшей заведенного порядка жизни: деньги, деньги и деньги.

Ни знакомств, ни кутежей. Даже газет братья Стрельцовы не читали; только в трактире иногда мельком проглядывали журналы, и Алексей единственно что читал — это беговые отчеты.

Раз только в жизни полиция навязала богатым братьям два билета на благотворительный спектакль в Большом театре на «Демона». Алексей взял с собой Леньку-конюха.

Вернувшись домой, оба ругались, рассказывая Федору Федоровичу:

— И опять все вранье! А как он орал, что Вольный сын Эфира; а ты меня, Леня, в бок тычешь и шепчешь: «Врет!» И верно врал: Вольный сын Легкого и Ворожеи.

Девятый час утра небанного дня, но полтинное отделение Сандуновских бань с ливрейным швейцаром у входа со Звонарского переулка было обычно оживлено своей публикой, приходившей купаться в огромном бассейне во втором этаже дворца.

Купаться в бассейн Сандуновских бань приходили артисты лучших театров, и между ними почти столетний актер, которого принял в знак почтения к его летам Корш. Это Иван Алексеевич Григоровский, служивший на сцене то в Москве, то в провинции и теперь игравший злодеев в старых пьесах, которые он знал наизусть и играл их еще в сороковых годах.

Он аккуратно приходил ежедневно купаться в бассейне раньше всех; выкупавшись, вынимал из кармана маленького «жулика», вышибал пробку и, вытянув половинку, а то и до дна, закусывал изюминкой.

Из-за этого «жулика» знаменитый московский доктор Захарьин, бравший за визит к объевшимся на масленице блинами купцам по триста и по пятисот рублей, чуть не побил его палкой.

Никогда и ничем не болевший старик вдруг почувствовал, как он говорил, «стеснение в груди». Ему посоветовали сходить к Захарьину, но, узнав, что за прием на дому тот берет двадцать пять рублей, выругался и не пошел. Ему устроили по знакомству прием — и Захарьин его принял.

Первый вопрос:

— Водку пьешь?

— Как же — пью!

— Изредка?

— Нет, каждый день…

— По рюмке? По две?..

— Иногда и стаканчиками. Кроме водки, зато ничего не пью! Вчера на трех именинах был. Рюмок тридцать, а может, и сорок.

Обезумел Захарьин. Вскочил с кресла, глаза выпучил, палкой стучит по полу и орет:

— Что-о?.. Со… со… сорок! А сегодня пил?

— Вот только глотнул половину…

И показал ему из кармана «жулика». «Захарьин ударил меня по руке, — рассказывал приятелям Григоровский, — да я держал крепко.

— Вон отсюда! Гоните его!

На шум прибежал лакей и вывел меня. А он все ругался и орал…

А потом бросился за тиной, поймал меня.

— А давно ли пьешь? Сколько лет?

— Пью лет с двадцати… На будущий год сто лет». Сидя в кабинке Сандуновских бань, где Гонецкий ввел продажу красного вина, старик рассказывал:

— А пить я выучился тут, в этих самых банях, когда еще сама Сандунова жива была. И ее я видел, и Пушкина видел… Любил жарко париться!

— Пушкина? — удивленно спросили его слушатели.

— Да, здесь. Вот этих каюток тогда тут не было, дом был длинный, двухэтажный, а зала дворянская тоже была большая, с такими же мягкими диванами, и буфет был — проси чего хочешь… Пушкин здесь и бывал. Его приятель меня и пить выучил. Перед диванами тогда столы стояли. Вот сидим мы, попарившись, за столом и отдыхаем. Я и Дмитриев. Пьем брусничную воду. Вдруг выходит, похрамывая, Денис Васильевич Давыдов… знаменитый! Его превосходительство квартировал тогда в доме Тинкова, на Пречистенке, а супруга Тинкова — моя крестная мать. Там я и познакомился с этим знаменитым героем. Он стихи писал и, бывало, читал их у крестной. Вышел Денис Васильевич из бани, накинул простыню и подсел ко мне, а Дмитриев ему: «С легким паром, ваше превосходительство. Не угодно ли брусничной? Ароматная!» — «А ты не боишься?» — спрашивает. «Чего?» — «А вот ее пить? Пушкин о ней так говорит: «Боюсь, брусничная вода мне б не наделала вреда», и оттого он ее пил с араком».

Денис Васильевич мигнул, и банщик уже несет две бутылки брусничной воды и бутылку арака.

И начал Денис Васильевич наливать себе и нам: полстакана воды, полстакана арака. Пробую — вкусно. А сам какие-то стихи про арака читает…

Не помню уж, как я и домой дошел.

В первый раз напился, — не думал я, что арака такой крепкий.

И каждый раз, как, бывало, увижу кудрявцовскую карамельку в цветной бумажке, хвостик с одного конца, так и вспомню моего учителя.

В эти конфетки узенькие билетики вкладывались, по две строчки стихов. Помню, мне попался билетик:

Боюсь, брусничная вода Мне б не наделала вреда!

Потом ни арака, ни брусничной не стало! До «жуликов» дожил! Дешево и сердито!..

Любил Григоровский рассказывать о прошлом. Много он видел, память у него была удивительная.

С удовольствием он рассказывал, любил говорить, и охотно все его слушали. О себе он не любил поминать, но все-таки приходилось, потому что рассказывал он только о том, где сам участником был, где себя не выключишь.

Иногда называл себя в третьем лице, будто не о нем речь. Где говорит, о том и вспоминает: в трактире — о старых трактирах, о том, кто и как пил, ел; в театре в кругу актеров — идут воспоминания об актерах, о театре. И чего-чего он не знал! Кого-кого он не помнил!

— А что, Ваня, ты Сухово-Кобылина знавал? — спросил его однажды в театре Корша актер Киселевский, отклеивая баки и разгримировываясь после «Кречинского».

— Нет, а вот Расплюева видал!

— Как Расплюева? Ведь это тип.

— Пусть тип, а был он хористом в театре в Ярославле и был шулером. Фамилия другая… При мне его тогда в трактире «Столбы» из окна за шулерство выкинули. Вот только забыл, кто именно: не то Мишка Докучаев, не то Егорка Быстров!

Для своих лет Григоровский был еще очень бодр и не любил, когда его попрекали старостью. Как-то в ресторане «Ливорно» Иван Алексеевич рассказывал своим приятелям:

— Вчера я был в гостях у молоденькой телеграфистки. Славно время провел…

Андреев-Бурлак смеется:

— Ваня! Как ты врешь! Когда ты мог с молоденькими славно время проводить, тогда телеграфов еще не было.

Как-то в утренний час вошел в раздевальню шестифутовый полковник, весь в саже, с усами до груди, и на его общий поклон со всех банных диванов раздалось приветствие:

— Здравствуйте, Николай Ильич!

— Всю ночь в Рогожской на пожаре был… Выкупаюсь да спать… Домов двадцать сгорело.

Это был полковник Н. И. Огарев, родственник поэта, друга Герцена. Его любила вся Москва.

Его откомандировали из гвардии в армию с производством в полковники и назначили в распоряжение московского генерал-губернатора. Тут его сделали полицмейстером второго отделения Москвы.

Он страстно любил пожары, не пропускал ни одного, и, как все пожарные, любил бани.

В шестидесятых годах он разрешал всех арестованных, даже в секретных камерах при полицейских домах, то есть политических преступников, водить в баню в сопровождении «мушкетеров» (безоружных служителей при полицейских домах). В 1862 году в Тверской части в секретной содержался крупнейший государственный преступник того времени, потом осужденный на каторгу, П. Г. Зайчневский. Огарев каждый день любовался пегими пожарными лошадьми и через окно познакомился с Зайчневским, тоже любителем лошадей, а потом не раз бывал у него в камере — и разрешил ему в сопровождении солдата ходить в бани.

По субботам члены «Русского гимнастического общества» из дома Редлиха на Страстном бульваре после вечерних классов имели обычай ходить в ближайшие Сандуновские бани, а я всегда шел в Палашевские, рядом с номерами «Англия», где я жил.

А главное, еще и потому, что рядом с банями была лавчоночка, где народный поэт Разоренов торговал своего изделия квасом и своего засола огурцами, из-под которых рассол был до того ароматичен и вкусен, что его предпочитали даже прекрасному хлебному квасу.

Лавчонка была крохотная, так что старик гигант Алексей Ермилыч едва поворачивался в ней, когда приходилось ему черпать из бочки ковши рассола или наливать из крана большую кружку квасу. То и другое стоило по копейке.

Лавчонка запиралась в одиннадцать часов, и я всегда из бани торопился не опоздать,

чтобы найти время побеседовать со стариком о театре и поэзии, послушать его новые стихи, поделиться своими.

В ту субботу, о которой рассказывается, я забежал в Сандуновские бани в десятом часу вечера.

Первым делом решил постричь волосы, — бороду и усы я не брил, бросив сцену. Парикмахер, совсем еще мальчик, меня подстриг и начал готовить бритвы, но я отказался.

— Помилуйте, — назвал меня по имени и отчеству, — ведь вы всегда брились.

Оказалось — ученик театрального парикмахера в Пензе. Я рассказал ему, что, бросив сцену, в последний раз брился перед спектаклем в Баку.

— На Кавказе, значит, были? У нас тоже в банях есть банщик персиянин с Кавказа, вот ежели хотите, я его позову.

Я обрадовался. А то бывал на Кавказе, на войне, весь Кавказ верхом изъездил, а в банях знаменитых не бывал.

Действительно, на войне не до бань, а той компании, с которой я мотался верхом по диким аулам, в город и носа показывать нельзя было. В Баку было не до бань, а Тифлис мы проехали мимо.

— Абидинов! — крикнул он.

Передо мной юркий, сухой и гибкий, как жимолость, с совершенно голой головой, кружится и вьется банщик

и доставляет мне не испытанное дотоле наслаждение. Описать эту неожиданную в Москве операцию я не решаюсь — после Пушкина писать нельзя! Цитирую его «Путешествие в Арзрум»: «…Гасан начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу, после чего он начал ломать мне члены, вытягивать суставы, бить меня сильно кулаком: я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение (азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут на спине вприсядку).

После сего он долго тер меня рукавицей и, сильно оплескав теплой водой, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас, как воздух! После пузыря Гасан опустил меня в ванну — тем и кончилась церемония».

Я еще сидел в ванне, когда с мочалками и мылом в руках влетели два стройных и ловких красавчика, братья Дуровы, члены-любители нашего гимнастического общества.

Который-то из них на минуту остановился на веревочном ковре, ведущем в «горячую», сделал сальто-мортале, послал мне приветствие мочалкой и исчез вслед за братом в горячей бане.

А вот и наши. Важно, ни на кого не обращая внимания, сомом проплыл наш непобедимый учитель фехтования Тарас Петрович Тарасов, с грозными усами и веником под мышкой. Его атлетическая грузная фигура начинала уже покрываться слоем жира, еще увеличившим холмы бицепсов и жилистые икры ног… Вот с кого лепить Геркулеса!

А вот с этого Антиноя. Это наш непревзойденный учитель гимнастики, знаменитый танцор и конькобежец, старший брат другого прекрасного гимнаста и ныне здравствующего известного хирурга Петра Ивановича Постникова, тогда еще чуть ли не гимназиста или студента первых курсов. Он остановился под холодным душем, изгибался, повертывался мраморным телом ожившего греческого полубога, играя изящными мускулами, живая рельефная сеть которых переливалась на широкой спине под тонкой талией.

Я продолжал сидеть в теплой ванне. Кругом, как и всегда в мыльной, шлепанье по голому мокрому телу, шипенье воды, рвущейся из кранов в шайки, плеск окачивающихся, дождевой шумок душей — и не слышно человеческих голосов.

Как всегда, в раздевальнях — болтают, в мыльне — молчат, в горячей — гогочут. И гогот этот слышится в мыльне на минуту, когда отворяется дверь из горячей.

А тут вдруг такой гогот, что и сквозь закрытую дверь в горячую гудит.

— Ишь когда его забрало… Я четверть часа сижу здесь, а был уж он там… Аки лев рыкающий в пустыне Ливийской. Всех запарит! — обращается ко мне из ванны рядом

бритый старичок с начесанными к щекам седыми вихорками волос.

Это отставной чиновник светского суда, за пятьдесят лет выслуживший три рубля в месяц пенсии, боль в пояснице и пряжку в петлице.

— При матушке Екатерине, — говорит он, — по этой пряжке давалось право входа в женские бани бесплатно, а теперь и в мужские плати! — обижался он.

А из горячей стали торопясь выходить по нескольку человек сразу. В открытую дверь неслось гоготанье:

— О…го-го!.. О-го-го!

— У… у… у… у…

— Плесни еще… Плесни… жарь!

Слышалось хлестанье веником. Выходившие в мыльную качались, фыркали, торопились к душам и умывались из кранов.

— Вали!.. Поясницу!.. Поясницу!.. — гудел громоподобный бас.

— Так!.. Так!.. Пониже забирай! О-о-о… го… го!.. Так ее!.. Комлем лупи!.. Комлем!..

И вдруг:

— Будя!.. А!.. А! А!.. О… О…

Из отворенной двери валит пар. В мыльне стало жарко… Первым показался с веником в руках Тарасов. А за ним двигалось некое косматое чудище с косматыми волосами по плечам и ржало от восторга.

Даже Тарасов перед ним казался маленьким.

Оба красные, с выпученными глазами прут к душу, и чудище снова ржет и, как слон, поворачивается под холодным дождем…

Сразу узнал его — мы десятки раз встречались на разных торжествах и, между прочим, на бегах и скачках, где он нередко бывал, всегда во время антрактов скрываясь где-нибудь в дальнем углу, ибо, как он говорил: «Не подобает бывать духовной особе на конском ристалище, начальство увидит, а я до коней любитель!»

Подходит к буфету. Наливает ему буфетчик чайный стакан водки, а то, если другой буфетчик не знает да нальет, как всем, рюмку, он сейчас загудит:

— Ты что это? А? Кому наливаешь? Этим воробья причащать, а не отцу протодьякону пить.

Впрочем, все буфеты знали протодьякона Шеховцева, от возглашения «многая лета» которого на купеческих свадьбах свечи гасли и под люстрами хрустальные висюльки со звоном трепетали.

Мы с Тарасовым пошли одеваться.

В раздевальне друзья. Огромный и косматый писатель Орфанов-Мишла — тоже фигура чуть поменьше Шеховцева, косматая и бородатая, и видно, что ножницы касались его волос или очень давно, а то, может быть, и никогда.

А рядом с ним крошечный, бритый по-актерски, с лицом в кулачок и курчавыми волосами Вася Васильев. Оба обитатели «Чернышей», оба полулегальные и поднадзорные, оба мои старые друзья.

— Вы как сюда? А я думал, что вы никогда не ходите в баню! Вы, члены «клуба немытых кобелей», и вдруг в бане!

Вася, еще когда служил со мной у Бренко, рассказывал, что в шестидесятых годах в Питере действительно существовал такой клуб, что он сам бывал в нем и что он жил в доме в Эртелевом переулке, где бывали заседания этого клуба.

Этот дом и другой, соседний, потом были сломаны, и на их месте Суворин выстроил типографию «Нового времени».

Только два поэта посвятили несколько строк русским баням — и каждый отразил в них свою эпоху.

И тот и другой вдохновлялись московскими банями. Один был всеобъемлющий Пушкин. Другой — московский поэт Шумахер.

…В чертоги входит хан младой,
За ним отшельниц милых рой,
Одна снимает шлем крылатый,
Другая — кованые латы,
Та меч берет, та — пыльный щит.
Одежда неги заменит
Железные доспехи брани.
Но прежде юношу ведут
К великолепной русской бане.
Уж волны дымные текут
В ее серебряные чаны
И брызжут хладные фонтаны;
Разостлан роскоши ковер,
На нем усталый хан ложится,
Прозрачный пар над ним клубится.
Потупя неги полный взор,
Прелестные, полунагие,
Вкруг хана девы молодые
В заботе нежной и немой
Теснятся резвою толпой…
Над рыцарем иная машет
Ветвями молодых берез…
И жар от них душистый пышет;
Другая соком вешних роз
Усталы члены прохлаждает
И в ароматах потопляет
Темнокудрявые власы…

Изящным стихом воспевает «восторгом рыцарь упоенный» прелесть русских Сандуновских бань, которые он посещал со своими друзьями в каждый свой приезд в Москву.

Поэт, молодой, сильный, крепкий, «выпарившись на полке ветвями молодых берез», бросался в ванну со льдом, а потом опять на полок, где снова «прозрачный пар над ним клубится», а там «в одежде неги» отдыхает в богатой «раздевалке», отделанной строителем екатерининских дворцов, где «брызжут хладные фонтаны» и «разостлан роскоши ковер»…

Прошло полвека. Родились новые идеалы, новые стремления.

Либеральный поэт шестидесятых годов П. В. Шумахер со своей квартиры на Мещанской идет на Яузу в Волковские «простонародные» бани.

Он был очень толст, страдал подагрой. И. С. Тургенев ему говорил: «Мы коллеги по литературе и подагре». Лечился П. В. Шумахер от подагры и вообще от всех болезней баней. Парили его два банщика, поминутно поддавая на «каменку». Особенно он любил Сандуновские, где, выпарившись, отдыхал и даже спал часа два и всегда с собой уносил веник. Дома, отдыхая на диване, он клал веник под голову.

Последние годы жизни он провел в странноприимном доме Шереметева, на Сухаревской площади, где у него

была комната. В ней он жил по зимам, а летом — в Кускове, где Шереметев отдал в его распоряжение «Голландский домик».

Стихи Шумахера печатались в журналах и издавались отдельно. Любя баню, он воспевал, единственный поэт, ее прелести вкусно и смачно.

Вот отрывки из его стихов о бане:

Мякнут косточки, все жилочки гудят,

С тела волглого окатышки бегут,
А с настреку вся спина горит,
Мне хозяйка смутны речи говорит.
Не ворошь ты меня, Танюшка,
Растомила меня банюшка,
Размягчила туги хрящики,
Разморила все суставчики.
В бане веник больше всех бояр,
Положи его, сухмяного, в запар,
Чтоб он был душистый и взбучистый,
Лопашистый и уручистый…
И залез я на высокий на полок,
В мягкий, вольный, во малиновый парок.
Начал веничком я париться,
Шелковистым, хвостистым жариться.

А вот еще его стихи о том же:

Лишенный сладостных мечтаний,
В бессильной злобе и тоске
Пошел я в Волковские бани
Распарить кости на полке.
И что ж? О радость! О приятство!
Я свой заветный идеал —
Свободу, равенство и братство —
В Торговых банях отыскал.

Стихотворение это, как иначе в те времена и быть не могло, напечатать не разрешили. Оно ходило по рукам и читалось с успехом на нелегальных вечеринках.

Я его вспомнил в Суконных банях, на Болоте, где было двадцатикопеечное «дворянское» отделение, излюбленное местным купечеством.

Как-то с пожара на Татарской я доехал до Пятницкой части с пожарными, соскочил с багров и, прокопченный дымом, весь в саже, прошел в ближайшие Суконные бани.

Сунулся в «простонародное» отделение — битком набито, хотя это было в одиннадцать часов утра. Зато в «дворянских» за двугривенный было довольно просторно. В мыльне плескалось человек тридцать.

Банщик уж второй раз намылил мне голову и усиленно выскребал сажу из бороды и волос — тогда они у меня еще были густы. Я сидел с закрытыми глазами и блаженствовал. Вдруг среди гула, плеска воды, шлепанья по голому телу я слышу громкий окрик:

— Идет!.. Идет!..

И в тот же миг банщик, не сказав ни слова, зашлепал по мокрому полу и исчез.

Что такое? И спросить не у кого — ничего не вижу. Ощупываю шайку — и не нахожу ее; оказалось, что банщик ее унес, а голова и лицо в мыле. Кое-как протираю глаза и вижу: суматоха! Банщики побросали своих клиентов, кого с намыленной головой, кого лежащего в мыле на лавке. Они торопятся налить из кранов шайки водой и становятся в две шеренги у двери в горячую парильню, высоко над головой подняв шайки.

Ничего не понимаю — и глаза мыло ест.

Тут отворяется широко дверь, и в сопровождении двух парильщиков с березовыми вениками в руках важно и степенно шествует могучая бородатая фигура с пробором по середине головы, подстриженной в скобку.

И банщики по порядку, один за другим выливают на него шайки с водой ловким взмахом, так, что ни одной капли мимо, приговаривая радостно и почтительно:

— Будьте здоровы, Петр Ионыч!

— С легким паром!

Через минуту банщик домывает мне голову и, не извинившись даже, будто так и надо было, говорит:

— Петр Ионыч… Губонин… Их дом рядом с Пятницкою частью, и когда в Москве — через день ходят к нам в эти часы… по рублевке каждому парильщику «на калач» дают.

Трактиры

«Нам трактир дороже всего!» — говорит в «Лесе» Аркашка Счастливцев. И для многих москвичей трактир тоже был «первой вещью». Он заменял и биржу для коммерсантов, делавших за чашкой тысячные сделки, и столовую для одиноких, и часы отдыха в дружеской беседе для всякого люда, и место деловых свиданий, и разгул для всех — от миллионера до босяка.

Словом, прав Аркашка:

— Трактир есть первая вещь!

Старейшими чисто русскими трактирами в Москве еще с первой половины прошлого столетия были три трактира: «Саратов», Гурина и Егорова. У последнего их было два: один в своем собственном доме, в Охотном ряду, а другой в доме миллионера Патрикеева, на углу Воскресенской и Театральной площадей. С последним Егорову пришлось расстаться. В 1868 году приказчик Гурина, И. Я. Тестов, уговорил Патрикеева, мечтавшего только о славе, отобрать у Егорова трактир и сдать ему. И вот, к великой купеческой гордости, на стене вновь отделанного, роскошного по тому времени, дома появилась огромная вывеска с аршинными буквами: «Большой Патрикеевский трактир». А внизу скромно: «И. Я. Тестов».

Заторговал Тестов, щеголяя русским столом.

И купечество и барство валом валило в новый трактир. Особенно бойко торговля шла с августа, когда помещики со всей России везли детей учиться в Москву в учебные заведения и когда установилась традиция — пообедать с детьми у Тестова или в «Саратове» у Дубровина… откуда «жить пошла» со своим хором знаменитая «Анна Захаровна», потом блиставшая у «Яра».

После спектакля стояла очередью театральная публика. Слава Тестова забила Гурина и «Саратов». В 1876 году купец Карзинкин купил трактир Гурина, сломал его, выстроил огромнейший дом и составил «Товарищество Большой Московской гостиницы», отделал в нем роскошные залы и гостиницу с сотней великолепных номеров. В 1878 году открылась первая половина гостиницы. Но она не помешала Тестову, прибавившему к своей вывеске герб и надпись: «Поставщик высочайшего двора».

Петербургская знать во главе с великими князьями специально приезжала из Петербурга съесть тестовского поросенка, раковый суп с расстегаями и знаменитую гурьевскую кашу, которая, кстати сказать, ничего общего с Гурьинским трактиром не имела, а была придумана каким-то мифическим Гурьевым.

Кроме ряда кабинетов, в трактире были две огромные залы, где на часы обеда или завтрака именитые купцы имели свои столы, которые до известного часа никем не могли быть заняты.

Так, в левой зале крайний столик у окна с четырех часов стоял за миллионером Ив. Вас. Чижевым, бритым, толстенным стариком огромного роста. Он в свой час аккуратно садился за стол, всегда почти один, ел часа два и между блюдами дремал.

Меню его было таково: порция холодной белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа, селянки рыбной или селянки из почек с двумя расстегаями, а потом жареный поросенок, телятина или рыбное, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинья с осетриной, белорыбицей и сухим тертым балыком. Затем на третье блюдо неизменно сковорода гурьевской каши. Иногда позволял себе отступление, заменяя расстегаи байдаковским пирогом — огромной кулебякой с начинкой в двенадцать ярусов, где было

все, начиная от слоя налимьей печенки и кончая слоем костяных мозгов в черном масле. При этом пил красное и белое вино, а подремав с полчаса, уезжал домой спать, чтобы с восьми вечера быть в Купеческом клубе, есть целый вечер по

особому заказу уже с большой компанией и выпить шампанского. Заказывал в клубе он всегда сам, и никто из компанейцев ему не противоречил.

— У меня этих разных фоли-жоли да фрикасе-курасе не полагается… По-русски едим — зато брюхо не болит, по докторам не мечемся, полоскаться по заграницам не шатаемся.

И до преклонных лет в добром здравье дожил этот гурман.

Много их бывало у Тестова.

Передо мной счет трактира Тестова в тридцать шесть рублей с погашенной маркой и распиской в получении денег и подписями: «В. Далматов и О. Григорович». Число — 25 мая. Год не поставлен, но, кажется, 1897-й или 1898-й. Проездом из Петербурга зашли ко мне мой старый товарищ по сцене В. П. Далматов и его друг О. П. Григорович, известный инженер, москвич. Мы пошли к Тестову пообедать по-московски. В левой зале нас встречает патриарх половых, справивший сорокалетний юбилей, Кузьма Павлович.

— Пожалуйте, Владимир Алексеевич, за пастуховский стол! Николай Иванович вчера уехал на Волгу рыбу ловить.

Садимся за средний стол, десяток лет занимаемый редактором «Московского листка» Пастуховым. В белоснежной рубахе, с бородой и головой чуть не белее рубахи, замер пред нами в выжидательной позе Кузьма, успевший что-то шепнуть двум подручным мальчуганам-половым.

— Ну-с, Кузьма Павлович, мы угощаем знаменитого артиста! Сооруди сперва водочки… К закуске чтобы банки да подносы, а не кот наплакал.

— Слушаю-с.

— А теперь сказывай, чем угостишь.

— Балычок получен с Дона… Янтаристый… С Кучу-гура. Так степным ветерком и пахнет…

— Ладно. Потом белорыбка с огурчиком…

— Манность небесная, а не белорыбка. Иван Яковлевич сами на даче провешивали. Икорка белужья парная… Паюсная ачуевская — калачики чуевские. Поросеночек с хреном…

— Я бы жареного с кашей, — сказал В. П. Далматов.

— Так холодного не надо-с? И мигнул половому.

— Так, а чем покормишь?

— Конечно, тестовскую селянку, — заявил О. П. Григорович.

— Селяночку — с осетриной, со стерлядкой… живенькая, как золото желтая, нагулянная стерлядка, мочаловская.

— Расстегайчики закрась налимьими печенками…

— А потом я рекомендовал бы натуральные котлетки а ля Жардиньер. Телятина, как снег, белая. От Александра Григорьевича Щербатова получаем-с, что-то особенное…

— А мне поросенка с кашей в полной неприкосновенности, по-расплюевски, — улыбается В. П. Далматов.

— Всем поросенка… Да гляди, Кузьма, чтобы розовенького, корочку водкой вели смочить, чтобы хрумтела.

— А вот между мясным хорошо бы лососинку Грилье, — предлагает В. П. Далматов.

— Лососинка есть живенькая. Петербургская… Зеленцы пощерботить прикажете? Спаржа, как масло…

— Ладно, Кузьма, остальное все на твой вкус… Ведь не забудешь?

— Помилуйте, сколько лет служу! И оглянулся назад.

В тот же миг два половых тащат огромные подносы. Кузьма взглянул на них и исчез на кухню.

Моментально на столе выстроились холодная смирновка во льду, английская горькая,

шустовская рябиновка и портвейн Леве № 50 рядом с бутылкой пикона. Еще двое пронесли два окорока провесной, нарезанной прозрачно розовыми, бумажной толщины, ломтиками. Еще поднос, на нем тыква с огурцами, жареные мозги дымились на черном хлебе и два серебряных жбана с серой зернистой и блестяще-черной ачуевской паюсной икрой. Неслышно вырос Кузьма с блюдом семги, украшенной угольниками лимона.

— Кузьма, а ведь ты забыл меня.

— Никак нет-с… Извольте посмотреть.

На третьем подносе стояла в салфетке бутылка эля и три стопочки.

— Нешто можно забыть, помилуйте-с! Начали попервоначалу «под селедочку».

— Для рифмы, как говаривал И. Ф. Горбунов: водка — селедка.

Потом под икру ачуевскую, потом под зернистую с крошечным расстегаем из налимьих печенок, по рюмке сперва белой холодной смирновки со льдом, а потом ее же, подкрашенной пикончиком, выпили английской под мозги и зубровки под салат оливье…

После каждой рюмки тарелочки из-под закуски сменялись новыми…

Кузьма резал дымящийся окорок, подручные черпали серебряными ложками зернистую икру и раскладывали по тарелочкам. Розовая семга сменялась янтарным балыком… Выпили по стопке эля «для осадки». Постепенно закуски исчезали, и на месте их засверкали дорогого фарфора тарелки и серебро ложек и вилок, а на соседнем столе курилась селянка и розовели круглые расстегаи.

— Селяночки-с!..

И Кузьма перебросил на левое плечо салфетку, взял вилку и ножик, подвинул к себе расстегай, взмахнул пухлыми белыми руками, как голубь крыльями, моментально и беззвучно обратил рядом быстрых взмахов расстегай в десятки узких ломтиков, разбегавшихся от цельного куска серой налимьей печенки на середине к толстым зарумяненным краям пирога.

— Розан китайский, а не пирог! — восторгался В. П. Далматов.

— Помилуйте-с, сорок лет режу, — как бы оправдывался Кузьма, принимаясь за следующий расстегай. — Сами Влас Михайлович Дорошевич хвалили меня за кройку розанчиком.

— А давно он был?

— Завтракали. Только перед вами ушли.

— Поросеночка с хреном, конечно, ели?

— Шесть окорочков под водочку изволили скушать. Очень любят с хренком и со сметанкой.

Компания продолжала есть, а оркестрион в соседнем большом зале выводил:

Вот как жили при Аскольде
Наши деды и отцы…

Трактир Тестова был из тех русских трактиров, которые в прошлом столетии были в большой моде, а потом уже стали называться ресторанами. Тогда в центре города был только один «ресторан» — «Славянский базар», а остальные назывались «трактиры», потому что главным посетителем был старый русский купец. И каждый из городских трактиров в районе Ильинки и Никольской отличался своими обычаями, своим каким-нибудь особым блюдом и имел своих постоянных посетителей. И во всех этих трактирах прислуживали половые — ярославцы, в белых рубахах из дорогого голландского полотна, выстиранного до блеска. «Белорубашечники», «половые», «шестерки» их прозвания.

— Почему «шестерки»?

— Потому, что служат тузам, королям и дамам… И всякий валет, даже червонный, им приказывает… — объяснил мне старый половой Федотыч и, улыбаясь, добавил: — Ничего! Козырная шестерка и туза бьет!

Но пока «шестерка» станет козырной, много ей мытарств надо пройти.

В старые времена половыми в трактирах были, главным образом, ярославцы — «ярославские водохлебы». Потом, когда трактиров стало больше, появились половые из деревень Московской, Тверской, Рязанской и других соседних губерний.

Их привозили в Москву мальчиками в трактир, кажется, Соколова, где-то около Тверской заставы, куда трактирщики и обращались за мальчиками. Здесь была биржа будущих «шестерок». Мальчиков привозили обыкновенно родители, которые и заключали с трактирщиками контракт на выучку, лет на пять. Условия были разные, смотря по трактиру.

Мечта у всех — попасть в «Эрмитаж» или к Тестову. Туда брали самых ловких, смышленых и грамотных ребятишек, и здесь они проходили свой трудный стаж на звание полового.

Сначала мальчика ставили на год в судомойки. Потом, если найдут его понятливым, переводят в кухню — ознакомить с подачей кушаний. Здесь его обучают названиям кушаний… В полгода мальчик навострится под опытным руководством поваров, и тогда на него надевают белую рубаху.

— Все соуса знает! — рекомендует главный повар.

После этого не менее четырех лет мальчик состоит в подручных, приносит с кухни блюда, убирает со стола посуду, учится принимать от гостей заказы и, наконец, на пятом году своего учения удостаивается получить лопаточник для марок и шелковый пояс, за который затыкается лопаточник, — и мальчик служит в зале.

К этому времени он обязан иметь полдюжины белых мадаполамовых, а кто в состоянии, то и голландского полотна рубах и штанов, всегда снежной белизны и не немятых.

Старые половые, посылаемые на крупные ресторанные заказы, имели фраки, а в единственном тогда «Славянском базаре» половые служили во фраках и назывались уже не половыми, а официантами, а гости их звали: «Человек!»

Потом «фрачники» появились в загородных ресторанах. Расчеты с буфетом производились марками. Каждый из половых получал утром из кассы на 25 рублей медных марок, от 3 рублей до 5 копеек штука, и, передавая заказ гостя, вносил их за кушанье, а затем обменивал марки на деньги, полученные от гостя.

Деньги, данные «на чай», вносились в буфет, где записывались и делились поровну. Но всех денег никто не вносил; часть, а иногда и большую, прятали, сунув куда-нибудь подальше. Эти деньги назывались у половых: подвенечные.

— Почему подвенечные?

— Это старина. Бывалоче, мальчишками в деревне копеечки от родителей в избе прятали, совали в пазы да в щели, под венцы, — объясняли старики.

Половые и официанты жалованья в трактирах и ресторанах не получали, а еще сами платили хозяевам из доходов или определенную сумму, начиная от трех рублей в месяц и выше, или 20 процентов с чаевых, вносимых в кассу.

Единственный трактир «Саратов» был исключением: там никогда хозяева, ни прежде Дубровин, ни после Савостьянов, не брали с половых, а до самого закрытия трактира платили и половым и мальчикам по три рубля в месяц.

— Чайные — их счастье. Нам чужого счастья не надо, а за службу мы платить должны, — говаривал Савостьянов.

Сколько часов работали половые, носясь по залам, с кухни и на кухню, иногда находящуюся внизу, а зал- в третьем этаже, и учесть нельзя. В некоторых трактирах работали чуть не по шестнадцати часов в сутки. Особенно трудна была служба в «простонародных» трактирах, где подавался чай — пять копеек пара, то есть чай и два куска сахару на одного, да и то заказчики экономили.

Садятся трое, распоясываются и заказывают: «Два и три!» И несет половой за гривенник две пары и три прибора. Третий прибор бесплатно. Да раз десять с чайником за водой сбегает.

— Чай-то жиденек, попроси подбавить! — просит гость.

Подбавят — и еще бегай за кипятком.

Особенно трудно было служить в извозчичьих трактирах. Их было очень много в Москве. Двор с колодами для лошадей — снаружи, а внутри — «каток» со снедью.

На катке все: и щековина, и сомовина, и свинина. Извозчик с холоду любил что пожирнее, и каленые яйца, и калачи, и ситнички подовые на отрубях, а потом обязательно гороховый кисель.

И многие миллионеры московские, вышедшие из бедноты, любили здесь полакомиться, старину вспомнить. А если сам не пойдет, то малого спосылает:

— Принеси-ка на двугривенный рубца. Да пару ситничков захвати или калачика!

А постом:

— Киселька горохового, да пусть пожирнее маслицем попоснит!

И сидит в роскошном кабинете вновь отделанного амбара и наслаждается его степенство да недавнее прошлое свое вспоминает. А в это время о миллионных делах разговаривает с каким-нибудь иностранным комиссионером.

Извозчик в трактире и питается и согревается. Другого отдыха, другой еды у него нет. Жизнь всухомятку. Чай да требуха с огурцами. Изредка стакан водки, но никогда — пьянства. Раза два в день, а в мороз и три, питается и погреется зимой или высушит на себе мокрое платье осенью, и все это удовольствие стоит ему шестнадцать копеек: пять копеек чай, на гривенник снеди до отвала, а копейку дворнику за то, что лошадь напоит да у колоды приглядит.

В центре города были излюбленные трактиры у извозчиков: «Лондон» в Охотном, «Коломна» на Неглинной, в Брюсовском переулке, в Большом Кисельном и самый центральный в Столешниковом, где теперь высится дом № 6 и где прежде ходили стада кур и большой рыжий дворовый пес Цезарь сидел у ворот и не пускал оборванцев во двор.

В каждом трактире был обязательно свой зал для извозчиков, где красовался увлекательный «каток», арендатор которого платил большие деньги трактирщику и старался дать самую лучшую провизию, чтобы привлекать извозчиков, чтобы они говорили:

— Едем в Столешников. Лучше «катка» нет!

И едут извозчики в Столешников потому, что там очень уж сомовина жирна и ситнички всегда горячие.

А в праздничные дни к вечеру трактир сплошь битком набит пьяными — места нет. И лавирует половой между пьяными столами, вывертываясь и изгибаясь, жонглируя над головой высоко поднятым подносом на ладони, и на подносе иногда два и семь — то есть два чайника с кипятком и семь приборов.

И «на чай» посетители, требовавшие только чай, ничего не давали, разве только иногда две или три копейки, да и то за особую услугу.

— Малой, смотайся ко мне на фатеру да скажи самой, что я обедать не буду, в город еду, — приказывает сосед-подрядчик, и «малый» иногда по дождю и грязи, иногда в двадцатиградусный мороз, накинув на шею или на голову грязную салфетку, мчится в одной рубахе через улицу и исполняет приказание постоянного посетителя, которым хозяин дорожит. Одеваться некогда — по шее попадет от буфетчика.

Или извозчик приказывает:

— Сбегай-ка на двор, там в санях под седушкой вобла лежит. Принеси. Знаешь, моя лошадь гнедая, с лысинкой.

И бежит раздетый мальчуган между сотней лошадей извозчичьего двора искать «гнедую с лысинкой» и «воблу под седушкой».

Сколько их заболевало воспалением легких!

С пьяных получать деньги было прямо-таки подвигом, полчаса держит и ругается пьяный посетитель, пока ему протолкуешь.

А протолковать опытные ребята умели, и в этом доход их был.

И получить сумеют.

— Ну как, заправил?

— Петра-то Кирилыча? Так, махонького… А все-таки… Сейчас еще жив сапожник Петр Иванович, которым

хорошо помнит этого, как я уже рассказывал, действительно существовавшего углицкого крестьянина Петра Кирилыча, так как ему сапоги шил. Петр Иванович каждое утро пьет чай в «Обжорке», где собираются старинные половые.

Московские купцы, любившие всегда над кем-нибудь посмеяться, говорили ему: «Ты, Петр, мне не заправляй Петра Кирилыча!» Но Петр Кирилыч иногда отвечал купцу — он знал кому и как ответить — так:

— И все-то я у вас на уме, все я. Это на пользу. Небось по счетам когда платите, сейчас обо мне вспоминаете, глянь, и наживете. И сами, когда счета покупателю пишете, тоже меня не забудете. На чаек бы с вашей милости!

И приходилось давать и уж больше не повторять своих купеческих шуток.

Этой чисто купеческой привычкой насмехаться и глумиться над беззащитными некоторые половые умело пользовались. Они притворялись оскорбленными и выуживали «на чай». Был такой у Гурина половой Иван Селедкин. Это была его настоящая фамилия, но он ругался, когда его звали по фамилии, а не по имени. Не то, что по фамилии назовут, но даже в том случае, если гость прикажет подать селедку, он свирепствует:

— Я тебе дам селедку! А по морде хочешь?

В трактире всегда сидели свои люди, знали это, и никто не обижался. Но едва не случилась с ним беда. Это было уже у Тестова, куда он перешел от Гурина. В зал пришел переведенный в Москву на должность начальника жандармского управления генерал Слезкин. Он с компанией занял стол и заказывал закуску. Получив приказ, половой пошел за кушаньем, а вслед ему Слезкин крикнул командирским голосом:

— Селедку не забудь, селедку!

И на несчастье, из другой двери в это время входил Селедкин. Он не видел генерала, а только слышал слово «селедку».

— Я тебе, мерзавец, дам селедку! А по морде хочешь?

Угрожающе обернулся и замер.

Замерли и купцы.

У кого ложка остановилась у рта. У кого разбилась рюмка. Кто поперхнулся и задыхался, боясь кашлянуть.

Чем кончилось это табло — неизвестно. Знаю только, что Селедкин продолжал свою службу у Тестова.

В трактире Егорова, в Охотном, славившемся блинами и рыбным столом, а также и тем, что в трактире не позволяли курить, так как хозяин был по старой вере, был половой Козел.

Старик с огромной козлиной седой бородой, да еще тверской, был прозван весьма удачно и не выносил этого слова, которого вообще тверцы не любили. Охотно-рядские купцы потешались над ним обыкновенно так: занимали стол, заказывали еду, а посреди стола клали незавязанный пакет. Когда старик ставил кушанье и брал пакет, чтоб освободить место для посуды, он снимал сверху бумагу — а там игрушечный козел! Схватывал старик этого козла и с руганью бросал об пол. Но если игрушка была ценная, из хорошего магазина, он схватывал, убегал и прятал ее. А в следующий раз купцы опять покупали козла. Под старость Козел служил в «Монетном» у Обухова, в Охотном ряду, где в старину был монетный двор.

Был в трактире у «Арсентьича» половой, который не выносил слова «лимон». Говорят, что когда-то он украл на складе мешок лимонов, загулял у девочек, а они мешок развязали и вместо лимонов насыпали гнилого картофеля.

Много таких предметов для насмешек было, но иногда эти насмешки и горем отзывались. Так, половой в трактире Лопашова, уже старик, действительно не любил, когда ему с усмешкой заказывали поросенка. Это напоминало ему горький случай из его жизни.

Приехал он еще в молодости в деревню на побывку к жене, привез гостинцев. Жена

жила в хате одна и кормила небольшого поросенка. На несчастье, когда муж постучался, у жены в гостях был любовник. Испугалась, спрятала она под печку любовника, впустила мужа и не знает, как быть. Тогда она отворила дверь, выгнала поросенка в сени, из сеней на улицу да и закричала мужу:

— Поросенок убежал, лови его! И сама побежала с ним. Любовник в это время ушел, а сосед всю эту историю видел и рассказал ее в селе, а там односельчане привезли в Москву и дразнили несчастного до старости… Иногда даже плакал старик.

Трактир Лопашова, на Варварке, был из древнейших. Сначала он принадлежал Мартьянову, но после смерти его перешел к Лопашову.

Лысый, с подстриженными усами, начисто выбритый, всегда в черном дорогом сюртуке, Алексей Дмитриевич Лопашов пользовался уважением и одинаково любезно относился к гостям, кто бы они ни были. В верхнем этаже трактира был большой кабинет, называемый «русская изба», убранный расшитыми полотенцами и деревянной резьбой. Посредине стол на двенадцать приборов, с шитой русской скатертью и вышитыми полотенцами вместо салфеток. Сервировался он старинной посудой и серебром: чашки, кубки, стопы, стопочки петровских и ранее времен. Меню — тоже допетровских времен.

Здесь давались небольшие обеды особенно знатным иностранцам; кушанья французской кухни здесь не подавались, хотя вина шли и французские, но перелитые в старинную посуду с надписью — фряжское, фалернское, мальвазия, греческое и т. п., а для шампанского подавался огромный серебряный жбан, в ведро величиной, и черпали вино серебряным ковшом, а пили кубками.

Раз только Алексей Дмитриевич изменил меню в «русской избе», сохранив всю обстановку.

Неизменными посетителями этого трактира были все московские сибиряки. Повар, специально выписанный Лопашовым из Сибири, делал пельмени и строганину. И вот как-то в восьмидесятых годах съехались из Сибири золотопромышленники самые крупные и обедали по-сибирски у Лопашова в этой самой «избе», а на меню стояло: «Обед в стане Ермака Тимофеевича», и в нем значилось только две перемены: первое — закуска и второе — «сибирские пельмени».

Никаких больше блюд не было, а пельменей на двенадцать обедавших было приготовлено 2500 штук: и мясные, и рыбные, и фруктовые в розовом шампанском… И хлебали их сибиряки деревянными ложками… У Лопашова, как и в других городских богатых трактирах, у крупнейших коммерсантов были свои излюбленные столики. Приходили с покупателями, главным образом крупными провинциальными оптовиками, и первым делом заказывали чаю.

Постом сахару не подавалось, а приносили липовый мед. Сахар считался тогда скоромным: через говяжью кость перегоняют!

И вот за этим чаем, в пятиалтынный, вершились дела на десятки и сотни тысяч. И только тогда, когда кончали дело, начинали завтрак или обед, продолжать который переходили в кабинеты.

Таков же был трактир и «Арсентьича» в Черкасском переулке, славившийся русским столом, ветчиной, осетриной и белугой, которые подавались на закуску к водке с хреном и красным хлебным уксусом, и нигде вкуснее не было. Щи с головизной у «Арсентьича» были изумительные, и Гл. И. Успенский, приезжая в Москву, никогда не миновал ради этих щей «Арсентьича».

За ветчиной, осетриной и белугой в двенадцать часов посылали с судками служащих те богатые купцы, которые почему-либо не могли в данный день пойти в трактир и принуждены были завтракать у себя в амбарах.

Это был самый степенный из всех московских трактиров, кутежей в нем не было никогда. Если уж какая-нибудь компания и увлечется лишней чаркой водки благодаря «хренку с уксусом» и горячей ветчине, то вовремя перебирается в кабинеты к Бубнову или в «Славянский базар», а то и прямо к «Яру».

Купцы обыкновенно в трактир идут, в амбар едут, а к «Яру» и вообще «за заставу» — попадают!

У «Арсентьича» было сытно и «омашнисто». Так же, как в знаменитом Егоровском трактире, с той только разницей, что здесь разрешалось курить. В Черкасском переулке в восьмидесятых годах был еще трактир, кажется Пономарева, в доме Карташева. И домика этого давно нет. Туда ходила порядочная публика.

Во втором зале этого трактира, в переднем углу, под большим образом с неугасимой лампадой, за отдельным столиком целыми днями сидел старик, нечесаный, небритый, редко умывающийся, чуть не оборванный… К его столику подходят очень приличные, даже богатые, известные Москве люди. Некоторым он предлагает сесть. Некоторые от него уходят радостные, некоторые — очень огорченные.

А он сидит и пьет давно остывший чай. А то вынет пачки серий или займов и режет купоны.

Это был владелец дома, первогильдейский купец Григорий Николаевич Карташев. Квартира его была рядом с трактиром, в ней он жил одиноко, спал на голой лежанке, положив под голову что-нибудь из платья. В квартире никогда не натирали полов и не мели.

Ночи он проводил в подвалах, около денег, как «скупой рыцарь». Вставал в десять часов утра и аккуратно в одиннадцать часов шел в трактир. Придет. Сядет. Подзовет полового:

— Вчерашних щец кухонных осталось?

— Должно, осталось.

— Вели-ка разогреть… А ежели кашка осталась, так и кашки…

Поест — это на хозяйский счет, — а потом чайку спросит за наличные:

— Чайку одну парочку за шесть копеек да копеечную сигару.

Является заемщик. Придет, сядет.

— Чего хочешь?

— Выпил бы чайку.

— Ну и спрашивай себе. За чай и за цигарку заплати сам.

И заемщик должен себе спросить чаю, тоже пару, за шесть копеек. А если спросит полпорции за тридцать копеек или закажет вина или селянку — разговоры кончены:

— Ишь ты, какой роскошный! Уходи вон, таким транжирам денег не даю. — И выгонит.

Это все знали, и являвшийся к нему богатый купец или барин-делец курил копеечную сигару и пил чай за шесть копеек, затем занимал десятки тысяч под вексель. По мелочам Карташев не любил давать. Он брал огромные проценты, но обращаться в суд избегал, и были случаи, что деньги за должниками пропадали.

Вечером за ним приходил его дворник Квасов и уводил его домой.

Десятки лет такой образ жизни вел Карташев, не посещая никого, даже свою сестру, которая была замужем за стариком Обидиным, тоже миллионером, унаследовавшим впоследствии и карташевские миллионы.

Только после смерти Карташева выяснилось, как он жил: в его комнатах, покрытых слоями пыли, в мебели, за обоями, в отдушинах, найдены были пачки серий, кредиток, векселей. Главные же капиталы хранились в огромной печи, к которой было прилажено нечто вроде гильотины: заберется вор — пополам его перерубит. В подвалах стояли железные сундуки, где вместе с огромными суммами денег хранились груды огрызков сэкономленного сахара, стащенные со столов куски хлеба, баранки, веревочки и грязное белье.

Найдены были пачки просроченных векселей и купонов, дорогие собольи меха, съеденные молью, и рядом — свертки полуимпериалов более чем на 50 тысяч рублей. В другой пачке — на 150 тысяч кредитных билетов и серий, а всего состояния было более 30 миллионов.

В городе был еще один русский трактир. Это в доме Казанского подворья, по

Ветошному переулку, трактир Бубнова. Он занимал два этажа громадного дома и бельэтаж с анфиладой роскошно отделанных зал и уютных отдельных кабинетов.

Это был трактир разгула, особенно отдельные кабинеты, где отводили душу купеческие сынки и солидные бородачи-купцы, загулявшие вовсю, на целую неделю, а потом жаловавшиеся с похмелья:

— Ох, трудна жизнь купецкая: день с приятелем, два с покупателем, три дня так, а в воскресенье разрешение вина и елея и — к «Яру» велели…

К Бубнову переходили после делового завтрака от Лопашова и «Арсентьича», если лишки за галстук перекладывали, а от Бубнова уже куда угодно, только не домой. На неделю разгул бывал. Много было таких загуливающих типов. Один, например, пьет мрачно по трактирам и притонам, безобразничает и говорит только одно слово:

— Скольки?

Вынимает бумажник, платит и вдруг ни с того ни с сего схватит бутылку шампанского и — хлесть ее в зеркало. Шум. Грохот. Подбегает прислуга, буфетчик. А он

хладнокровно вынимает бумажник и самым деловым тоном спрашивает;

— Скольки?

Платит, не торгуясь, и снова бьет…

А то еще один из замоскворецких, загуливавших только у Бубнова и не выходивших дня по два из кабинетов, раз приезжает ночью домой на лихаче с приятелем. Ему отворяют ворота — подъезд его дедовского дома был со двора, а двор был окружен высоким деревянным забором, а он орет:

— Не хочу в ворота, ломай забор! Не поеду! Хозяйское слово крепко и кулак его тоже. Затворили ворота, сломали забор, и его степенство

победоносно въехало во двор, и на другой день никакого раскаяния, купеческая удаль еще дальше разгулялась. Утром жена ему начинает выговор делать, а он на нее с кулаками:

— Кто здесь хозяин? Кто? Ежели я хочу как, так тому и быть!

— А вы бы, Макарий Паисиевич, в баньку сходили-помылись бы. Полегчает…

— Желаю! Мыться!

— А я баньку велю истопить.

— Не хочу баню! Топи погреб!

И добился того, что в погребе стали печку ставить и на баню переделывать…

Но бубновский верх еще был приличен. Нижний же этаж нечто неподобное.

— Что у тебя рожа на боку и глаз не глядит?

— Да так вчера вышло…

— Аль в «дыру» попал?

— Угодил!

Нижняя половина трактира Бубнова другого названия и не имела: «дыра».

Бубновская «дыра».

Благодаря ей и верхнюю, чистую часть дома тоже называли «дыра». Под верхним трактиром огромный подземный подвал, куда ведет лестница больше чем в двадцать ступеней. Старинные своды невероятной толщины — и ни одного окна. Освещается газом. По сторонам деревянные каютки — это «каморки», полутемные и грязные. Посередине стол, над которым мерцает в табачном дыме газовый рожок.

Вокруг стола четыре деревянных стула. В залах на столах такие же грязные скатерти. Такие же стулья.

Гостинодворское купечество, ищущее «за грош да пошире» или «пошире да за грош», начинает здесь гулянье свое с друзьями и такими же покупателями с десяти утра. Пьянство, гвалт и скандалы целый день до поздней ночи. Жарко от газа, душно от табаку и кухни. Песни, гогот, ругань. Приходится только пить и на ухо орать, так как за шумом разговаривать, сидя рядом, нельзя. Ругайся, как хочешь, — женщины сюда не допускались. И все лезет новый и новый народ. И как не лезть, когда здесь все дешево: порции огромные, водка рубль бутылка, вина тоже от рубля бутылка, разные портвейны, мадеры, лиссабонские

московской фабрикации, вплоть до ланинского двухрублевого шампанского, про которое тут же и песню пели:

От ленинского редерера
Трещит и пухнет голова…

Пили и ели потому, что дешево, и никогда полиция не заглянет, и скандалы кончаются тут же, а купцу главное, чтобы «сокровенно» было. Ни в одном трактире не было такого гвалта, как в бубновской «дыре».

В «городе» более интересных трактиров не было, кроме разве явившегося впоследствии в подвалах Городских рядов «Мартьяныча», рекламировавшего вовсю и торговавшего на славу, повторяя собой во всех отношениях бубновскую «дыру».

Только здесь разгул увеличивался еще тем, что сюда допускался и женский элемент, чего в «дыре» не было.

Фешенебельный «Славянский базар» с дорогими номерами, где останавливались петербургские министры, и сибирские золотопромышленники, и степные помещики, владельцы сотен тысяч десятин земли, и… аферисты, и петербургские шулера, устраивавшие картежные игры в двадцатирублевых номерах.

Ход из номеров был прямо в ресторан, через коридор отдельных кабинетов.

Сватайся и женись.

Обеды в ресторане были непопулярными, ужины — тоже. Зато завтраки, от двенадцати до трех часов, были модными, как и в «Эрмитаже». Купеческие компании после «трудов праведных» на бирже являлись сюда во втором часу и, завершив за столом миллионные сделки, к трем часам уходили. Оставшиеся после трех кончали «журавлями».

«Завтракали до «журавлей» — было пословицей.

И люди понимающие знали, что, значит, завтрак был в «Славянском базаре», где компания, закончив шампанским и кофе с ликерами, требовала «журавлей».

Так назывался запечатанный хрустальный графин, разрисованный золотыми журавлями, и в нем был превосходный коньяк, стоивший пятьдесят рублей. Кто платил за коньяк, тот и получал пустой графин на память. Был даже некоторое время спорт коллекционировать эти пустые графины, и один коннозаводчик собрал их семь штук и показывал свое собрание с гордостью.

Здание «Славянского базара» было выстроено в семидесятых годах А. А. Пороховщиковым, и его круглый двухсветный зал со стеклянной крышей очень красив.

Сидели однажды в «Славянском базаре» за завтраком два крупных афериста. Один другому и говорит:

— Видишь, у меня в тарелке какие-то решетки… Что это значит?

— Это значит, что не минешь ты острога! Предзнаменование!

А в тарелке ясно отразились переплеты окон стеклянного потолка.

Были еще рестораны загородные, из них лучшие — «Яр» и «Стрельна», летнее отделение которой называлось «Мавритания». «Стрельна», созданная И. Ф. Натрускиным, представляла собой одну из достопримечательностей тогдашней Москвы — она имела огромный зимний сад. Столетние тропические деревья, гроты, скалы, фонтаны, беседки и — как полагается — кругом кабинеты, где всевозможные хоры.

«Яр» тогда содержал Аксенов, толстый бритый человек, весьма удачно прозванный «Апельсином». Он очень гордился своим пушкинским кабинетом с бюстом великого поэта, который никогда здесь не был, а если и писал -

И с телятиной холодной Трюфли «Яра» вспоминать…

то это было сказано о старом «Яре», помещавшемся в пушкинские времена на Петровке.

Был еще за Тверской заставой ресторан «Эльдорадо» Скалкина, «Золотой якорь» на Ивановской улице под Сокольниками, ресторан «Прага», где Тарарыкин сумел соединить все

лучшее от «Эрмитажа» и Тестова и даже перещеголял последнего расстегаями «пополам» — из стерляди с осетриной. В «Праге» были лучшие бильярды, где велась приличная игра.

Когда пошло увлечение модой и многие из трактиров стали называться «ресторанами» — даже «Арсентьич», перейдя в другие руки, стал именоваться в указателе официально «Старочеркасский ресторан», а публика шла все так же в «трактир» к «Арсентьичу».

Много потом наплодилось в Москве ресторанов и мелких ресторанчиков, вроде «Италии», «Ливорно», «Палермо» и «Татарского» в Петровских линиях, впоследствии переименованного в гостиницу «Россия». В них было очень дешево и очень скверно. Впрочем, исключением был «Петергоф» на Моховой, где Разживин ввел дешевые дежурные блюда на каждый день, о которых публиковал в газетах.

«Сегодня, в понедельник — рыбная селянка с расстегаем. Во вторник — фляки… По средам и субботам — сибирские пельмени… Ежедневно шашлык из карачаевского барашка».

Популяризировал шашлык в Москве Разживин. Первые шашлыки появились у Автандилова, державшего в семидесятых годах первый кавказский погребок с кахетинскими винами в подвальчике на Софийке. Потом Ав-тандилов переехал на Мясницкую и открыл винный магазин. Шашлыки надолго прекратились, пока в восьмидесятых — девяностых годах в Черкасском переулке, как раз над трактиром «Арсентьича», кавказец Сулханов не открыл без всякого патента при своей квартире кавказскую столовую с шашлыками и — тоже тайно — с кахетинскими винами, специально для приезжих кавказцев. Потом стали ходить и русские. По знакомым он распространял свои визитные карточки:

«К. Сулханов. Племянник князя Аргутинского-Долгорукова» и свой адрес.

Всякий посвященный знал, зачем он идет по этой кар-

точке. Дело разрослось, но косились враги-конкуренты. Кончилось протоколом и закрытием. Тогда Разживин пригласил его открыть кухню при «Петергофе».

Заходили опять по рукам карточки «племянника князя Аргутинского-Долгорукова» с указанием «Петергофа», и дело пошло великолепно. Это был первый шашлычник в Москве, а за ним наехало сотни кавказцев, шашлыки стали модными.

Были еще немецкие рестораны, вроде «Альпийской розы» на Софийке, «Билло» на Большой Лубянке, «Берлин» на Рождественке, Дюссо на Неглинной, но они не типичны для Москвы, хотя кормили в них хорошо и подавалось кружками настоящее пильзенское пиво.

Из маленьких ресторанов была интересна на Кузнецком мосту в подвале дома Тверского подворья «Венеция». Там в отдельном зальце с запиравшеюся дверью собирались деды нашей революции. И удобнее места не было: в одиннадцать часов ресторан запирался, публика расходилась — и тут-то и начинались дружеские беседы в этом небольшом с завешенными окнами зале.

Закрыта кухня, закрыт буфет, и служит самолично только единственный хозяин ресторана, Василий Яковлевич, чуть не молившийся на каждого из посетителей малого зала… Подавались только водка, пиво и холодные кушанья. Пивали иногда до утра.

— Отдохновенно и сокровенно у меня! — говаривал Василий Яковлевич.

Приходили поодиночке и по двое и уходили так же через черный ход по пустынным ночью Кузнецкому мосту и Газетному переулку (тогда весь переулок от Кузнецкого моста до Никитской назывался Газетным), до Тверской, в свои «Черныши» и дом Олсуфьева, где обитали и куда приезжали и приходили переночевать нелегальные…

В «малом зале», как важно называл эту комнатенку со сводами Василий Яковлевич, за большим столом, освещенным газовой люстрой, сидели огромные бородатые и волосатые фигуры: П. Г. Зайчневский, М. И. Мишла-Орфанов, Ф. Д. Нефедов, Н. Н. Златовратский, С. А. Приклонский. Среди них щупленький, с интеллигентско-русой бородкой Н. М. Астырев, тогда читавший там корректуры своей книги «В волостных писарях». За-

тем крошечный, бритый актер Вася Васильев, попавшийся было по делу 193-х, но случайно выкрутившийся. Его настоящая фамилия была Шведевенгер, но об этом знали только немногие. Изредка бывал здесь В. А. Гольцев, раз был во время какого-то побега

Герман Лопатин. Собирались здесь года два, а потом все разбрелись, а Василий Яковлевич продолжал торговать, и к нему всякий из вышесказанных, бывая в Москве, считал своим долгом зайти, а иногда и перехватить деньжонок-на дорогу.

Вася Васильев принес как-то только что полученный № 6 «Народной воли», и поздно ночью его читали вслух, не стесняясь Василия Яковлевича. Когда Мишла прочел напечатанное в этом номере стихотворение П. Я. (Якубовича) «Матери», Василий Яковлевич со слезами на глазах просил его списать, но Вася Васильев отдал ему весь номер.

— Сколько позволите заплатить, Василий Васильевич?

— Сколько хотите. Эти деньги пойдут на помощь политическим заключенным.

— Сейчас.

Василий Яковлевич исчез и принес радужную сторублевку.

— На такое великое дело извольте получить.

Только этим и памятен был ресторанчик «Венеция», днем обслуживающий прохожих на Кузнецком мосту среднего класса и служащих в учреждениях, а шатающаяся франтоватая публика не удостаивала вниманием дешевого ресторанишка, предпочитая ему кондитерские или соседнюю «Альпийскую розу» и «Билло».

Рестораном еще назывался трактир «Молдавия» в Грузинах, где днем и вечером была обыкновенная публика, пившая водку, а с пяти часов утра к грязному крыльцу деревянного голубовато-серого дома подъезжали личахи-одиночки, пары и линейки с цыганами.

Это был цыганский трактир. После «Яра», «Стрельны» и «Эльдорадо» цыгане, жившие все в Грузинах, приезжали сюда «пить чай», а с ними и их поклонники.

А невдалеке от «Молдавии», на Большой Грузинской, в доме Харламова, в эти же часы оживлялся более скромный трактир Егора Капкова. В шесть часов утра чистый зал трактира сплошь был полон фрачной публикой. Это официанты загородных ресторанов, кончившие свою трудовую ночь, приезжали кутнуть в своем кругу: попить чайку, выпить водочки, съесть селяночку с капустой.

И, насмотревшись за ночь на важных гостей, сами важничали и пробирали половых в белых рубашках за всякую ошибку и даже иногда подражали тем, которым они служили час назад, важно подзывали половых:

— Человек, это тебе на чай.

И давал гривенник «человек» во фраке человеку в рубашке. Фрак прибавлял ему кавычки. А. мальчиков половых экзаменовали. Подадут чай, а старый буфетчик колотит ногтем указательного пальца себя по зубам:

— Дай железные! Или прикажет:

— Дай мне в зубы, чтобы дым пошел!

И опытный мальчик подает ему щипчики для сахара, приносит папиросы и зажигает спичку.

На углу Остоженки и 1-го Зачатьевского переулка в первой половине прошлого века был большой одноэтажный дом, занятый весь трактиром Шустрова, который сам с семьей жил в мезонине, а огромный чердак да еще пристройки на крыше были заняты голубятней, самой большой во всей Москве. Тучи голубей всех пород и цветов носились над окружающей местностью, когда семья Шустрова занималась любимым московским спортом — гоняла голубей. В числе любителей бывал и богатый трактирщик И. Е. Красовский. Он перекупил у Шустрова его трактир и уговорил владельца сломать деревянный дом и построить каменный по его собственному плану, под самый большой трактир в Москве. Дом был выстроен каменный, трехэтажный, на две улицы. Внизу лавки, второй этаж под «дворянские» залы трактира с массой отдельных кабинетов, а третий, простонародный трактир, где главный зал с низеньким потолком был настолько велик, что в нем помещалось больше ста столов, и середина была свободна для пляски. Внизу был поставлен оркестрион, а вверху эстрада для песенников и гармонистов. Один гармонист заиграет, а сорок человек пляшут.

А над домом по-прежнему носились тучи голубей, потому что и Красовский и его

сыновья были такими же любителями, как и Шустровы, и у них под крышей также была выстроена голубятня. «Голубятня» — так звали трактир, и никто его под другим именем не знал, хотя официально он так не назывался, и в печати появилось это название только один раз, в московских газетах в 1905 году, в заметке под заглавием: «Арест революционеров в «Голубятне».

Еще задолго до 1905. года уютные и сокровенные от надзора полиции кабинеты «Голубятни» служили местом сходок и встреч тогдашних революционеров, а в 1905 году там бывали огромные митинги.

Очень уж удобные залы выстроил Красовский. Здесь по утрам, с пяти часов, собирались лакеи, служившие по ужинам, обедам и свадьбам, делить доходы и пить водку. Здесь справлялись и балы, игрались «простонародные» свадьбы, и здесь собиралась «вязка», где шайка аукционных скупщиков производила расчеты со своими подручными, сводившими аукционы на нет и отбивавшими охоту постороннему покупателю пробовать купить что-нибудь на аукционе: или из-под рук вырвут хорошую вещь, или дрянь в такую цену вгонят, что навсегда у всякого отобьют охоту торговаться. Это на их жаргоне называлось: «надеть чугунную шляпу».

Кроме этой полупочтенной ассоциации «Чугунных шляп», здесь раза два в месяц происходили петушиные бои. В назначенный вечер часть зала отделялась, посредине устраивалась круглая арена, наподобие цирковой, кругом уставлялись скамьи и стулья для зрителей, в число которых допускались только избранные, любители этого старого московского спорта, где, как впоследствии на бегах и скачках, существовал своего рода тотализатор — держались крупные пари за победителя.

К известному часу подъезжали к «Голубятне» богатые купцы, но всегда на извозчиках, а не на своих рысаках, для конспирации, поднимались на второй этаж, проходили мимо ряда закрытых кабинетов за буфет, а оттуда по внутренней лестнице пробирались в отгороженное помещение и занимали места вокруг арены. За ними один за одним входили через этот зал в отдельный кабинет люди с чемоданами. Это охотники приносили своих петухов, английских бойцовых, без гребней и без бородок, с остро отточенными шпорами. Начинался отчаянный бой. Арена обливалась кровью. Одичалые зрители, с горящими глазами и судорогами на лице, то замирали, то ревели по-звериному. Кого-кого здесь не было: и купечество именитое, и важные чиновники, и богатые базарные торгаши, и театральные барышники, и «Чугунные шляпы».

Пари иногда доходили до нескольких тысяч рублей. Фаворитами публики долгое время были выписанные из Англии петухи мучника Ларионова, когда-то судившегося за поставку гнилой муки на армию, но на своих петухах опять выскочившего в кружок богатеев, простивших ему прошлое «за удачную петушиную охоту». Эти бои оканчивались в кабинетах и залах второго этажа трактира грандиознейшей попойкой.

Сам Красовский был тоже любитель этого спорта, дававшего ему большой доход по трактиру. Но последнее время, в конце столетия, Красовский сделался ненормальным, больше проводил время на «Голубятне», а если являлся в трактир, то ходил по залам с безумными глазами, распевал псалмы, и… его, конечно, растащили: трактир, когда-то «золотое дно», за долги перешел в другие руки, а Красовский кончил жизнь почти что нищим.

Кроме «Голубятни» где-то за Москвой-рекой тоже происходили петушиные бои, но там публика была сбродная. Дрались простые русские петухи, английские бойцовые не допускались. Этот трактир назывался «Ловушка». В грязных закоулках и помойках со двора был вход в холодный сарай, где была устроена арена и где публика была еще азартнее и злее.

Третье место боев была «Волна» на Садовой — уж совсем разбойничий притон, наполненный сбродом таинственных ночлежников.

Среди московских трактиров был один-единственный, где раз в году, во время весеннего разлива, когда с верховьев Москвы-реки приходили плоты с лесом и дровами, можно было видеть деревню. Трактир этот, обширный и грязный, был в Дорогомилове, как

раз у Бородинского моста, на берегу Москвы-реки.

Эти несколько дней прихода плотов были в Дорогомилове и гулянкой для москвичей, запруживавших и мост и набережную, любуясь на работу удальцов-сгонщиков, ловко проводивших плоты под устоями моста, рискуя каждую минуту разбиться и утонуть.

У Никитских ворот, в доме Боргеста, был трактир, где одна из зал была увешана закрытыми бумагой клетками с соловьями, и по вечерам и рано утром сюда сходились со всей Москвы любители слушать соловьиное пение. Во многих трактирах были клетки с певчими птицами, как, например, у А. Павловского на Трубе и в Охотничьем трактире на Неглинной. В этом трактире собирались по воскресеньям, приходя с Трубной площади, где продавали собак и птиц, известные московские охотники.

А. Т. Зверев имел два трактира — один в Гавриковом переулке «Хлебная биржа». Там заседали оптовики-миллионеры, державшие в руках все хлебное дело, и там делались все крупные сделки за чайком. Это был самый тихий трактир. Даже голосов не слышно. Солидные купцы делают сделки с уха на ухо, разве иногда прозвучит:

— Натура сто двадцать шесть…

— А овес?

— Восемьдесят…

И то и дело получают они телеграммы своих агентов из портовых городов о ценах на хлеб. Иной поморщится, прочитав телеграмму, — убыток. Но слово всегда было верно, назад не попятится. Хоть разорится, а слово сдержит…

На столах стоят мешочки с пробой хлеба. Масса мешочков на вешалке в прихожей… И на столах, в часы биржи, кроме чая — ничего… А потом уж, после «делов», завтракают и обедают.

Другой трактир у Зверева был на углу Петровки и Рахмановского переулка, в доме доктора А. С. Левенсона, отца известного впоследствии типографщика и арендатора афиш и изданий казенных театров Ал. Ал. Левенсона.

Здесь в дни аукционов в ломбардах и ссудных кассах собиралась «вязка». Это — негласное, существовавшее все-таки с ведома полиции, но без официального разрешения, общество маклаков, являвшихся на аукцион и сбивавших цены, чтобы купить даром ценные вещи, что и ухитрялись делать. «Вязка» после каждого аукциона являлась к Звереву, и один из залов представлял собой странную картину: на столах золото, серебро, бронза, драгоценности, на стульях материи, из карманов вынимают, показывают и перепродают часы, ожерелья. Тут «вязка» сводит счеты и делит между собой барыши и купленные вещи. В свою очередь, в зале толкутся другие маклаки, Сухаревские торговцы, которые скупают у них товар… Впоследствии трактир Зверева был закрыт, а на его месте находилась редакция «Русского слова», тогда еще маленькой газетки.

Сотрудники газет и журналов тогда не имели своего постоянного трактира. Зато «фабрикаторы народных книг», книжники и издатели с Никольской, собирались в трактире Колгушкина на Лубянской площади, и отсюда шло «просвещение» сермяжной Руси. Здесь сходились издатели: И. Морозов, Шарапов, Земский, Губанов, Манухин, оба Абрамовы, Преснов, Ступин, Наумов, Фадеев, Желтов, Живарев. Каждая из этих фирм ежегодно издавала по десяти и более «званий», то есть наименований книг, — от листовки до книжки в шесть и более листов, в раскрашенной обложке, со страшным заглавием и ценою от полутора рублей за сотню штук. Печаталось каждой не менее шести тысяч экземпляров. Здесь-то, за чайком, издатели и давали заказы «писателям».

«Писатели с Никольской!» — их так и звали.

Стены этих трактиров видали и крупных литераторов, прибегавших к «издателям с Никольской» в минуту карманной невзгоды. Большей частью сочинители были из выгнанных со службы чиновников, офицеров, неокончивших студентов, семинаристов, сынов литературной богемы, отвергнутых корифеями и дельцами тогдашнего литературного мира.

Сидит за столиком с парой чая у окна издатель с одним из таких сочинителей.

— Мне бы надо новую «Битву с кабардинцами».

— Можно, Денис Иванович.

— Поскорей надо. В неделю напишешь?

— Можно-с… На сколько листов?

— Листов на шесть. В двух частях издам.

— Ладно-с. По шести рубликов за лист.

— Жирно, облопаешься. По два!

— Ну хорошо, по пяти возьму.

Сторгуются, и сочинитель через две недели приносит книгу.

За другим столом сидит с книжником человек с хорошим именем, но в худых сапогах…

— Видите, Иван Андреевич, ведь у всех ваших конкурентов есть и «Ледяной дом», и «Басурман» и «Граф Монтекристо», и «Три мушкетера», и «Юрий Милославский». Но ведь это вовсе не то, что писали Дюма, Загоскин, Лажечников. Ведь там черт знает какая отсебятина нагорожена… У авторов косточки в гробу перевернулись бы, если бы они узнали.

— Ну-к што ж. И у меня они есть… У каждого свой «Юрий Милославский», и свой «Монтекристо» — и подписи: Загоскин, Лажечников, Дюма. Вот я за тем тебя и позвал. Напиши мне «Тараса Бульбу».

— То есть как «Тараса Бульбу»? Да ведь это Гоголя!

— Ну-к што ж. А ты напиши, как у Гоголя, только измени малость, по-другому все поставь да поменьше сделай, в листовку. И всякому интересно, что Тарас Бульба, а не какой не другой. И всякому лестно будет, какая, мол, это новая такая Бульба! Тут, брат, важно заглавие, а содержание — наплевать, все равно прочтут, коли деньги заплачены. И за контрафакцию не привлекут, и все-таки Бульба — он Бульба и есть, а слова-то другие.

После этого разговора, действительно, появился «Тарас Бульба» с подписью нового автора, так как Морозов самовольно поставил фамилию автора, чего тот уж никак не мог ожидать!

Там, где до 1918 года было здание гостиницы «Националь», в конце прошлого века стоял дом постройки допетровских времен, принадлежавший Фирсанову, и в нижнем этаже его был излюбленный палаточными торговцами Охотного ряда трактир «Балаклава» Егора Круглова.

— Где сам? — спрашивают приказчика.

— В пещере с покупателем.

Трактир «Балаклава» состоял из двух низких, полутемных залов, а вместо кабинетов в нем были две пещеры: правая и левая.

Это какие-то странные огромные ниши, напоминавшие исторические каменные мешки, каковыми, вероятно, они и были, судя по необыкновенной толщине сводов с торчащими из них железными толстыми полосами, кольцами и крючьями. Эти пещеры занимались только особо почетными гостями.

По другую сторону площади, в узком переулке за Лоскутной гостиницей существовал «низок» — трактир Когтева «Обжорка», где чаевничали разносчики и мелкие служащие да заседали два-три самых важных «аблаката от Иверской». К ним приходили писать прошения всякого сорта люди. Это было «народное юридическое бюро».

За отдельным столиком заседал главный, выгнанный за пьянство крупный судебный чин, который строчил прошения приходившим к нему сюда богатым купцам. Бывали случаи, что этого великого крючкотворца Николая Ивановича посещал здесь знаменитый адвокат Ф. Н. Плевако.

Кузнецкий мост через Петровку упирается в широкий раструб узкого Кузнецкого переулка. На половине раструба стоял небольшой старый деревянный флигель с антресолями, окрашенный охрой. Такие дома оставались только на окраинах столицы. Здесь же, в окружении каменных домов с зеркальными стеклами, кондитерской Трамбле и огромного Солодовниковского пассажа, этот дом бросался в глаза своей старомодностью.

Многие десятки лет над крыльцом его — не подъездом, как в соседних домах, а деревянным, самым захолустным крыльцом с четырьмя ступеньками и деревянными перильцами — тускнела вывесочка: «Трактир С. С. Щербакова». Владелец его был любимец всех актеров — Спиридон Степанович Щербаков, старик в долгополом сюртуке, с бородой лопатой. Великим постом «Щербаки» переполнялись актерами, и все знаменитости того времени были его неизменными посетителями, относились к Спиридону Степановичу с уважением, и он всех знал по имени-отчеству. Очень интересовался успехами, справлялся о тех, кто еще не приехал в Москву на великий пост. Здесь бывали многие корифеи сцены: Н. К. Милославский, Н. Х. Рыбаков, Павел Никитин, Полтавцев, Григоровский, Васильевы, Дюков, Смольков, Лаухин, Медведев, Григорьев, Андреев-Бурлак, Писарев, Киреев и наши московские знаменитости Малого театра. Бывали и драматурги и писатели того времени: А. Н. Островский, Н. А. Чаев, К. А. Тарковский.

Завсегдатаями «Щербаков» были и братья Кондратьевы, тогда еще молодые люди, о которых ходили стихи:

И один из этих братьев
Был по имени Иван,
По фамилии Кондратьев,
По прозванью Атаман.

Старик Щербаков был истинным другом актеров и в минуту безденежья, обычно к концу великого поста, кроме кредита по ресторану, снабжал актеров на дорогу деньгами, и никто не оставался у него в долгу.

Трактир этот славился расстегаями с мясом. Расстегай во всю тарелку, толщиной пальца в три, стоит пятнадцать копеек, и к нему, за ту же цену, подавалась тарелка бульона.

И когда, к концу поста, у актеров иссякали средства, они питались только такими расстегаями.

Умер Спиридон Степанович. Еще раньше умер владелец ряда каменных домов по Петровке — Хомяков. Он давно бы сломал этот несуразный флигелишко для постройки нового дома, но жаль было старика.

Не таковы оказались наследники. Получив наследство, они выгнали Щербакова, лишили актеров насиженного уюта.

Громадное владение досталось молодому Хомякову. Он тотчас же разломал флигель и решил на его месте выстроить роскошный каменный дом, но городская дума не утвердила его плана: она потребовала расширения переулка. Уперся Хомяков: «Ведь земля моя». Город предлагал купить этот клок земли — Хомяков наотрез отказался продать: «Не желаю». И, огородив эту землю железной решеткой, начал строить дом. Одновременно с началом постройки он вскопал за решеткой землю и посадил тополя, ветлу и осину.

Рос дом. Росли деревья. Открылась банкирская контора, а входа в нее с переулка нет. Хомяков сделал тротуар между домом и своей рощей, отгородив ее от тротуара такой же железной решеткой. Образовался, таким образом, посредине Кузнецкого переулка неправильной формы треугольник, который долго слыл под названием Хомяковской рощи. Как ни уговаривали и власти, и добрые знакомые, Хомяков не сдавался.

— Это моя собственность.

Хомяков торжествовал, читая ругательные письма, которые получал ежедневно. Острила печать над его самодурством.

— Воздействуйте через администрацию, — посоветовал кто-то городскому голове.

Вызвали к обер-полицмейстеру. Предложили освободить переулок, грозя высылкой из Москвы в 24 часа в случае несогласия.

— Меня вы можете выселить. Я уеду, а собственность моя останется.

Шумела молодая рощица и, наверное, дождалась бы Советской власти, но вдруг в один прекрасный день — ни рощи, ни решетки, а булыжная мостовая пылит на ее месте желтым

песком. Как? Кто? Что? — недоумевала Москва. Слухи разные, — одно только верно, что Хомяков отдал приказание срубить деревья и замостить переулок и в этот же день уехал за границу. Рассказывали, что он действительно испугался высылки из Москвы; говорили, что родственники просили его не срамить их фамилию.

А у меня в руках была гранка из журнала «Развлечение» с подписью: А. Пазухин.

Газетный писатель-романист и автор многих сценок и очерков А. М. Пазухин поспорил с издателем «Развлечения», что он сведет рощу. Он добыл фотографию Хомякова и через общего знакомого послал гранку, на которой была карикатура: осел, с лицом Хомякова, гуляет в роще…

Ранее, до «Щербаков», актерским трактиром был трактир Барсова в доме Бронникова, на углу Большой Дмитровки и Охотного ряда. Там существовал знаменитый Колонный зал, в нем-то собирались вышеупомянутые актеры и писатели, впоследствии перешедшие в «Щербаки», так как трактир Барсова закрылся, а его помещение было занято Артистическим кружком, и актеры, день проводившие в «Щербаках», вечером бывали в Кружке.

Когда закрылись «Щербаки», актеры начали собираться в ресторане «Ливорно», в тогдашнем Газетном переулке, как раз наискосок «Щербаков».

С двенадцати до четырех дня великим постом «Ливорно» было полно народа. Облако табачного дыма стояло в низеньких зальцах и гомон невообразимый. Небольшая швейцарская была увешана шубами, пальто, накидками самых фантастических цветов и фасонов. В ресторане за каждым столом, сплошь уставленным графинами и бутылками, сидят тесные кружки бритых актеров, пестро и оригинально одетых: пиджаки и брюки водевильных простаков, ужасные жабо, галстуки, жилеты — то белые, то пестрые, то бархатные, а то из парчи. На всех этих жилетах в первой половине поста блещут цепи с массой брелоков. На столах сверкают новенькие серебряные портсигары. Владельцы часов и портсигаров каждому новому лицу в сотый раз рассказывают о тех овациях, при которых публика поднесла им эти вещи.

Первые три недели актеры поблещут подарками, а там начинают линять: портсигары на столе не лежат, часы не вынимаются, а там уже пиджаки плотно застегиваются, потому что и последнее украшение — цепочка с брелоками — уходит вслед за часами в ссудную кассу. А затем туда же следует и гардероб, за который плачены большие деньги, собранные трудовыми грошами.

С переходом в «Ливорно» из солидных «Щербаков» как-то помельчало сборище актеров: многие из корифеев не ходили в этот трактир, а ограничивались посещением по вечерам Кружка или заходили в немецкий ресторанчик Вельде, за Большим театром.

Григоровский, перекочевавший из «Щербаков» к Вельде, так говорил о «Ливорно»:

— Какая-то греческая кухмистерская. Спрашиваю чего-нибудь на закуску к водке, а хозяин предлагает: «Цамая люцая цакуцка — это цудак по-глецески!» Попробовал — мерзость.

Актеры собирались в «Ливорно» до тех пор, пока его не закрыли. Тогда они стали собираться в трактире Рогова в Георгиевском переулке, на Тверской, вместе с охотнорядцами, мясниками и рыбниками.

Вверху в этом доме помещалась библиотека Рассохина и театральное бюро…

Между актерами было, конечно, немало картежников и бильярдных игроков, которые постом заседали в бильярдной ресторана Саврасенкова на Тверском бульваре, где велась крупная игра на интерес.

Здесь бывали и провинциальные знаменитости. Из них особенно славились двое: Михаил Павлович Докучаев — трагик и Егор Егорович Быстрое, тоже прекрасный актер, игравший все роли.

Егор Быстров, игрок-профессионал, кого угодно умел обыграть и надуть: с него и пошел глагол «объегорить»…

«Яма»

…С Тверской мы прошли через Иверские ворота и свернули в глубокую арку старинного дома, где прежде помещалось губернское правление.

— Ну вот, здесь я и живу, зайдем.

Перешли двор, окруженный кольцом таких же старинных зданий, вошли еще в арку, в которой оказалась лестница, ведущая во второй этаж. Темный коридор, и из него в углублении дверь направо.

— Вот и пришли!

Скрипнула тяжелая дверь, и за ней открылся мрак.

— Тут немного вниз… Дайте руку…

Я спустился в эту темноту, держась за руку моего знакомого. Ничего не видя кругом, сделал несколько шагов. Щелкнул выключатель, и яркий свет электрической лампы бросил тень на ребра сводов. Желтые полосы заиграли на переплетах книг и на картинах над письменным столом.

Я очутился в большой длинной комнате с нависшими толстенными сводами, с глубокой амбразурой маленького, темного, с решеткой окна, черное пятно которого зияло на освещенной стене. И представилось мне, что у окна, за столом сидит летописец и пишет…

Еще одно, последнее сказанье — И летопись окончена моя…-

мелькнуло в памяти… Я стоял и молчал.

— Нет, это положительно келья Пимена! Лучшей декорации нельзя себе представить… — сказал я.

— Не знаю, была ли здесь келья Пимена, а что именно здесь, в этой комнате, была «яма», куда должников сажали, — это факт…

— Так вот она, та самая «яма», которая упоминается и у Достоевского, и у Островского.

Ужасная тюрьма для заключенных не за преступления, а просто за долги.

Здесь сидели жертвы несчастного случая, неумения вести дело торговое, иногда — разгула.

«Яма» — это венец купеческой мстительной жадности. Она существовала до революции, которая начисто смела этот пережиток жестоких времен.

По древним французским и германским законам должник должен был отрабатывать долг кредитору или подвергался аресту в оковах, пока не заплатит долга, а кредитор обязывался должника «кормить и не увечить».

На Руси в те времена полагался «правеж и выдача должника истцу головою до искупа».

Со времен Петра I для должников учредились долговые отделения, а до той поры должники сидели в тюрьмах вместе с уголовными.

Потом долговое отделение перевели в «Титы», за Москву-реку, потом в Пресненский полицейский дом, в третий этаж, но хоть и в третьем этаже было, а название все же осталось за ним «яма».

Однажды сидел там старик, бывший миллионер Плотицын. Одновременно там же содержалась какая-то купчиха, пожилая женщина, с такой скорбью в глазах, что положительно было жаль смотреть.

Помню я, что заходил туда по какому-то газетному делу. Когда я спустился обратно по лестнице, то увидел на крыльце пожилую женщину. Она вошла в контору смотрителя и вскоре вернулась.

Я заинтересовался и спросил смотрителя.

— Садиться приходила, да помещения нет, ремонтируется. У нее семеро детишек, и сидеть она будет за мужнины долги.

Оказывается, в «яме» имелось и женское отделение!

В России по отношению к женщинам прекратились телесные наказания много раньше, чем по отношению к мужчинам, а от задержания за долги и женщины не избавились. Старый солдат, много лет прослуживший при «яме», говорил мне: — Жалости подобно! Оно хоть и

по закону, да не по совести! Посадят человека в заключение, отнимут его от семьи, от детей малых, и вместо того, чтобы работать ему, да, может, работой на ноги подняться, годами держат его зря за решеткой. Сидел вот молодой человек — только что женился, а на другой день посадили. А дело-то с подвохом было: усадил его богач-кредитор только для того, чтобы жену отбить. Запутал, запутал должника, а жену при себе содержать стал…

Сидит такой у нас один, и приходит к нему жена и дети, мал мала меньше… Слез-то, слез-то сколько!.. Просят смотрителя отпустить его на праздник, в ногах валяются…

Конечно, бывали случаи, что арестованные удирали на день-два домой, но их ловили и водворяли.

Со стороны кредиторов были разные глумления над своими должниками. Вдруг кредитор перестает вносить кормовые. И тогда должника выпускают. Уйдет счастливый, радостный, поступит на место и только что начнет устраиваться, а жестокий кредитор снова вносит кормовые и получает от суда страшную бумагу, именуемую: «поимочное свидетельство».

И является поверенный кредитора с полицией к только что начинающему оживать должнику и ввергает его снова в «яму».

А то представитель конкурса, узнав об отлучке должника из долгового отделения, разыскивает его дома, врывается, иногда ночью, в семейную обстановку и на глазах жены и детей вместе с полицией сам везет его в долговое отделение. Ловили должников на улицах, в трактирах, в гостях, даже при выходе из церкви!

Но и здесь, как везде: кому счастье, кому горе. Бывали случаи, что коммерческий суд пришлет указ отпустить должника, а через месяц опять отсрочку пришлет — и живет себе человек на воле.

А другой, у которого протекции нет и взятку дать не на что, никаких указов дождаться не может — разве смотритель из человечности сжалится да к семье на денек отпустит.

Это все жертвы самодурства и «порядка вещей» канцелярского свойства, жертвы купцов-дисконтеров.

Ведь большинство попадало в «яму» из-за самодурства богатеев-кредиторов, озлобившихся на должника за то, что он не уплатил, а на себя за то, что в дураках остался и потерял деньги. Или для того, чтобы убрать с дороги мешающего конкурента.

Кредитор злобно подписывал указ и еще вносил кормовые деньги, по пять рублей восемьдесят пять копеек в месяц.

И много таких мстителей было среди богатого московского купечества, чему доказательством служило существование долгового отделения, в котором сидело почти постоянно около тридцати человек.

«Олсуфьевская крепость»

На Тверской, против Брюсовского переулка, в семидесятые и в начале восьмидесятых годов, почти рядом с генерал-губернаторским дворцом, стоял большой дом Олсуфьева — четырехэтажный, с подвальными этажами, где помещались лавки и винный погреб. И лавки и погребок имели два выхода на улицу и во двор — и торговали на два раствора.

Погребок торговал через заднюю дверь всю ночь. Этот оригинальной архитектуры дом был окрашен в те времена в густой темно-серый цвет. Огромные окна бельэтажа, какие-то выступы, а в углублениях высокие чугунные решетчатые лестницы — вход в дом. Подъездов и вестибюлей не было. Посредине дома — глухие железные ворота с калиткой всегда на цепи, у которой день и ночь дежурили огромного роста, здоровенные дворники. Снаружи дом, украшенный вывесками торговых заведений, был в полном порядке. Первый и второй этажи сверкали огромными окнами богато обставленных магазинов. Здесь были модная парикмахерская Орлова, фотография Овчаренко, портной Воздвиженский. Верхние два этажа с незапамятных времен были заняты меблированными комнатами Чернышевой и Калининой, почему и назывались «Чернышами».

В «Чернышах» жили актеры, мелкие служащие, учителя, студенты и пишущая братия.

В 1876 году здесь жил, еще будучи маленьким актером Малого театра, М. В. Лентовский: бедный номеришко, на четвертом этаже, маленькие два окна, почти наравне с полом, выходившие во двор, а имущества всего — одно пальтишко, гитара и пустые бутылки.

В квартире номер сорок пять во дворе жил хранитель дома с незапамятных времен. Это был квартальный Карасев, из бывших городовых, любимец генерал-губернатора князя В. А. Долгорукова, при котором он состоял неотлучным не то вестовым, не то исполнителем разных личных поручений. Полиция боялась Карасева больше, чем самого князя, и потому в дом Олсуфьева, что бы там ни делалось, не совала своего носа.

Владелец дома, отставной штабс-капитан Дм. Л. Олсуфьев, ничего общего с графом Олсуфьевым не имеющий, здесь не жил, а управлял домом бывший дворник, закадычный друг Карасева, который получал и с него и с квартирантов, содержателей торговых заведений, огромные деньги.

Но не этот наружный корпус давал главный доход домовладельцам.

За вечно запертыми воротами был огромнейший двор, внутри которого — ряд зданий самого трущобного вида. Ужас берет, когда посмотришь на сводчатые входы с идущими под землю лестницами, которые вели в подвальные этажи с окнами, забитыми железными решетками.

Посредине двора — огромнейший флигель. Флигеля с боков, и ни одного забора, через который можно перелезть. Словом, один выход — только через охраняемую калитку.

А народу было тысячи полторы.

Недаром дом не имел другого названия, как «Олсуфьевская крепость» — по имени его владельца.

В промозглых надворных постройках — сотни квартир и комнат, занятых всевозможными мастерскими.

Пять дней в неделю тихо во дворе, а в воскресенье и понедельник все пьяно и буйно: стон гармоники, песни, драки, сотни полуголых мальчишек-учеников, детишки плачут, ревут и ругаются ученики, ни за что ни про что избиваемые мастерами, которых и самих так же в ученье били.

И ничего не видно и не слышно с улицы за большим двором, а ворота заперты, только в калитку иногда ныряли квартиранты, которые почище одеты. Остальные вечно томились в крепости.

«Мастеровщики» населяли все это огромное владение, а половина здешней мастеровщины — портные. Половина портных были, бездомные пьяницы и были самыми выгодными, самыми дешевыми и беззащитными работниками.

Пьянство здесь поддерживалось самими хозяевами: оно приковывало к месту. Разутому и раздетому куда идти? Да и дворник в таком виде не выпустит па улицу, и жаловаться некому.

«Раки» было общее название этих людей.

И сидели «раки» годами в своих норах, полураздетые, босые, имея только общие опорки, чтобы на двор выбегать, накинув на истлевшую рубаху какие-нибудь лохмотья. Мечтой каждого был трактир, средством достижения — баня. Покупалась на базаре дешевого ситцу рубаха, нанковые портки, и в канун праздника цербер-дворник выпускал «раков» за железные ворота как раз против Брюсовского переулка, в Стрельцовские бани. Здесь они срывали с себя лохмотья и, выпарившись, уже облеченные во все чистенькое, там же за пятак остригшись, шли в трактир Косоурова рядом с банями, а оттуда, в сопровождении трезвых товарищей, уже ночью исчезали в воротах «крепости».

Мастеровые в будние дни начинали работы в шесть-семь часов утра и кончали в десять вечера. В мастерской портного Воздвиженского работало пятьдесят человек. Женатые жили семьями в квартирах на дворе, а холостые с мальчиками-учениками ночевали в мастерских, спали на верстаках и па полу, без всяких постелей: подушка — полено в головах или свои

штаны, если еще не пропиты.

К шести часам утра кипел ведерный самоварище, заблаговременно поставленный учениками, которые должны были встать раньше всех и уснуть после всех.

У всякого своя кружка, а то просто какая-нибудь банка. Чай хозяйский, а хлеб и сахар свой, и то не у всех. В некоторых мастерских мальчикам чай полагался только два раза в год — на рождество и на пасху, по кружке:

— Чтоб не баловались!

После больших праздников, когда пили и похмелялись неделями, садились за работу почти голыми, сменив в трактире единственную рубашку на тряпку, чтобы только «стыд прикрыть».

Кипяток в семь часов разливали по стаканам без блюдечек, ставили стаканы на каток, а рядом — огромный медный чайник с заваренным для колера цикорием. Кухарка (в мастерских ее звали «хозяйка») подавала по куску пиленого сахара на человека и нарезанный толстыми ломтями черный хлеб. Посуду убирали мальчики. За обедом тоже служили мальчики. И так было во всей Москве — и в больших мастерских, и у «грызиков».

Мастера бросали работу, частью усаживались, как работали, «ноги калачиком», на катке вокруг чашек, а кому не хватало места, располагались стоя вместе с мальчиками и по очереди черпали большими деревянными ложками щи.

Обедали не торопясь. «Хозяйка» несколько раз подливала щи, потом вываливала в чашку нарезанную кусочками говядину, и старший из мастеров стучал ложкой по краю чашки.

Это в переводе на человеческую речь значило: «Таскай со всем».

После этого тихо и степенно каждый брал в ложку по одному кусочку мяса, зная, что если захватит два кусочка, то от старшего по лбу ложкой влетит.

Ели молча, ложку после каждого глотка клали на каток и снова, прожевав мясо и хлеб, черпали вторую.

За кашей, всегда гречневой, с топленым салом, а в постные дни с постным маслом, дело шло веселей: тут уже не зевай, а то ложкой едва возьмешь, она уже по дну чашки стучит.

После обеда мальчики убирают посуду, вытирают каток, а портные садятся тотчас же за работу. Посидев за шитьем час, мастера, которым есть что надеть, идут в трактир пить чай и потом уже вместе с остальными пьют второй, хозяйский чай часов в шесть вечера и через полчаса опять сидят за работой до девяти.

В девять ужин, точнее, повторение обеда.

«Грызиками» назывались владельцы маленьких заведений, в пять-шесть рабочих и нескольких же мальчиков с их даровым трудом. Здесь мальчикам было еще труднее: и воды принеси, и дров наколи, сбегай в лавку — то за хлебом, то за луком на копейку, то за солью, и целый день на посылках, да еще хозяйских ребят нянчи! Вставай раньше всех, ложись после всех.

Выбежать поиграть, завести знакомство с ребятами — минуты нет. В «Олсуфьевке» мальчикам за многолюдностью было все-таки веселее, но убегали ребята и оттуда, а уж от «грызиков» — то и дело. Познакомятся на улице с мальчишками-карманниками, попадут на Хитровку и делаются жертвами трущобы и тюрьмы…

Кроме «мастеровщины», здесь имели квартиры и жили со своими артелями подрядчики строительных работ: плотники, каменщики, маляры, штукатуры, или, как их в Москве звали, «щекатуры». Были десятки белошвейных мастерских, портнишек, вязальщиц, были прачечные. Это самые тихие и чистенькие квартиры, до отказа набитые мастерицами и ученицами, спавшими в мастерских вповалку, ходившими босиком, пока не выйдут из учениц в мастерицы. Их, как и мальчиков, привозили из деревни и отдавали в ученье на четыре-пять лет без жалованья и тем прикрепляли к месту. Отбывшие срок учения делались мастерами и мастерицами и оставались жить у своих хозяев за грошовое жалованье. Некоторые обзаводились семьями.

В «Олсуфьевке» жили поколениями. Все между собой были знакомы, подбирались по

специальностям, по состоянию и поведению. Пьяницы (а их было между «мастеровщиной» едва ли не большинство) в трезвых семейных домах не принимались. Двор всегда гудел ребятишками, пока их не отдадут в мастерские, а о школах и не думали. Маленьких не учили, а подросткам, уже отданным в мастерские, учиться некогда.

Взрослые дочери хозяев и молодые мастерицы, мальчики, вышедшие в мастера, уже получавшие жалованье, играли свадьбы, родня росла, — в «Олсуфьевке» много было родственников.

В большие праздники в семейных квартирах устраивали вечеринки. Но таких скромных развлечений было мало среди общего пьяного разгула. Поголовное пьянство обыкновенно бывало на масленице и на святках. Ходили из квартиры в квартиру ряженые, с традиционной «козой», с барабаном и «медведем» в вывороченном полушубке. Его тащил на цепи дед-вожатый с бородой из льна, и медведь, гремя цепью, показывал, как ребята горох в поле воруют, как хозяин пляшет и как барин водку пьет и пьяный буянит. Конечно, медведю подносили водки, и он уже после второй-третьей вечеринки сваливался и засыпал в сенях, а если буянил, то дворники отправляли его в подвал.

У скромной, семейной работающей молодежи «Олсуфьевской крепости» ничего для сердца, ума и разумного веселья — ни газет, ни книг и даже ни одного музыкального инструмента. Бельэтаж гагаринского дворца, выходившего на улицу, с тремя большими барскими квартирами, являл собой разительную противоположность царившей на дворе крайней бедноте и нужде. Звуки музыки блестящих балов заглушали пьяный разгул заднего двора в праздничные дни.

В семейных квартирках надворных флигелей были для молодежи единственным весельем — танцы. Да и только один танец — кадриль. Да и то без музыки.

В праздничные дни, когда мужское большинство уходило от семей развлекаться по трактирам и пивным, мальчики-ученики играли в огромном дворе, — а дома оставались женщины, молодежь собиралась то в одной квартире, то в другой, пили чай, грызли орехи, дешевые пряники, а то подсолнухи.

Разговоры вертелись только на узких интересах своей специальности или в области сплетен.

Молодежь начинала позевывать. Из отворенного окна бельэтажа гагаринского дворца послышалась музыка.

— Ну чего же вы? Там уже начали!..

С веселыми лицами вскакивают чистенько одетые кавалеры и приглашают принаряженных барышень.

— Позвольте вас пригласить на кадрель!

Мигом отодвигается в угол чайный стол, пожилые маменьки и тетеньки усаживаются вдоль стен, выстраиваются шесть пар, посредине чисто вымытого крашеного пола, танцующие запевают:

Во саду ли в огороде
Девица гуляла…

Все громче, веселее под эту песню проходят первые три фигуры всемирно известного танца. Четвертую и пятую танцуют под:

Шла девица за водой
За холодной ключевой…

У живших в «Олсуфьевке» артелей плотников, каменщиков и маляров особенно гулящими были два праздника: летний — петров день и осенний — покров.

Наем рабочих велся на срок от петрова до покрова, то есть от 29 июня до 1 октября.

В петров день перед квартирами на дворе, а если дождь, то в квартирах, с утра

устанавливаются столы, а на них — четвертные сивухи, селедка, огурцы, колбаса и хлеб.

Первую чару пил хозяин артели, а потом все садились на скамейки, пили, закусывали, торговались и тут же «по пьяному делу» заключали условия с хозяином на словах, и слово было вернее нотариального контракта.

Когда поразопьются — торгуются и кочевряжатся:

— Андрей Максимов, а сколько ты мне положишь в неделю? — пьяным голосом обращается плотник к хозяину.

— Хошь по-старому — живи. А то, ежели что, и не надо, уезжай в деревню, — отвечает красный как рак хозяин.

— А ты надбавь! А то давай расщот!

— Как хошь! Получай сейчас и не отсвечивай! Орут, галдят, торгуются, дерутся всю ночь…

А через день вся артель остается у хозяина.

Это петров день — цена переряда.

У портных, у вязальщиц, у сапожников, у ящичников тоже был свой праздник — «засидки».

Это — 8 сентября.

То же пьянство и здесь, та же ночевка в подвале, куда запирали иногда связанного за буйство. А на другой день — работа до десяти вечера.

После «засидок» — с огнем.

У портных «засидки» продолжались два дня. 9 сентября к семи часам вечера все сидят, ноги калачиком, на верстаках, при зажженной лампе. Еще засветло зажгут и сидят, делая вид, что шьют.

А мальчишка у дверей караулит.

— Идет!

И кто-нибудь из портных убавляет огонь в лампе донельзя.

Входит хозяин.

— Что такое за темнота у вас тутотка?

— Керосин не горит!

— Почему такое вдруг бы ему не гореть?

— Небось сами знаете! Лампы-то ваши…

— Тэ-эк-с! Ну, нате, чтобы горел!

И выкидывает трешницу на четвертную и закуску.

Огонь прибавляют.

Через час четверть выпита: опять огонь убавили. Сидят, молчат. Посылают мальчишку к главному закройщику — и тот же разговор, та же четверть, а на другой день — все на работе.

Сидят, ноги калачиком, а руки с похмелья да от холода ходуном ходят.

Летние каникулы окончились. После «засидок» начиналась зимняя, безрадостная и безвыходная крепостная жизнь в «Олсуфьевке», откуда даже в трактир не выйдешь!

Вдоль по Питерской

Когда я вышел из трамвая, направляясь на вокзал, меня остановил молодой человек.

— Извиняюсь, я первый раз в Москве. Я студент. Меня интересует, почему станция на пустой площади у Садовой называется «Триумфальные ворота», а это — «Тверская застава», хотя передо мною Триумфальные ворота во всем их величии… Потом, что значат эти два маленьких домика с колоннами рядом с ними?

Я объяснил, что это конец Тверской, что ворота сто лет назад были поставлены в память войны двенадцатого года, но что по Садовой были когда-то еще деревянные Триумфальные ворота, но что они уже полтораста лет как сломаны, а название местности сохранилось.

Объяснил я ему, что эти два домика в старину, когда еще железных дорог не было, были заставами и назывались кордегардией, потому что в них стоял военный караул, а между зданиями был шлагбаум, и так далее.

Студент поблагодарил меня, сказал, что он напишет в своей газете, сделает доклад в клубе, что у них все интересуются Москвой, потому что она — первый город в мире.

Его слова заинтересовали меня. За полвека жизни в Москве я тысячу раз проезжал под воротами и на конке, а потом и на трамвае, и мимо них в экипажах, и пешком сновал туда и обратно, думая в это время о чем угодно, только не о них. Даже эта великолепная конская группа и статуя с венком в руках настолько прошла мимо моего внимания, что я не рассмотрел ее — чья это фигура. Я лишь помнил слышанное о ней: говорили, что по всей Москве и есть только два трезвых кучера — один здесь, другой — на фронтоне Большого театра. Только это был не «кучер», а «баба с калачом», по местному определению.

Я поднял глаза и наконец увидал, что это «богиня славы» с венком.

В такой же колеснице стоял на Большом театре другой «кучер» — с лирой в руках — Аполлон. Обе группы были очень однотипны, потому что как ворота, так и Большой театр архитектор Бове строил одновременно, в двадцатых годах прошлого столетия.

В домиках кордегардии при мне уже помещались то городские метельщики, то полицейская стража, то почтенные инвалиды, растиравшие на крыльце, под дорическими колоннами, в корчагах нюхательный табак для любителей-нюхарей.

Потом поместилась в одном из домиков городская амбулатория, а в другом — дежурка для фельдшера и служителей. Кругом домика, с правой стороны ворот, под легкой железной лестницей, приделанной к крыше с незапамятных времен, пребывали «холодные сапожники», приходившие в Москву из Тверской губернии с «железной ногой», на которой чинили обувь скоро, дешево и хорошо. Их всегда с десяток работало тут, а их клиенты стояли у стенки на одной ноге, подняв другую, разутую, в ожидании починки. Вот эту картину я помнил, потому что каждый раз — и проходя, и проезжая — видел ее. И думаю: как это ни один художник не догадался набросать на полотне этот живой уголок Москвы!

Под воротами с 1881 года начала ходить конка.

В прежние времена неслись мимо этих ворот дорогие запряжки прожигателей жизни на скачки и на бега — днем, а по ночам — в загородные рестораны — гуляки на «ечкинских» и «ухарских» тройках, гремящих бубенцами и шуркунцами «голубчиках» на паре с отлетом или на «безживотных» санках лихачей, одетых в безобразные по толщине воланы дорогого сукна, с шелковыми поясами, в угластых бархатных цветных шапках. Кажется, что с падением крепостного права должны были бы забыться и воланы: дворяне и помещики были поставлены «на ноги», лишились и кучеров и запряжек.

Вместе с отменой крепостного права исчезли барские рыдваны с их форейторами-казачками и дылды-гайдуки слезли с запяток.

Московские улицы к этому времени уже покрылись булыжными мостовыми, и по ним запрыгали извозчичьи дрожки на высоких рессорах, названные так потому, что ездоки на них тряслись как в лихорадке.

После крепостного права исчез навсегда с московских улиц экипаж, официально называвшийся «похоронной колесницей», а в просторечии «фортункой».

— Достукаешься, повезут тебя на фортунке, к Иверской затылком.

И двигалась по Тверской из колымажного двора страшная черная, запряженная обязательно вороной без отметин лошадью телега с черным столбом. Под ним на возвышении стояла скамья, а на ней сидел, спиной к лошади, прикованный железной цепью к столбу, в черном халате и такой же бескозырке, осужденный преступник. На груди у него висела черная доска с крупной меловой надписью его преступления: разбойник, убийца, поджигатель и так далее. Везли его из тюрьмы главными улицами через Красную площадь за Москву-реку, на Конную, где еще в шестидесятых годах наказывали преступников на эшафоте плетьми, а если он дворянин, то палач в красной рубахе ломал шпагу над головой, лишая его этим чинов, орденов и звания дворянского.

Фортунку я уже не застал, а вот воланы не перевелись. Вместо прежних крепостников появились новые богатые купеческие «саврасы без узды», которые старались подражать бывшим крепостникам в том, что было им по уму и по силам. Вот и пришлось лихачам опять воланы набивать ватой, только вдвое потолще, так как удар сапога бутылками тяжелее барских заграничных ботинок и козловых сапог от Пироне.

Помню 1881 год. Проходя как-то на репетицию мимо Триумфальных ворот, я увидел огромную толпу. Задрав головы, все галдели.

На коне верхом сидел человек с бутылкой водки. Он орал песни. У ворот кипятился пристав в шикарном мундире с гвардейским, расшитым серебром воротником. Он орал и грозил кулаком вверх.

— Слезай, мерзавец!

А тот его зовет:

— Чего орешь? Влазь сюда водку пить!..

И ничего в памяти у меня больше не осталось яркого от Триумфальных ворот. Разве только, что это слово: «Триумфальные» ворота — я ни от кого не слыхал. Бывало, нанимаешь извозчика:

— К Триумфальным.

— К Трухмальным? К коим? Старым или новым? Я и сам привык к московскому просторечию, и невольно срывалось:

— К Трухмальным!

А покойный артист Михаил Провыч Садовский, москвич из поколения в поколение, чем весьма гордился, любя подражать московскому говору, иначе и не говорил:

— Старые Трухмальные. Аглицкий клуб.

В Палашевском переулке, рядом с банями, в восьмидесятых годах была крошечная овощная лавочка, где много лет торговал народный поэт И. А. Разоренов, автор народных песен. Ему принадлежит, между прочим, песня «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Его другом был Суриков. У него бывали многие московские поэты. К нему из Петербурга приезжали А. Н. Плещеев, С. В. Круглов. Я жил некоторое время в номерах «Англия» и бывал у него ежедневно. Получил от него в подарок книжку «Продолжение «Евгения Онегина», написанную недурным стихом. Это был старик огромного роста, богатырского сложения, читал наизусть чуть не всего Пушкина, а «Евгения Онегина» знал всего и любил цитировать. У него был друг, выше него ростом, седой, с серебряным курчавым чубом, а сила у него была непомерная. Его имя было Ермолай, но звали его с юности за удаль Ермаком. В то время все пространство между Садовой и Тверской заставой считалось еще Ямской слободой. Предки Ермака были искони ямщики, и дом их сгорел в тот же день, когда Наполеон бежал из Москвы через Тверскую заставу. Ермак помнил этот дом хорошо, и когда по моей просьбе он рассказывал о прошлом, то Разоренов тотчас же приводил из «Онегина», как Наполеон скрылся в Петровский замок и

Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он…

А Ермак время от времени затягивал свою любимую песню:

Как по Питерской, по Тверской-Ямской…

Вот из этих-то рассказов-воспоминаний друга я нарисовал себе прошлое Тверской заставы.

Движение было большое, особенно было оно в начале зимы, по снегу, когда помещики приезжали проводить зиму в Москве. За дормезами и возками цугом тащились целые обозы богатых помещиков, а небогатые тоже тянулись за ними.

— Помнишь? Как Ларина… — и начнет старик цитировать поездку Лариной в Москву,

как приготовлялся

Забвенью брошенный возок, как в обозе укладывались домашние пожитки — и как

…Варенье в банках, тюфяки,
Перины, клетки с петухами…
…Ведут во двор осьмнадцать кляч.

И вижу я, слушая эти рассказы, вереницы ожидающих очереди через шлагбаум, как наконец тому или другому проезжающему, по чинам и званиям, давался пропуск, и с крыльца кордегардии унтер командовал инвалиду шлагбаума:

— Подвысь!..

Инвалид гремел цепью шлагбаума. Пестрое бревно «подвешивалось» и снова за пропущенным опускалось до нового:

— Подвысь!..

Но вот заливается по Питерской дороге курьерский колокольчик — все приходит в движение. Освобождают правую часть дороги, и бешено несется курьерская или фельдъегерская тройка. Инвалид не ждет команды «подвысь!», а, подняв бревно, вытягивается во фрунт. Он знает, что это или фельдъегерь, или курьер, или государственного преступника везут…

Все остальные обязаны были подвязывать колокольчик, не доезжая до Москвы.

Особенно много троек летело из Питера в Сибирь.

Вот Ермак ездил специально на курьерских тройках. Много он съел и кнутов и розог от курьеров, а все при разговоре мурлыкал:

Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах…

Увлекается, описывая Тверскую, Разоренов, а Ермак продолжает свою песню:

Вот мчится тройка удалая
В Казань дорогой столбовой…
И колокольчик, дар Валдая,
Гудит уныло под дугой…

И долго-долго, до тех пор, пока не выстроили Николаевскую железную дорогу, он лихо правил курьерскими тройками, а потом по Садовой и по Владимирке до первой станции, ближе к разбойничьим Гуслицам.

По Тверской-Ямской
С колокольчиком…

Так было до первой половины прошлого века, до Николаевской железной дороги. Николай I положил на карту линейку и провел карандашом прямую черту от Москвы до Питера.

— Чтобы не сбиться с линии — повешу!

И была выстроена прямая дорога. И первые поехали по ней арестанты. Из дворян и купечества многие боялись.

— Нечистая сила колеса крутит…

— Дьявол везет!

— Из одной ноздри пар, из другой огонь и дым валит. Первое время еще возили по Питерскому тракту ссылаемых в Сибирь, а потом все стали ездить по железной дороге, и товары пошли в вагонах. Закрылось здание кордегардии. Не кричали больше «подвысь!».

Инвалиды мирно терли в корчагах махорку.

Вспоминал Разоренов, как Ямская слобода стала городом, потом, как заставу отменили и как дорогой, еще до самой воли, сквозь эти ворота возили возы березовых розог для порки крепостных — и не одних крепостных, а всего «подлого сословия люда». Пороли до отмены крепостного права и телесного наказания, а затем и розги перестали возить. Порки производили каждую субботу, кроме страстной и масленой.

Цари въезжали через эти Триумфальные ворота короноваться.

В 1896 году в честь коронации Николая II был большой народный праздник на Ходынском поле, где в 1882 году была знаменитая Всероссийская художественно-промышленная выставка. Но это уже было за пределами тогдашней Москвы. Мимо Триумфальных ворот везли возами трупы погибших на Ходынке.

— На беду это. Не будет проку от этого царствования.

Так сказал старый наборщик «Русских ведомостей», набиравший мою статью о ходынской катастрофе.

Никто не ответил на его слова. Все испуганно замолчали и перешли на другой разговор.

На моих глазах

С подъезда вокзала я сел в открытый автомобиль. И первое, что я увидел, это громаду Триумфальных ворот.

На них так же четверня коней и в колеснице та же статуя славы с высоко поднятым венком… Вспоминаю… Но мы уже мчимся по шумной Тверской, среди грохота и гула…

Прекрасная мостовая блестит после мимолетного дождя под ярким сентябрьским солнышком. Тротуары полны стремительного народа.

Все торопятся — кто на работу, на службу, кто с работы, со службы, по делам, но прежних пресыщенных гуляющих, добывающих аппетит, не вижу… Вспоминается: «Теперь брюхо бегает за хлебом, а не хлеб за брюхом».

Мы мчимся в потоке звенящих и гудящих трамваев, среди грохота телег и унылых, доживающих свои дни извозчиков… У большинства на лошадях и шлеи нет — хомут да вожжи.

Перегоняем все движение, перегоняем громоздкие автобусы и ловкие такси.

Вдруг у самой Садовой останавливаемся. Останавливается вся улица. Шум движения замер. Пешая публика переходит, торопясь, поперек Тверскую, снуя между экипажами…

А на возвышении как раз перед нами стоит щеголеватый, в серой каске безмолвный милиционер с поднятой рукой.

Но вот пускает этот живой семафор в белой перчатке, и все ринулось вперед, все загудело, зазвенело. Загрохотала Москва…

Мы свернули на Садовую. На трехминутной остановке я немного, хотя еще не совсем, пришел в себя. Ведь я четыре месяца прожил в великолепной тишине глухого леса — и вдруг в кипучем котле.

Мы свернули налево, на Садовую.

Садовая. Сколько тысяч раз за эти полвека я переехал ее поперек и вдоль! Изъездил немало.

В памяти мелькают картины прошлого. Здесь мы едем тихо — улица полна грузовиками, которые перебираются между идущими один за другим трамваями слева и жмущимися к тротуару извозчиками. Приходится выжидать и ловить момент, чтобы перегнать.

Первое, что перенесло меня в далекое прошлое, — это знакомый двухэтажный дом, который напомнил мне 1876 год. Но где же палисадник перед ним?

Новые картины сменяются ежеминутно. Мысли и воспоминания не успевают за ними. И вот теперь, когда я пишу, у меня есть время подробно разобраться и до мелочей воскресить прошлое.

В апреле 1876 года я встретил моего товарища по сцене — певца Петрушу Молодцова (пел Торопку в Большом театре, а потом служил со мной в Тамбове). Он затащил меня в гости к своему дяде в этот серый дом с палисадником, в котором бродила коза и играли два гимназистика-приготовишки.

У ворот мы остановились, наблюдали их игру. Они выбросили, прячась в кустах, серебряный гривенник на нитке на тротуар и ждали.

Ждем и мы. Вот идет толстый купец с одной стороны и старуха-нищенка — с другой. Оба увидали серебряную монету, бросились за ней, купец оттолкнул старуху в сторону и наклонился, чтобы схватить добычу, но ребята потянули нитку, и монета скрылась.

Купец поражен.

— Это их любимая игра. Уж и смеху бывает, — объяснил мне, когда мы вошли, его дядя с седой бородой…

Вот этого-то палисадника теперь и не было, а я его видел еще в прошлом году…

Перед заново выкрашенным домом блестел асфальтовый широкий тротуар, и мостовая была гладкая, вместо булыжной.

А еще раньше мне рассказывал дядя Молодцова о том, какова была Садовая в дни его молодости, в сороковых годах.

— …Камнем тогда еще не мостили, а клали поперечные бревна, которые после сильных ливней всплывали, становились торчком и надолго задерживали движение.

…Богатые вельможи, важные дворяне ездили в огромных высоких каретах с откидными лесенками у дверец. Сзади на запятках стояли, держась за ремни, два огромных гайдука, два ливрейных лакея, а на подножках, по одному у каждой дверцы, по казачку. На их обязанности было бегать в подъезды с докладом о приезде, а в грязную погоду помогать гайдукам выносить барина и барыню из кареты на подъезд дома. Карета запрягалась четверней цугом, а у особенно важных особ — шестерней. На левой, передней, лошади сидел форейтор, а впереди скакал верховой, обследовавший дорогу: можно ли проехать? Вдоль всей Садовой, рядом с решетками палисадников, вместо тротуаров шли деревянные мостки, а под ними — канавы для стока воды. Особенно непроездна была Самотечная и Сухаревские Садовые с их крутым уклоном к Неглинке.

Целыми часами мучились ломовики с возами, чтобы вползать на эти горы. Но главный ужас испытывали на Садовой партии арестантов, шедших в Сибирь пешком, по Владимирке, начинавшейся за Рогожской заставой. Арестантские партии шли из московской пересыльной тюрьмы, Бутырской, через Малую Дмитровку по Садовой до Рогожской. По всей Садовой в день прохода партии — иногда в тысячу человек и больше — выставлялись по тротуару цепью солдаты с ружьями. В голове партии, звеня ручными и ножными кандалами, идут каторжане в серых бушлатах с бубновым желтого сукна тузом на спине, в серых суконных бескозырках, из-под которых светится половина обритой головы.

За ними движутся ссыльные в ножных кандалах, прикованные к одному железному пруту: падает один на рытвине улицы и увлекает соседа.

А дальше толпа бродяг, а за ними вереница колымаг, заваленных скудными пожитками, на которых гнездятся женщины и дети; с детьми — и заболевшие арестанты.

Особенно ужасно положение партии во время ливня, когда размывает улицу, и часами стоит партия, пока вправят вымытые бревна.

— Десятки лет мы смотрели эти ужасы, — рассказывал старик Молодцов. — Слушали под звон кандалов песни о несчастной доле, песни о подаянии. А тут дети плачут в колымагах, матери в арестантских халатах заливаются, утешая их, и публика кругом плачет, передавая несчастным булки, калачи… Кто что может…

Такова была Садовая в первой половине прошлого века. Я помню ее в восьмидесятых годах, когда на ней поползла копка после трясучих линеек с крышей от дождя, запряженных парой «одров». В линейке сидело десятка полтора пассажиров, спиной друг к другу. При подъеме на гору кучер останавливал лошадей и кричал:

— Вылазь!

И вылезали, и шли пешком в дождь, по колено в грязи, а поднявшись на гору, опять садились и ехали до новой горы.

Помню я радость москвичей, когда проложили сначала от Тверской до парка рельсы и пустили по ним конку в 1880 году, а потом, года через два, — и по Садовой. Тут уж в гору Самотечную и Сухаревскую уж не кричали: «Вылазь!», а останавливали конку и впрягали к паре лошадей еще двух лошадей впереди их, одна за другой, с мальчуганами-форейторами.

Их звали «фалаторы», они скакали в гору, кричали на лошадей, хлестали их концом повода и хлопали с боков ногами в сапожищах, едва влезавших в стремя. И бывали случаи, что «фалатор» падал с лошади. А то лошадь поскользнется и упадет, а у «фалатора» ноги в огромном сапоге или, зимнее дело, валенке — из стремени не вытащишь. Никто их не учил ездить, а прямо из деревни сажали на коня — езжай! А у лошадей были нередко разбиты ноги от скачки в гору по булыгам мостовой, и всегда измученные и недокормленные.

«Фалаторы» в Москве, как калмыки в астраханских или задонских степях, вели жизнь, одинаковую с лошадьми, и пути их были одинаковые: с рассветом выезжали верхами с конного двора. В левой руке — повод, а правая откинута назад: надо придерживать неуклюжий огромный валек на толстых веревочных постромках. Им прицепляется лошадь к дышлу вагона… Пришли на площадь — и сразу за работу: скачки в гору, а потом, к полуночи, спать на конный двор. Ночевали многие из них в конюшне. Поили лошадей на площади, у фонтана, и сами пили из того же ведра. Много пилось воды в летнюю жару, когда пыль клубилась тучами по никогда не метенным улицам и площадям. Зимой мерзли на стоянках и вместе согревались в скачке на гору.

В осенние дожди, перемешанные с заморозками, их положение становилось хуже лошадиного. Бушлаты из толстого колючего сукна промокали насквозь и, замерзнув, становились лубками; полы, вместо того чтобы покрывать мерзнущие больше всего при верховой езде колени, торчали, как фанера…

На стоянках лошади хрустели сеном, а они питались всухомятку, чем попало, в лучшем случае у обжорных баб, сидящих для тепла кушаний на корчагах; покупали тушенку, бульонку, а иногда серую лапшу на наваре из осердия, которое продавалось отдельно: на копейку — легкого, на две — сердца, а на три — печенки кусок баба отрежет.

Мечта каждого «фалатора» — дослужиться до кучера. Под дождем, в зимний холод и вьюгу с завистью смотрели то на дремлющих под крышей вагона кучеров, то вкусно нюхающих табак, чтобы не уснуть совсем: вагон качает, лошади трух-трух, улицы пусты, задавить некого…

Был такой с основания конки начальник станции у Страстной площади, Михаил Львович, записной нюхарь. У него всегда большой запас табаку, причем приятель-заводчик из Ярославля ящиками в подарок присылал. При остановке к нему кучера бегут: кто с берестяной табакеркой, кто с жестянкой из-под ваксы.

— Сыпани, Михаил Львович! И никому отказа не было.

Михаил Львович еще во время революции продолжал служить на Рогожской станции. Умер он от тифа.

Вот о кучерской жизни и мечтали «фалаторы», но редко кому удавалось достигнуть этого счастья. Многие получали увечье — их правление дороги отсылало в деревню без всякой пенсии. Если доходило до суда, то суд решал: «По собственной неосторожности». Многие простужались и умирали в больницах.

А пока с шести утра до двенадцати ночи форейторы не сменялись — проскачут в гору, спустятся вниз и сидят верхом в ожидании вагона.

Художник Сергей Семенович Ворошилов, этот лучший мастер после Сверчкова, выставил на одной из выставок двух дремлющих на клячах форейторов. Картину эту перепечатали из русских журналов даже иностранные. Подпись под нею была:

Их моют дожди,
Посыпает их пыль…

Вагоны были двухэтажные, нижний и верхний на крыше первого. Он назывался «империал», а пассажиры его — «трехкопеечными империалистами». Внизу пассажиры платили пятак за станцию. На империал вела узкая винтовая лестница. Женщин туда не пускали. Возбуждался в думской комиссии вопрос о допущении женщин на империал. Один из либералов даже доказывал, что это лишение прав женщины. Решать постановили голосованием. Один из членов комиссии, отстаивавший запрещения, украинец, в то время когда было предложено голосовать, сказал:

— Та они же без штанцив!

И вопрос при общем хохоте не баллотировался.

* * *

Мы мчались, а я все гляжу: «Да где же палисадники?»

На месте Угольной площади, на углу Малой Дмитровки, где торговали с возов овощами, дровами и самоварным углем, делавшим покупателей «арапами», — чуд ный сквер с ажурной решеткой.

Рядом с ним всегда грязный двор, дом посреди площади заново выкрашен. Здесь когда-то был трактир «Волна» — притон шулеров, аферистов и «деловых ребят».

В 1905 году он был занят революционерами, обстреливавшими отсюда сперва полицию и жандармов, а потом войска. Долго не могли взять его. Наконец, поздно ночью подошел большой отряд с пушкой. Предполагалось громить дом гранатами. В трактире ярко горели огни. Войска окружили дом, приготовились стрелять, но парадная дверь оказалась незаперта. Разбив из винтовки несколько стекол, решили штурмовать. Нашелся один смельчак, который вошел и через минуту вернулся.

— Там никого…

Трактир был пуст. Революционеры первые узнали, что в полночь будут штурмовать, и заблаговременно ушли.

Вспомнился еще случай. В нижнем этаже десятки лет помещался гробовщик. Его имя связано с шайкой «червонных валетов», нашумевших на всю Москву.

Я не помню ни фамилии гробовщика, ни того «червонного валета», для которого он доставил роскошный гроб, саван и покров. Покойник лежал в своей квартире, в одном из переулков на Тверской. Духовенство его отпело и пошло провожать на Ваганьково. Впереди певчие в кафтанах, сзади две кареты и несколько молодых людей сопровождают катафалк.

Дошли по правому шоссе до шикарного ресторана «Яр», против которого через шоссе поворот к кладбищу.

Остановились. Молодые люди сняли гроб и вместо кладбища, к великому удивлению гуляющей публики, внесли в подъезд «Яра» и, никем не остановленные, прошли в самый большой кабинет, занятый молодыми людьми. Вставшего из гроба, сняв саван, под которым был модный сюртук, встретили бокалами шампанского.

Полиция возбудила дело, а гроб, покров и саван гробовщик за бесценок купил, и на другой день в этом гробу хоронили какого-то купца.

Началось другое дело. Обиженные в завещании родственники решили привлечь к суду главных наследников, которых в прошении просили привлечь за оскорбление памяти покойного, похоронив его в «подержанном» гробу.

И долго дразнили гробовщика, забегая к нему в лавку и спрашивая:

— Нет ли у вас подержанного гроба? Есть подержанный саван?

Потом, с годами, все это забылось и вспоминалось мне, когда я уже миновал Каретный ряд и въехал на Самотечную-Садовую.

Мы мчались вниз. Где же палисадники? А ведь они были год назад. Были они щегольские, с клумбами дорогих цветов, с дорожками. В такие имели доступ только богатые, занимавшие самую дорогую квартиру. Но таких садиков было мало. Большинство этих

загороженных четырехугольников, ни к чему съедавших пол-улицы, представляло собой пустыри, поросшие бурьяном и чертополохом. Они всегда были пустые. Калитки на запоре, чтобы воры не забрались в нижний этаж. Почти во всех росли большие деревья, посаженные в давние времена по распоряжению начальства. Вот эти-то деревья и пригодились теперь. Они образуют широкие аллеи для пешеходов, залитые асфальтом. Эти аллеи-тротуары под куполом зеленых деревьев — красота и роскошь, какой я еще не видал в Москве.

Спускаемся на Самотеку. После блеска новизны чувствуется старая Москва. На тротуарах и на площади толпится народ, идут с Сухаревки или стремятся туда. Несут разное старое хоботье: кто носильное тряпье, кто самовар, кто лампу или когда-то дорогую вазу с отбитой ручкой. Вот мешок тащит оборванец, и сквозь дыру просвечивает какое-то синее мясо. Хлюпают по грязи в мокрой одежде, еще не просохшей от дождя. Обоняется прелый запах трущобы.

Свернули направо. Мчимся по Цветному бульвару, перегнали два трамвая. Бульвар еще свеж, деревья зеленые, с золотыми бликами осени.

Я помню его, когда еще пустыри окружали только что выстроенный цирк. Здесь когда-то по ночам «всякое бывало». А днем ребята пускали бумажные змеи и непременно с трещотками. При воспоминании мне чудится звук трещотки. Невольно вскидываю глаза в поисках змея с трещоткой. А надо мной выплывают один за другим три аэроплана и скрываются за Домом крестьянина на Трубной площади.

* * *

Асфальтовые Петровские линии. Такая же, только что вымытая Петровка. Еще против одного из домов дворник поливает из брандспойта улицы, а два других гонят воду в решетку водосточного колодца.

Огибаем Большой театр и Свердловский сквер по проезду Театральной площади, едем на широкую, прямо-таки языком вылизанную Охотнорядскую площадь. Несутся автомобили, трамваи, катятся толстые автобусы.

Где же Охотный ряд?

Столешники, 1934 г.

Стихотворения

* * *

Все-то мне грезится Волга широкая,
Грозно-спокойная, грозно-бурливая.
Грезится мне та сторонка далекая,
Где протекла моя юность счастливая.
Помнятся мне на утесе обрывистом
Дубы высокие, дубы старинные,
Стонут они, когда ветром порывистым
Гнутся, ломаются ветви их длинные.
Воет погодушка, роща колышется,
Стонут сильнее все дубы громадные, —
Горе тяжелое в стоне том слышится,
Слышится грусть да тоска безотрадная…
Что же вы плачете, дубы старинные?
Или свидетели вы преступления,
Кровь пролита ли под вами невинная,

И до сих пор вас тревожат видения.
Или, быть может, в то времечко давнее,
В стругах, когда еще с Дона далекого,
Разина Стеньки товарищи славные
Волгой владели до моря широкого, —
Ими убиты богатые данники,
Гости заморские, с золотом грабленным;
Или, быть может, и сами изгнанники,
Здесь, с атаманом, молвою прославленным,
С удалью буйные головы сложили,
С громкой, кровавой, разбойничьей славою?!
Все то вы видели, все то вы прожили, —
Видели рабство и волю кровавую!

Переселенцы

Из стран полуденной России,
Как бурный вешних вод поток,
Толпы крестьян полунагие
На Дальний тянутся Восток.
Авось в том крае малолюдном,
Где спит природа непробудно,
Прекрасна в дикости своей,
Земли и хлеба будет вволю.
И, доброй взысканы судьбой,
Мы переменим горе-долю
На счастье, радость и покой.
Продавши скот, дома в селенье,
Бесплодный клок родной земли
Облив слезами сожаленья,
Они за счастием брели.
Но далека еще дорога,
И плач некормленых детей
Еще тревожить будет долго
Покой и тишь немых степей.

Красный петух

У нас на Руси, на великой,
(То истина, братцы, — не слух)
Есть чудная, страшная птица,
По имени «красный петух»…
Летает она постоянно
По селам, деревням, лесам,
И только лишь где побывает, —
Рыдания слышатся там.
Там все превратится в пустыню:
Избушки глухих деревень,
Богатые, стройные села
И леса столетнего сень.

«Петух» пролетает повсюду,
Невидимый глазом простым,
И чуть где опустится низко —
Появятся пламя и дым…
Свое совершает он дело,
Нигде, ничего не щадит, —
И в лес, и в деревню, и в город,
И в села, и в церкви летит…
Господним его попущеньем
С испугом, крестяся, зовет,
Страдая от вечного горя,
Беспомощный бедный народ…
Стояла деревня глухая,
Домов — так, десяточка два,
В ней печи соломой топили
(Там дороги были дрова),
Соломою крыши покрыты,
Солому — коровы едят,
И в избу зайдешь — из-под лавок
Соломы же клочья глядят…
Работы уж были в разгаре,
Большие — ушли на страду,
Лишь старый да малый в деревне
Остались готовить еду.
Стрекнул уголек вдруг из печи,
Случайно в солому попал,
Еще полминуты, и быстро
Огонь по домам запылал…
Горела солома на крышах,
За домом пылал каждый дом,
И дым только вскоре клубился
Над быстро сгоревшим селом…
На вешнего как-то Николу,
В Заволжье, селе над рекой,
Сгорело домов до полсотни, —
И случай-то очень простой:
Подвыпивши праздником лихо,
Пошли в сеновал мужики
И с трубками вольно сидели,
От всякой беды далеки.
Сидели, потом задремали,
И трубки упали у них;
Огонь еще в трубках курился…
И вспыхнуло сено все в миг…
Проснулись, гасить попытались,
Но поздно, огонь не потух…
И снова летал над Заволжьем
Прожорливый «красный петух»…
Любил девку парень удалый,
И сам был взаимно любим.
Родители только решили:
— Не быть нашей дочке за ним!

И выдали дочь за соседа, —
Жених был и стар, и богат,
Три дня пировали на свадьбе,
Отец был и счастлив, и рад…
Ходил только парень угрюмо,
Да дума была на челе: «Постой!
Я устрою им праздник,
Вовек не забудут в селе!..»
Стояла уж поздняя осень,
Да ночь, и темна, и глуха,
И музыка шумно гудела
В богатой избе жениха…
Но вот разошлись уже гости,
Давно потушили огни.
— «Пора! — порешил разудалый, —
Пусть свадьбу попомнят они!»…
И к утру, где было селенье,
Где шумная свадьба была,
Дымились горелые бревна,
Да ветром носилась зола…
В глуши непроглядного леса,
Меж сосен, дубов вековых,
Сидели раз вечером трое
Безвестных бродяг удалых…
Уж солнце давно закатилось,
И в небе блестела луна,
Но в глубь вековечного леса
Свой свет не роняла она…
— «Разложим костер да уснем-ка», —
Один из бродяг говорил.
И вмиг закипела работа,
Темь леса огонь озарил,
Заснули беспечные крепко,
Надеясь, что их не найдут.
Солдаты и стража далеко, —
В глубь леса они не придут!..
На листьях иссохших и хвоях,
Покрывших и землю, и пни,
Под говор деревьев и ветра
Заснули спокойно они…
Тот год было знойное лето,
Засохла дубрава и луг…
Вот тут-то тихонько спустился
Незваный гость — страшный «петух»
По листьям и хвоям сухим он
Гадюкой пополз через лес,
И пламя за ним побежало,
И дым поднялся до небес…
Деревья, животные, птицы —
Все гибло в ужасном огне.
Преград никаких не встречалось
Губительной этой волне.

Все лето дубрава пылала,
Дым черный страну застилал,
Возможности не было даже
Прервать этот огненный вал…
Года протекли — вместо леса
Чернеют там угли одни,
Да жидкая травка скрывает
Горелые, бурые пни…

Песня дона

Дон могучий, Дон широкий
Томно-синею водой
По степи бежит далекой,
Блещет яркою струей.
И, журча, катятся воды,
И валы о берег бьют,
И о днях былой свободы
Песни смелые поют.
Все поют! О буйной воле,
О наездах казаков,
О пирах, о тяжкой доле,
О бряцании оков…
Все поют! И песню эту
Кто душой своей поймет,
Пусть несет ее по свету,
Пусть, как Дон, ее поет!

На севере

В стране бурана и метели,
Где слышен только бури вой,
Где сосны старые да ели
Ведут беседу меж собой, —
Там человек бывает редко,
Его пустыни не влекут.
Лишь самоед, охотник меткий
Стрелой каленой, да якут,
Туда являясь для охоты,
Летят по снежным глубинам,
Чрез занесенные болота,
К пустынным моря берегам…
Там рыщет лось, да волк голодный
Себе добычу сторожит.
Да иногда лишь край холодный
Несчастных песня огласит.
Но что печальнее, она ли,
Или волков голодных вой,
Что долетал из снежной дали
До слуха тех певцов порой,

Решить нельзя… А песня льется,
Родной в ней слышится мотив…
Она про родину поется,
Про золото родимых нив,
Родных, оставленных далеко,
Навек покинутых друзей…
Звучит та песня одиноко
Под звон заржавленных цепей!

Стенька Разин

I

Гудит Москва. Народ толпами
К заставе хлынул, как волна,
Вооруженными стрельцами
Вся улица запружена.
А за заставой зеленеют
Цветами яркими луга,
Колеблясь, волны ржи желтеют,
Реки чернеют берега…
Дорога серой полосою
Играет змейкой между нив,
Окружена живой толпою
Высоких придорожных ив.
А по дороге пыль клубится
И что-то движется вдали:
Казак припал к коню и мчится,
Конь чуть касается земли.
— Везем, встречайте честью гостя.
Готовьте два столба ему,
Земли немного на погосте,
Да попросторнее тюрьму.
Везем!
И вот уж у заставы
Красивых всадников отряд,
Они в пыли, их пики ржавы,
Пищали за спиной висят. Везут телегу.
Палачами Окружена телега та,
На ней прикованы цепями
Сидят два молодца. Уста
У них сомкнуты, грустны лица,
В глазах то злоба, то туман…
Не так к тебе, Москва-столица,
Мечтал приехать атаман
Низовой вольницы! Со славой,
С победой думал он войти,
Не к плахе грозной и кровавой
Мечтал он голову нести!
Не зная неудач и страха,
Не охладивши сердца жар,
Мечтал он сам вести на плаху

Дьяков московских и бояр.
Мечтал, а сделалось другое,
Как вора, Разина везут,
И перед ним встает былое,
Картины прошлого бегут:
Вот берега родного Дона…
Отец замученный… Жена…
Вот Русь, народ… Мольбы и стона
Полна несчастная страна…
Монах угрюмый и высокий,
Блестит его орлиный взор…
Вот Волги-матушки широкой
И моря Каспия простор…
Его ватага удалая —
Поволжья бурная гроза…
И персиянка молодая,
Она пред ним… Ее глаза
Полны слезой, полны любовью,
Полны восторженной мечты…
Вот руки, облитые кровью, —
И нет на свете красоты!
А там все виселицы, битвы,
Пожаров беспощадных чад,
Убийства в поле, у молитвы,
В бою… Вон висельников ряд
На Волге, на степных курганах,
В покрытых пеплом городах,
В расшитых золотом кафтанах,
В цветных боярских сапогах…
Под Астраханью бой жестокий…
Враг убежал, разбитый в прах…
А вот он ночью, одинокий,
В тюрьме, закованный в цепях…
И надо всем Степан смеется,
И казнь, и пытки — ничего.
Одним лишь больно сердце бьется:
Свои же выдали его.

II

Утро ясно встает над Москвою,
Солнце ярко кресты золотит,
А народ еще с ночи толпою
К Красной площади, к казни спешит.
Чу, везут! Взволновалась столица,
Вся толпа колыхнула волной,
Зачернелась над ней колесница
С перекладиной, с цепью стальной…
Атаман и разбойник мятежный
Гордо встал у столба впереди.
Он в рубахе одет белоснежной,

Крест горит на широкой груди.
Рядом с ним и устал, и взволнован,
Не высок, но плечист и сутул,
На цепи на железной прикован,
Фрол идет, удалой эсаул;
Брат любимый, рука атамана,
Всей душой он был предан ему
И, узнав, что забрали Степана,
Сам охотно явился в тюрьму.
А на черном, высоком помосте
Дьяк, с дрожащей бумагой в руках,
Ожидает желанного гостя,
На лице его злоба и страх,
И дождался. На помост высокий
Разин с Фролкой спокойно идет,
Мирно колокол где-то далекий
Православных молиться зовет;
Тихо дальние тянутся звуки,
А народ недвижимый стоит:
Кровожадный, ждет Разина муки —
Час молитвы для казни забыт…
Подошли. Расковали Степана,
Он кого-то глазами искал…
Перед взором бойца-атамана,
Словно лист, весь народ задрожал.
Дьяк указ «про несказанны вины»
Прочитал, взял бумагу в карман,
И к Степану с секирою длинной
Кат пришел… Не дрогнул атаман;
А палач и жесток и ужасен,
Ноздри вырваны, нет и ушей,
Глаз один весь кровавый был красен, —
По сложенью медведя сильней.
Взял он за руку грозного ката
И, промолвив, поник головой: —
Перед смертью прими ты за брата,
Поменяйся крестом ты со мной.
На глазу палача одиноком
Бриллиантик слезы заблистал, —
Человек тот о прошлом далеком,
Может быть, в этот миг вспоминал…
Жил и он ведь, как добрые люди,
Не была его домом тюрьма,
А потом уж коснулося груди,
Раскалённое жало клейма,
А потом ему уши рубили,
Рвали ноздри, ременным кнутом
Чуть до смерти его не забили
И заставили быть палачом.
Омочив свои щеки слезами,
Подал крест атаман ему свой —
И враги поменялись крестами…

— Братья! шепот стоял над толпой…
Обнялися ужасные братья,
Да, такой не бывало родни,
А какие то были объятья —
Задушили б медведя они!
На восток горячо помолился
Атаман, полный воли и сил,
И народу кругом поклонился:
— Православные, в чем согрубил,
Все простите, виновен не мало,
Кат за дело Степана казнит,
Виноват я… В ответ прозвучало:
— Мы прощаем и бог тя простит!..
Поклонился и к крашеной плахе
Подошел своей смелой стопой,
Расстегнул белый ворот рубахи, Лег…
Накрыли Степана доской.
— Что ж, руби! Злобно дьяк обратился,
Али дело забыл свое кат?
— Не могу бить родных — не рядился,
Мне Степан по кресту теперь брат,
Не могу! И секира упала,
По помосту гремя и стуча.
Тут народ подивился немало…
Дьяк другого позвал палача.
Новый кат топором размахнулся,
И рука откатилася прочь.
Дрогнул помост, народ ужаснулся…
Хоть бы стон! Лишь глаза, словно ночь,
Черным блеском кого-то искали
Близ помоста и сзади вдали…
Яркой радостью вдруг засверкали,
Знать, желанные очи нашли!
Но не вынес той казни Степана,
Этих мук, эсаул его Фрол,
Как упала рука атамана,
Закричал он, испуган и зол…
Вдруг глаза непрогляднее мрака
Посмотрели на Фролку. Он стих.
Крикнул Стенька:
— Молчи ты, собака!
И нога отлетела в тот миг.
Все секира быстрее блистает,
Нет ноги и другой нет руки,
Голова по помосту мелькает,
Тело Разина рубят в куски.
Изрубили за ним эсаула,
На кол головы их отнесли,
А в толпе среди шума и гула
Слышно — женщина плачет вдали.
Вот ее-то своими глазами
Атаман меж народа искал,

Поцелуй огневыми очами
Перед смертью он ей посылал.
Оттого умирал он счастливый,
Что напомнил ему ее взор,
Дон далекий, родимые нивы,
Волги-матушки вольный простор,
Все походы его боевые,
Где он сам никого не щадил,
Оставлял города огневые,
Воевод ненавистных казнил…

Поэт-бродяга

Не вам понять любовь поэта,
Любовь бродяги-удальца,
Ей мало ласки и привета,
Ей тесен круг большого света,
Ей нет ни меры, ни конца.
Воспитан он в лесах дремучих,
Поэтом стал в глуши степей,
В горах высоких, в грозных тучах
Порывы добыл чувств могучих
И занял волю у морей.

*** * ***

Я — эоловой арфы струна,
Я — событий предвестник и эхо,
Плачу я, когда плачет страна,
Повторяю я отзвуки смеха.
Слышу шепот нейдущей толпы,
Взрыв вулкана грядущего чую…
По стремнинам вершин без тропы
С облаками в тумане кочую…

Владимирка — большая дорога
(Посвящаю И. И. Левитану)

Меж чернеющих под паром
Плугом поднятых полей
Лентой тянется дорога
Изумруда зеленей…
То Владимирка…
Когда-то
Оглашал ее и стон
Бесконечного страданья
И цепей железных звон.
По бокам ее тянулись
Стройно линии берез,

А трава, что зеленеет,
Рождена потоком слез…
Незабудки голубые —
Это слезы матерей,
В лютом горе провожавших
В даль безвестную детей…
Вот фиалки… Здесь невеста,
Разбивая чары грез,
Попрощавшись с другом милым,
Пролила потоки слез…
Все цветы, где прежде слезы
Прибивали пыль порой,
Где гремели колымаги
По дороге столбовой.
Помню ясно дни былые,
И картин мелькает ряд:
Стройной линией березы
Над канавами стоят…
Вижу торную дорогу
Сажень в тридцать ширины,
Травки нет на той дороге
Нескончаемой длины…
Телеграф гудит высоко,
Полосатая верста,
Да часовенка в сторонке
У ракитова куста.
Пыль клубится предо мною
Ближе… ближе. Стук шагов,
Мерный звон цепей железных
Да тревожный лязг штыков…
«Помогите нам, несчастным,
Помогите, бедным, нам!..»
Так поют под звон железа,
Что приковано к ногам.
Но сквозь пыль штыки сверкают,
Блещут ружья на плечах,
Дальше серые шеренги —
Все закованы в цепях.
Враг и друг соединились,
Всех связал железный прут,
И под строгим караулом
Люди в каторгу бредут!
Но настал конец.
Дорога,
Что за мной и предо мной,
Не услышит звон кандальный
Над зеленой пеленой…
Я спокоен — не увижу
Здесь картин забытых дней,
Не услышу песен стоны,
Лязг штыков и звон цепей…
Я иду вперед спокойный…

Чу!.. свисток. На всех парах
Вдаль к востоку мчится поезд,
Часовые на постах,
На площадках возле двери,
Где один, где двое в ряд…
А в оконца, сквозь решетки,
Шапки серые глядят!

Памяти А. Н. Плещеева

Пред нами свежая могила…
Иль так природой суждено,
Чтоб все — талант, надежда, сила,
Все было в ней погребено?..
Нет, нет… Не все!
Лишь только тело,
Лишь тленный прах от нас уйдет,
Но мы, друзья, мы верим смело,
Душа в твореньях не умрет!..
Ты нас учил вперед стремиться,
Мрак ненавидеть, верить в свет,
Учил страдать и с тьмою биться,
Учил весь мир любить, поэт!
И не умрут твои творенья,
Живая заповедь твоя:
«Вперед! без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!».

Запорожцы

У Карла пир. Как моря волны,
Как в бурю грозная река,
Шумят кругом, отваги полны,
Непобедимые войска.
Обносят чаши круговые,
Горит смоленых бочек ряд,
И грозно песни боевые
В туманном воздухе звучат.
Герой войны, любимец славы,
Пирует Карл меж русских нив,
Непобедимы скандинавы,
Пока их вождь бессмертный жив,
И за здоровье дорогое
Того, кто им и друг, и брат,
Пьет лихо войско удалое,
И слышны клики: «Карл, виват!»
И Карл встает. Движенья просты,
Величья полн спокойный вид.
И отвечает он на тосты
И снова пить и петь велит.

А рядом с Карлом, с чашей пенной,
Сидит весь в бархате старик:
Усы седые, взгляд надменный,
То ласков, то суров и дик,
Глаза полны огня и тайны
(Была, знать, доля не легка)…
И снова тосты:
«За Украину, и за Мазепу-старика!»
Пир для него. Привычной лестью
Сумел он Карлу обещать
Свою Украину. Клялся честью,
Что запорожцев грозных рать
Отдастся Карлу. А с такою
Удалой ратью, как они,
Победы нет, где нет лишь бою.
«Да вот идут они: взгляни!» —
Вскричал Мазепа…
Темной тучей
Вилася пыль в степной дали,
Вот рати, грозной и могучей,
Уж видны люди… Все в пыли…
В поту, измучены их кони,
Покрыл их степи прах густой,
Как будто мчались от погони
Иль завершили жаркий бой.
Остановились. В изумленьи
Карл смотрит на своих гостей.
Пройдя полсвета без сомненья,
Таких не видел он людей,
Кто в чем одет. На том папаха,
Из черна соболя окол,
На том парчовая рубаха,
На этом бархат, этот гол,
И лишь полгруди закрывают
Усы, почти в аршин длины.
Зато оружьем щеголяют
Удалой Хортицы сыны
Пред войском, как из бронзы слитый,
Гарцует стройный исполин,
То атаман их знаменитый,
То — Гордиенко Константин.
Он в кунтуше и черной бурке,
Ничуть не скрывшей тонкий стан;
В Царьграде отнятый у турки,
Блестит в алмазах ятаган.
Из-под папахи чуб курчавый
Через плечо на грудь упал…
Такой фигуры величавой
Никто из шведов не видал.
Ведет Мазепа к Карлу гостя,
И грозный атаман пред ним.
— Вот. Гордиенко славный, Костя,

Пред кем дрожат поляк и Крым.
Вот войска нашего отрада,
Опора запорожских сил,
Не раз твердыни Цареграда
Удалый рыцарь наш громил.
Вот он, надежда Запорожья,
Косматых рыцарей кумир!
Коль Костя твой да воля божья,
Так покоришь ты целый мир.
И подал руку Карл герою
И с атаманом рядом сел,
И снова с чашей круговою
Пир прекращенный закипел.
Несут два шведа чашу гостю,
С почетом Карл пред ним встает.
— Будь здрав, король!
И залпом Костя
До дна всю эту чашу пьет.
— Вино не то, что у поляков,
Король умеет угощать,
Да есть обычай у казаков:
Налей еще, чтоб не хромать!
Удивлены и Карл и шведы,
Но чашу новую несут,
Над этой чашею победы
От гостя страшного не ждут.
— Казак готов и пить и к бою,
Нам пир иль схватка — все одно.
Но чашу взял одной рукою
И показал сухое дно!
— Здоровы будьте, братцы шведы,
Еще за вас я буду пить,
Желаю над врагом победы
И помогу вам победить.
— Не так ли молвил я, громада,
Что в пир, что в бой — цена одна?..
Король, и хлопцам выпить надо!
И крикнул Карл:
— Подать вина!
Пируют шведы с казаками,
Гуляют об руку рука.
И обнимаются друзьями
Соединенные войска.
Потом потехи ради, игры
Пошли, потешились борьбой;
В пустыне так играют тигры,
Так львы играют меж собой.
Выходит швед, высок и строен,
Толпой собратьев окружен,
На вид он весел и спокоен,
И ждет борца с улыбкой он.
То Гинтерфельд, что прозван «Пушка»,

Телохранитель короля.
Коня поднять ему — игрушка,
Едва несет его земля.
В телохранители недавно
Совсем случайно он попал,
Теперь же имя это славно,
И редкий швед его не знал.
Раз ночью Карл, один, сурово,
Весь лагерь свой обозревал
И у орудья часового
Случайно сонного застал.
То Гинтерфельд был. Зная это, —
Что часовой не может сесть, —
В испуге пушку сняв с лафета,
Он быстро ею отдал честь.
Остановился, озадачен,
Карл изумленный перед ним,
И Гинтерфельд был им назначен
Телохранителем своим
И «Пушкой» прозван. И с поры той
Не знал соперников себе
Ни в славной «Речи Посполитой»,
Ни между шведами в борьбе.
И вот он встал пред казаками
И вызов войску предложил,
Чтобы померить с удальцами:
Избыток исполинских сил.
— А где Бугай! Послать Бугая! —
Раздались крики.
Пред толпой,
Борьбой потешиться желая,
Встал запорожец. Рост большой,
На плечах жилы, как канаты,
Кривые ноги, — страшен вид, —
И чуб огромный и косматый
Почти на поясе лежит.
Взбесился как-то бык в станице
И начал всех рогами бить,
Из казаков никто решиться
Не мог быка остановить.
А он — тогда-то казаками
За то Бугаем прозван был —
Взял за рога быка руками
Да и на землю уложил!
И вот сошлись герои эти
И крупно, крепко обнялись.
Их руки, как стальные сети,
Как корни дерева, сплелись.
То шаг назад, то вбок нагнутся,
То вдруг подвинутся вперед,
Устали оба, страшно бьются,
Никто победы не берет.

И смотрит Карл, он верит в шведа,
Улыбка на его устах.
И прав король: теперь победа
У Гинтерфельда уж в руках.
Бугай случайно поскользнулся,
Его глаза покрыл туман,
Момент… другой… перевернулся,
Упал казачий великан!
— Виват! — тут шведы закричали.
Кричат казаки:
— Ложный бой! И ятаганы засверкали
Над возмутившейся толпой.
И вынул саблю швед суровый…
Единый миг — и кровь прольет.
Но голос прозвучал громовый,
И Гордиенко сам идет.
— Прочь ятаганы! Аль не бились,
Аль мало крови и войны!
И руки мигом опустились,
И сабли спрятаны в ножны.
— Здесь не война была, потеха, —
Шутя играли меж собой,
А вы, ребята, вместо смеха,
Всегда затеять рады бой.
Ну, швед, давай со мною биться,
Сам поборюсь на этот раз,
И должен кто-нибудь свалиться
И побежденным быть из нас!
Швед согласился. Крепко разом
Друг друга руки оплели,
И не моргнули шведы глазом,
Как Гинтерфельд лежит в пыли…
Спокойно, тихими шагами,
В свою палатку Карл пошел,
Поняв, с какими удальцами
Его старик Мазепа свел.

Кузьма Орел

«Да, приятель, было время:
Жили ведь и мы,
Не носили за плечами,
Как теперь, сумы!..» —
Говорит в питейном нищий —
Великан седой.
«Как же бедность приключилась,
Дедушка, с тобой?»
«Как? Долга моя, брат, сказка,
Словно поле ржи,
Что желтеет за окошком…»
«Дедко, расскажи!»

«Рассказать?
Да на лохмотья
Эдак не гляди,
Сам не знаешь, что случится
Дальше, впереди…
Я не хуже этой чуйку,
Милый мой, носил,
Как годов поменьше было
Да побольше сил!
На седьмой десяток пятый
Мне идет теперь!
Молодчага был я прежде,
Не мужик, а зверь.
Красных девок на гулянке
Кто развеселит?
Кто в бою кулачном крепче
За своих стоит?
По весне кто лед на Волге
Первый перешел?
Кто на нож полезет смело?
Кто? — Кузьма Орел!..
Был мужик я! За ухватку
Прозвали Орлом
И в остроге записали
Так меня потом!»
«Как в остроге? Ты отколя?
Здешний али нет?»
«Издалеча, милый, с Волги», —
Отвечает дед.
«С Волги-матушки широкой,
С самых Жигулей…»
«Погоди-ка-сь; эй, еще нам
Водочки налей!»
Целовальница-красотка
Налила сама…
«На-ко пей во славу божью,
Дедушка Кузьма…»
«Со свиданьем! Эта водка
Так и жжет огнем…
Славно! Слушай, говорил-то
Я тебе о чем?
Да! В деревне Жигулихе
Я родился… Там
Рос, гуляючи по Волге
Да по Жигулям…
И места у вас! Ей-богу,
Не места — краса:
Жигули с дремучим лесом
Лезут в небеса!
Ни души там! В поднебесьи,
На вершине скал, |(
Царь-орел гнездо свивает,

Там и я бывал!
Заберешься на вершину —
Все перед тобой!
Волга яркая сверкает
Лентой голубой…
А за Волгой желтой шапкой
И Царев курган,
Словно виден на ладони…
Разин-атаман
Под курганом с удальцами,
Грабил в старину…
Кто сдавался — не обидел,
Нет — пускал ко дну!..
Да и мы в былое время
Делали дела…
Волга-матка эту тайну
В море унесла!
От Усы-реки, бывало,
Сядем на струга,
Гаркнем песню — подпевают
Сами берега…
Свирепеет Волга-матка,
Словно ночь черна,
Поднимается горою
За волной волна.
Через борт водой холодной,
Плещут беляки,
Ветер свищет. Волга стонет,
Буря нам с руки!
Подлетим к расшивне:
— Смирно!
Якорь становой!
Шишка, стой!
Сарынь на кичку!
Бечеву долой!
Не сдадутся — дело плохо,
Значит, извини!
И засвищут шибче бури
Наши кистени!..
Дай-ка водки…
Было время,
Почудили мы,
Не носили за плечами,
Как теперь, сумы!»

Бродяга
(отрывок)

Не смейтесь, что все я о воле пою:
Как мать дорогую, я волю люблю…
Не смейтесь, что пел я о звуке оков,

О скрипе дверей, да о лязге штыков…
О холоде, голоде пел, о беде,
О горе глубоком и горькой нужде.

* * *

Покаюсь: грешный человек —
Люблю кипучий, шумный век.
…И все с любовью, все с охотой,
Всем увлекаюсь, нервы рву
И с удовольствием живу.
Порой в элегии печальной
Я юности припомню дальней
И увлеченья и мечты…
И все храню запасы сил…
А я ли жизни не хватил,
Когда дрова в лесу пилил,
Тащил по Волге барки с хлебом,
Спал по ночлежкам, спал под небом,
Бродягой вольным в мире шлялся,
В боях турецких закалялся,
Храня предания отцов…
Все тот же я, в конце концов,
Всегда в заботе и труде
И отдыхаю на «Среде».

Махорочка

Здравствуй, русская махорочка,
С милой родины привет,
При тебе сухая корочка
Слаще меду и конфет!
Все забудешь понемножку
Перед счастием таким,
Как закуришь козью ножку
Да колечком пустишь дым.
Закурив, повеселели,
Скуки схлынула волна,
И слабеет дым шрапнели
Перед дымом тютюна.
Эх, махорочка родная,
В русских выросла полях,
Из родимого ты края
К нам пришла врагу на страх.
В голенище сунув трубку,
Все и бодры и легки.
И казак несется в рубку,
И солдат идет в штыки.
Эй, Москва! Тряхни мошною,
На махорку не жалей,

С ней в окопах, ближе к бою,
Нам живется веселей!

Грядущее

Я вижу даль твою, Россия,
Слежу грядущее твое —
Все те же нивы золотые,
Все тот же лес, зверей жилье.
Пространства также все огромны,
Богатств — на миллион веков,
Дымят в степях бескрайних домны,
Полоски рельсовых оков
Сверкают в просеках сосновых
И сетью покрывают дол,
И городов десятки новых,
И тысячи станиц и сел.
Пустыня где была когда-то,
Где буреломом веками гнил,
Где сын отца и брат где брата
В междоусобной распре бил, —
Покой и мир.
Границ казенных
Не ведает аэроплан,
При радио нет отдаленных,
Неведомых и чуждых стран.
На грани безвоздушной зоны
При солнце и в тумане мглы
Летят крылатые вагоны
И одиночные орлы.
Нигде на пушки и гранаты
Не тратят жадный капитал —
Зачем — когда мы все богаты
И труд всех в мире уравнял.
Когда исчезнули границы,
Безумен и нелеп захват,
Когда огнем стальные птицы
В единый миг испепелят
Того, кем мира мир нарушен,
Да нет и помыслов таких —
Давно к богатству равнодушен
Бескрылый жадности порыв.
А там, на западе, тревога:
Волхвы пережитой земли
В железном шуме ищут бога.
А мы давно его нашли.
Нашли его в лесах дремучих,
Взращенных нами же лесах,
Нашли его в грозовых тучах
Дождем, пролившимся в степях,
Просторы наши бесконечны.

Как беспредельна степи ширь,
Кремль освещает вековечный
Кавказ, Украину и Сибирь,
Пески немого Туркестана
Покрыты зеленью давно,
Их с мрачной джунглей Индостана
Связало новое звено.
Страна труда, страна свободы,
В года промчавшейся невзгоды
Одна в булат закалена…
Я вижу даль твою, Россия,
Слежу грядущее твое.

* * *

Я люблю в снегах печальных
Вспоминать платанов сень,
Тополей пирамидальных
Стройно брошенную тень,
Звезд горящих хороводы,
Неба южного лазурь
И дыхание свободы
В перекатах горных бурь.

* * *

— Чем дальше *в* море — зыбь сильнее.
Темнее ночь, волна грозней…
Довольно весел! Ставь-ка рею,
Крепи-ка парус поскорей!
Чем дальше берег — тем свежей.
Летишь вперед. Ревет и хлещет
Волна, скользя через борта.
А сердце радостно трепещет,
Родится вольная мечта.
А дальше ночи темнота,
Седые гребни волн над нею,
Вдали за мной маяк горит,
Да ветер гнет и ломит рею,
Да мачта гибкая трещит…

* * *

Белоснежные туманы
На стремнинах гор висят,
Вековечные платаны
Зачарованные спят.
Влажный гравий побережья,
Кипарисов тишина

И косматая медвежья
Над пучинами спина.

Нива

Плугом-революцией поле взбороздило,
Старую солому, корешки гнилые —
Все перевернуло, все перекосило,
Чернозема комья дышат, как живые.
Журавли прилёты над болотом реют,
Жаворонок в небе, в поле — труд в разгаре.
Распахали землю. Взборонили. Сеют —
А кругом пожаров еще слышны гари…

* * *

Над вершиною кургана,
Чуть взыграется заря,
Выдыбает тень Степана: —
Что за дьявол? Нет царя?
Нет бояр? Народ сам правит?
Всюду стройке нет конца!
Чу! Степана в песнях славят,
Воли первого бойца.
На своем кургане стоя,
Зорко глядя сквозь туман,
Пред плотиной Волгостроя
Шапку скинул атаман.

* * *

Я рожден, где сполохи играли,
Дон и Волга меня воспитали,
Жигулей непролазная крепь,
Снеговые табунные дали,
Косяками расцветшая степь
И курганов довечная цепь.

Экспромты

Квартальный был — стал участковый,
А в общем, та же благодать:
Несли квартальному целковый,
А участковому — дай пять!

* * *

Синее море, волнуясь, шумит,
У синего моря урядник стоит,
И злоба урядника гложет,
Что шума унять он не может.

* * *

Цесаревич Николай,
Если царствовать придется,
Никогда не забывай,
Что полиция дерется.

* * *

В России две напасти:
Внизу — власть тьмы,
А наверху — тьма власти.

* * *

Вот вам тема — сопка с деревом,
А вы все о конституции…
Мы стояли перед Зверевым
В ожиданьи экзекуции…
Ишь какими стали ярыми
Света суд, законы правые!
А вот я вам циркулярами
Поселю в вас мысли здравые,
Есть вам тема — сопка с деревом:
Ни гу-гу про конституцию!
Мы стояли перед Зверевым
В ожиданьи экзекуции…

* * *

Каламбуром не избитым
Удружу — не будь уж в гневе:
Ты в Крыму страдал плевритом,
Мы на севере — от Плеве.

* * *

Мы к обрядам древним падки,
Благочестие храня:
Пост — и вместо куропатки
Преподносят нам линя.

Анатолию дурову

Ты автор шуток беззаботных,
Люблю размах твоих затей,
Ты открываешь у животных
Нередко качества людей.
Талант твой искренно прекрасен,
Он мил для взрослых и детей,
Ты, как Крылов в собранья басен,
Заставил говорить людей.

А. Е. Архипову

Красным солнцем залитые
Бабы, силой налитые,
Загрубелые,
Загорелые,
Лица смелые.
Ничего-то не боятся,
Им работать да смеяться.
— Кто вас краше? Кто сильней?
Вызов искрится во взорах.
В них залог грядущих дней,
Луч, сверкающий в просторах,
Сила родины твоей.

А. Д. Гончарову

Друг! Светла твоя дорога,
Мастер ты очаровать:
Ишь, какого запорога
Ты сумел сгончаровать!
Вот фигура из былины!
Стиль веков далеких строг —
Словно вылепил из глины,
Заглазурил и обжег!

А. С. Серафимовичу

Любуйся недремлющим оком,
Как новые люди растут,
О них пусть *Железным потоком*
Чеканные строки бегут.

С. Т. Коненкову

Каким путем художник мог
Такого счастия добиться:
Ни головы, ни рук, ни ног,
А хочется молиться…

* * *

Я пишу от души, и царям
Написать не сумею я оду.
Свою жизнь за любовь я отдам,
А любовь я отдам за свободу.

* * *

Пусть смерть пугает робкий свет,
А нас бояться не понудит:
Когда живем мы — смерти нет,
А смерть придет — так нас не будет.

Из воспоминаний о В. А. Гиляровском

М. П. Чехов. "Дядя Гиляй" (В. А. Гиляровский)

На В. А. Гиляровском стоит остановиться подольше.

Однажды, еще в самые ранние годы нашего пребывания в Москве, брат Антон вернулся откуда-то домой и сказал:

— Мама, завтра придет ко мне некто Гиляровский. Хорошо бы его чем-нибудь угостить.

Приход Гиляровского пришелся как раз на воскресенье, и мать испекла пирог с капустой и приготовила водочки. Явился Гиляровский. Это был тогда еще молодой человек, среднего роста, необыкновенно могучий и коренастый, в высоких охотничьих сапогах. Жизнерадостностью от него так и прыскало во все стороны. Он сразу же стал с нами на «ты», предложил нам пощупать его железные мускулы на руках, свернул в трубочку копейку, свертел винтом чайную ложку, дал всем понюхать табаку, показал несколько изумительных фокусов на картах, рассказал много самых рискованных анекдотов и, оставив по себе недурное впечатление, ушел. С тех пор он стал бывать у нас и всякий раз вносил с собой какое-то особое оживление. Оказалось, что он писал стихи и, кроме того, был репортером по отделу происшествий в «Русских ведомостях». Как репортер он был исключителен.

Гиляровский был знаком решительно со всеми предержащими властями, все его знали, и всех знал он; не было такого места, куда бы он не сунул своего носа, и он держал себя запанибрата со всеми, начиная с графов и князей и кончая последним дворником и городовым. Он всюду имел пропуск, бывал там, где не могли бывать другие, во всех театрах был своим человеком, не платил за проезд по железной дороге и так далее. Он был принят и в чопорном Английском клубе, и в самых отвратительных трущобах Хитрова рынка. Когда воры украли у меня шубу, то я прежде всего обратился к нему, и он поводил меня по таким местам, где могли жить разве только одни душегубы и разбойники. Художественному театру нужно было ставить горьковскую пьесу «На дне» — Гиляровский знакомил его актеров со всеми «прелестями» этого дна. Не было такого анекдота, которого бы он не знал, не было

такого количества спиртных напитков, которого он не сумел бы выпить, и в то же время это был всегда очень корректный и трезвый человек. Гиляровский обладал громадной силой, которой любил хвастануть. Он не боялся решительно никого и ничего, обнимался с самыми лютыми цепными собаками, вытаскивал с корнем деревья, за заднее колесо извозчичьей пролетки удерживал на всем бегу экипаж вместе с лошадью. В саду «Эрмитаж», где была устроена для публики машина для измерения силы, он так измерил свою силу, что всю машину выворотил с корнем из земли. Когда он задумывал писать какую-нибудь стихотворную поэму, то у него фигурировали Волга-матушка, ушкуйники, казацкая вольница, рваные ноздри…

В мае 1885 года я кончил курс гимназии и держал экзамены зрелости. Чтобы не терять из-за меня времени, брат Антон, сестра и мать уехали на дачу в Бабкино, и во всей квартире остался я один. Каждый день, как уже будущий студент, я ходил со Сретенки в Долгоруковский переулок обедать в студенческую столовую. За обед здесь брали 28 копеек. Кормили скупо и скверно, и когда я возвращался домой пешком, то хотелось пообедать снова.

В одно из таких возвращений, когда я переходил через Большую Дмитровку, меня вдруг кто-то окликнул:

— Эй, Миша, куда идешь?

Это был В. А. Гиляровский. Он ехал на извозчике куда-то по своему репортерскому делу. Я подбежал к нему и сказал, что иду домой.

— Садись, я тебя подвезу, Я обрадовался и сел.

Но, отъехав немного, Гиляровский вдруг вспомнил, что ему нужно в «Эрмитаж» к Лентовскому, и, вместо того чтобы попасть к себе на Сретенку, я вдруг оказался на Самотеке, в опереточном театре. Летние спектакли тогда начинались в пять часов вечера, а шел уже именно шестой, и мы как раз попали к началу.

— Посиди здесь, — сказал мне Гиляровский, введя в театр, — я сейчас приду.

Поднялся занавес, пропел что-то непонятное хор, а Гиляровского все нет и нет. Я глядел оперетку и волновался, так как ходить по «Эрмитажам» гимназистам не полагалось. Вдруг ко мне подошел капельдинер и потребовал билет. Конечно, у меня его не оказалось, и капельдинер взял меня за рукав и, как зайца, повел к выходу. Но, на мое счастье, точно из-под земли вырос Гиляровский.

— В чем дело? Что такое?

— Да вот спрашивают с меня билет… — залепетал я.

— Билет? — обратился Гиляровский к капельдинеру. — Вот тебе, миленький, билет!

И, оторвав от газеты клочок, он протянул его вместо билета капельдинеру. Тот ухмыльнулся и пропустил нас обоих на место.

Но Гиляровскому не сиделось.

— Пойдем, мне пора.

И мы вышли с ним из «Эрмитажа».

— Я, кажется, хотел подвезти тебя домой… — вспомнил Гиляровский. — Где же наш извозчик?

Он стал оглядываться по сторонам. Наш извозчик оказался далеко на углу, так как его отогнал от подъезда городовой. В ожидании нас он мирно дремал у себя на козлах, свесив голову на грудь.

Гиляровский подошел к нему и с такой силой тряхнул за козлы, что извозчик покачнулся всем телом и чуть не свалился на землю.

— Дурак, черт! Слюни распустил! Еще успеешь выспаться!

Извозчик очухался, и мы поехали.

Нужно было уже сворачивать с Садовой ко мне на Сретенку, когда Гиляровский вдруг вспомнил опять, что ему необходимо ехать зачем-то на Рязанский вокзал, и повез меня насильно туда. Мы приехали, он рассчитался с извозчиком и ввел меня в вокзал. Встретившись и поговорив на ходу с десятками знакомых, он отправился прямо к

отходившему поезду и, бросив меня, вдруг вскочил на площадку вагона в самый момент отхода поезда и стал медленно отъезжать от станции.

— Прощай, Мишенька! — крикнул он мне.

Я побежал рядом с вагоном.

— Дай ручку на прощанье! Я протянул ему руку.

Он схватился за нее так крепко, что на ходу поезда я повис в воздухе и затем вдруг неожиданно очутился на площадке вагона.

Поезд уже шел полным ходом, и на нем вместе с Гиляровским уезжал куда-то и я. Силач увозил меня с собой, а у меня не было в кармане ни копейки, и это сильно меня беспокоило.

Мы вошли с площадки внутрь вагона и сели на местах. Гиляровский вытащил из кармана пук газет и стал читать. Я постарался казаться обиженным.

— Владимир Алексеевич, куда вы меня везете? — спросил я его наконец.

— А тебе не все равно? — ответил он, не отрывая глаз от газеты.

Вошли кондуктора и стали осматривать у пассажиров билеты. Я почувствовал себя так, точно у меня приготовились делать обыск. У меня не было ни билета, ни денег, и я уже предчувствовал скандал, неприятности, штраф в двойном размере.

— Ваши билеты!

Не поднимая глаз от газеты, Гиляровский, как и тогда в театре, оторвал от нее два клочка и протянул их обер-кондуктору вместо билетов. Тот почтительно пробил их щипцами и, возвратив обратно Гиляровскому, проследовал далее. У меня отлегло от сердца. Стало даже казаться забавным.

Мы вылезли из вагона, кажется, в Люберцах или в Малаховке и крупным, густым лесом отправились пешком куда-то в сторону. Я не был за городом еще с прошлого года, и так приятно было дышать запахом сосен и свеженьких березок. Было уже темновато, и ноги утопали в песке. Мы прошли версты с две, и я увидел перед собою поселок. Светились в окошках огни. По-деревенски лаяли собаки. Подойдя к одному из домиков

с палисадником, Гиляровский постучал в окно. Вышла дама с ребенком на руках.

— Маня, я к тебе гостя привел, — обратился к ней Гиляровский.

Мы вошли в домик. По стенам, как в деревенской избе, тянулись лавки, стоял большой стол; другой мебели не было никакой, и было так чисто, что казалось, будто перед нашим приходом все было вымыто.

— Ну, здравствуй, Маня! Здравствуй, Алешка! Гиляровский поцеловал их и представил даме меня.

Это были его жена Мария Ивановна и сынишка Алешка, мальчик по второму году.

— Он у меня уже гири поднимает! — похвастался им Гиляровский.

И, поставив ребенка на ножки на стол, он подал ему две гири, с которыми делают гимнастику. Мальчишка надул щеки и поднял одну из них со стола. Я пришел в ужас. Что, если он выпустит гирю из рук и расшибет себе ею ноги?

— Вот! — воскликнул с восторгом отец. — Молодчина!

Таким образом я нежданно-негаданно оказался на даче у Гиляровского в Краскове.

Я переночевал у него, и Мария Ивановна не отпустила меня в Москву и весь следующий день. Мне так понравилось у них, что я стал приезжать к ним между каждых двух экзаменов. В один из дней, когда я гостил в Краскове, Гиляровский вдруг приехал из Москвы с громадной вороной лошадью. Оказалось, что она была бракованная, и он купил ее в одном из полков за 25 рублей. Вскоре выяснилось, что она сильно кусалась и сбрасывала с себя седока. Гиляровский нисколько не смутился этим и решил ее «выправить» по-своему, понадеявшись на свою физическую силу.

— Вот погоди, — сказал он мне, — ты скоро увидишь, как я буду на ней ездить верхом в Москву и обратно.

Лошадь поместили в сарайчике, и с той поры только и стало слышно, как она стучала копытами об стены и ревела, да как кричал на нее Гиляровский, стараясь отучить ее от

пороков. Когда он входил к ней и запирал за собой дверь, мне казалось, что она его там убьет; беспокоилась и Мария Ивановна. Гиляровский же и лошадь поднимали в сарайчике такой шум, что можно было подумать, будто они дерутся там на кулачки; и действительно, всякий раз он выходил от своего Буцефала весь потный, с окровавленными руками. Но он не хотел сознаться, что это искусывала его лошадь, и небрежно говорил:

— Так здорово бил ее, сволочь, по зубам, что даже раскровянил себе руки.

В конце концов пришел какой-то крестьянин и увел лошадь на живодерку. Гиляровский потерял надежду покататься на ней верхом и отдал ее даром.

Он не прерывал добрых отношений с моим братом Антоном до самой его смерти и нежно относился ко всем нам. Бывал он у нас и в Мелихове в девяностых годах. Всякий раз, как он приезжал туда, он так проявлял свою гигантскую силу, что мы приходили в изумление. Один раз он всех нас усадил в тачку и прокатил по всей усадьбе. Вот что писал брат Антон А. С. Суворину об одном из таких его посещений Мелихова: «Был у меня Гиляровский. Что он выделывал! Боже мой! Заездил всех моих кляч, лазил на деревья, пугал собак и, показывая силу, ломал бревна» (8 апреля 1892 года).

Я не помню Гиляровского, чтобы когда-нибудь он не был молод, как мальчик. Однажды он чуть не навлек на нас неприятное подозрение. Дело было так. Жил-был в Москве, в Зарядье, портной Белоусов. У него был сын, Иван Алексеевич, впоследствии известный поэт и переводчик и член Общества любителей российской словесности. Тогда он тоже был портным и между делом робко пописывал стишки. Задумал отец женить этого милейшего Ивана Алексеевича. Сняли дом у какого-то кухмистера, «под Канавою» в Замоскворечье, позвали оркестр, пригласили знакомых и незнакомых — и стали справлять свадьбу. Думаю, что гостей было человек более ста. Тогда мой брат Иван Павлович служил в Мещанском училище, в котором Белоусов обшивал кое-кого из учителей. Обшивал он, спасибо ему, тогда и меня. И вот он пригласил к себе на свадьбу всех нас, братьев Чеховых, но отправились мы трое: Антон, Иван и я. Вместе с нами пошел туда и Гиляровский.

Там мы познакомились с приятелем жениха, Николаем Дмитриевичем Телешовым, молодым, красивым человеком, который был шафером и танцевал, ни на одну минуту не расставаясь с шапокляком, в течение всей ночи.

Это был известный потом писатель, литературный юбилей которого не так давно трогательно справлялся в Союзе писателей. Когда мы возвращались уже под утро домой — братья Антон, Иван и я, Телешов и Гиляровский, — нам очень захотелось пить. Уже светало. Кое-где попадались ночные типы, кое-где отпирались лавчонки и извозчичьи трактиры. Когда мы проходили мимо одного из таких трактиров, брат Антон вдруг предложил:

— Господа, давайте зайдем в этот трактир и выпьем чаю!

Мы вошли. Все пятеро, во фраках, мы уселись за неопрятный стол. Трактир только что еще просыпался. Одни извозчики, умывшись, молились богу, другие пили чай, а третьи кольцом окружили нас и стали разглядывать. Гиляровский острил и отпускал словечки. Брат Антон Павлович и Телешов говорили о литературе.

Вдруг один из извозчиков сказал:

— Господа, а безобразят…

Конечно, он был прав, но Гиляровскому захотелось подурачиться, он вскочил с места и пристально вгляделся в лицо извозчика.

— Постой, постой, — сказал он в шутку. — Это, кажется, мы вместе с тобой бежали с каторги?

Что тут произошло! Все извозчики повскакали, всполошились, не знали, что им делать — хватать ли Гиляровского и вести его в участок, доносить ли на своего же брата извозчика, или постараться замять всю эту историю. Но дело вскоре уладилось само собой: Гиляровский сказал какую-то шуточку, угостил извозчиков нюхательным табачком, моралист-извозчик постарался куда-то скрыться, и стали подниматься и мы. Помнит ли об этом Телешов? Впрочем, он так был увлечен разговором с Антоном Павловичем, что, вероятно, не обратил на всю эту сцену никакого внимания.

Н. И. Морозов
Знакомство с В. А. Гиляровским

Впервые я встретился с писателем Владимиром Алексеевичем Гиляровским зимой 1896 года. Мне было тогда тринадцать лет, я только что окончил церковноприходскую школу в родном селе Карине, близ Зарайска, и приехал в Москву на заработки. Большая нужда заставила мать отпустить меня на чужую сторону в таком возрасте. Но в то время деревня жила бедно, и отхожий промысел детей, а взрослых особенно, был большим подспорьем для хозяйства.

Я мечтал научиться ремеслу и по возможности получить хоть какие-то знания. Тяга к знаниям была у меня от отца, славившегося у нас на селе большой начитанностью. Когда он приезжал из Питера, где служил на скотопригонном дворе, наша изба превращалась в сборище грамотеев. Это были знатоки писания, и споры их велись больше о божественном.

…В Москву меня привез дядя, брат отца. Мы пришли в меблированные комнаты Дипмана на Цветном бульваре. Дядя попросил вызвать сына. Когда появился Николай, доводившийся мне двоюродным братом, я не узнал его с первого взгляда: передо мной стоял не то арап, не то человек, который весь изгваздался в саже. Увидев нас, он улыбнулся, и тогда я узнал его и заметил на его лице три белых пятна: зубы и белки глаз. Оказалось, что он в меблированных комнатах ставит самовары для постояльцев. Дядя мне говорил совсем другое: «Николай работает по самоварной части», я и думал, что он мастер по самоварному делу, чему я и сам не прочь был научиться. Я надеялся встретиться с ним в огромной мастерской, дымной и угарной. А получилось все шиворот-навыворот.

«Вот так работа по самоварной части!..» — отметил я про себя и повесил голову.

Но тут поспел первый самовар. Николай отлил два больших чайника кипятку, заварил в маленький чаю, парнишка вроде меня принес большой каравай ситного, колбасы, и мы с дядей, проголодавшись с дороги, с удовольствием отвели душу за этим угощением.

Неожиданно наше мирное чаепитие было грубо нарушено: в самоварную вошел хозяин Дипман, крючконосый, с сединой в голове и бороде.

— Это кто такие? — свирепым тоном зарычал он.

— Мой отец и брат, — спокойно ответил Николай.

— Пусть они убираются отсюда немедленно, в гостинице быть посторонним не разрешается, сию минуту вон!.. — истерично кричал хозяин.

Такое бесчеловечие меня огорошило. Брат смело возразил хозяину:

— Где же я могу принять теперь родственников, приехавших ко мне из деревни? На скамеечке бульвара, что ли?

В его голосе чувствовалось возмущение. Хозяин ответил тем же тоном:

— Это меня не касается, у меня не дом для странников, — вон, говорю!

Самоварную пришлось оставить, мы ушли с дядей в людскую, там и ночевали тайком. С моим устройством пришлось поспешить, потому что жить было негде. Поговорив кое с кем, дядя сунул меня через несколько дней на работу в трактир Павловского на Трубной площади — за три рубля в месяц мыть чайную посуду.

И вот я на должности. Меня привели в судомойку. Митька, мой старший по работе, напялил на меня хозяйский фартук и повел к громадному медному тазу, наполненному грязными чайными чашками и блюдцами.

— Вот твой рабочий станок, — сказал он. А потом налил в таз горячей воды, насыпал в него соды и научил, что и как надо делать.

Я мою посуду и думаю о деревне. Дядя теперь приехал домой, и был у мамы и рассказал, ставя себе в заслугу, как он устроил меня на работу. «Уж и работа!» — Думаю я про себя, и от этих дум горько на душе.

Моя мечта сбылась. Я в Москве и стал мастером ремесла, на изучение которого потратил не годы и даже не часы, а минуты…

Стою у таза с засученными рукавами, с забрызганным фартуком, как прачка у корыта, и донимаю жесткой щеткой послушные фарфоровые чашки. Из простонародного зала доносятся звуки музыкальной машины:

Хорошо было детинушке
Сыпать ласковы слова…

Слышится пьяный говор, звон посуды, грохот стульев…

Долго, очень долго тянется рабочее время, оно начинается в шесть утра. Сколько раз, бывало, посмотришь на часы, ждешь, когда же стрелка покажет двенадцать. Наконец раздается долгожданный бой часов, и все мы — половые в белых рубахах, посудомойщики, работники ресторанной кухни — сломя голову мчимся в свое подземелье, расположенное под зданием трактирного заведения. Усталость валит с ног. Быстро раздеваемся и бросаемся на постели. Глаза начинают смыкаться, но я слышу сквозь сон разговор:

— В «Славянский базар» попасть бы… Можно было бы в год хозяйство поправить…

— Есть на примете человек… Кумекаю… Может быть, и клюнет…

Засыпаю, не дождавшись конца разговора.

Раз в две недели каждому служащему полагалось уходить со двора. Так назывался тогда выходной день. Отпуск предоставлялся обязательно в воскресенье. Отпросился и я со двора, когда прослужил месяц с лишним. Мне хотелось повидаться с моим товарищем Ваней Угаркиным, с которым мы были из одной деревни. В адресе, привезенном мною в Москву, было сказано, что он служит у В. А. Гиляровского, Столешников переулок, дом де-Карьера, № 5, квартира 10. По этому адресу я и отправился.

Переулок и дом я нашел быстро, поднялся по лестнице, и вот мы встретились с другом. Он рассказал мне о своем житье-бытье:

— Живем хорошо, чувствуем себя как дома… как есть дома. Работу начинаем в десять, кончаем в шесть. В праздник не работаем вовсе.

— А я, брат, трублю восемнадцать часов в сутки: с шести до двенадцати ночи, — отвечаю ему, — а в праздники у нас самая широкая торговля.

На Ваню это не произвело впечатления: у многих тогда рабочий день был по восемнадцати часов. Я спросил его:

— Кто твой хозяин?

— Гиляровский, писатель, — ответил он.

Ответ этот меня удивил. Впервые я услыхал, чтобы кто-то из наших служил у писателя.

— Небось тут книг много, читаешь что-нибудь?

— Мы с кухаркой читаем в «Московском листке» роман Пазухина, ох, уж и интересно… Как один влюбился в красивую-прекрасивую женщину…

— А книги такие есть, где говорится, отчего гром бывает, вокруг чего земля вертится? — перебил я его.

— Наверное, есть. У нас книг — все шкафы и полки забиты. Только мы искали среди них «Сонник», книгу сны отгадывать, такой книги не нашли…

Вдруг в коридоре раздается грохот, хлопанье дверей, слышатся быстрые шаги, удары каблуков о половицы, и вот дверь комнаты, где мы сидели, отбрасывается, будто сорванная с петель, и на пороге появляется человек, которому, казалось, в коридоре узко, в дверях тесно, в комнате мало простора.

Я понял, что это и есть Гиляровский. Оробел от неожиданности. При его появлении я встал, как меня учили. Мне бросилась в глаза лихая повадка писателя и удаль в быстрых движениях. Приковывали внимание его казацкие усы, необыкновенный взгляд — быстрый, сильный и немного строгий, сердитый. Он мне представился атаманом, Тарасом Бульбой, о котором я еще в школе читал в книге Гоголя.

Ворот рубахи у него был расстегнут, могучая, высокая грудь полуоголена. Видно, он зашел к моему товарищу по какому-то делу. Увидев меня, он заинтересовался.

— Это кто? — спросил он Ваню.
— Мой товарищ из деревни, вместе учились.
— Что ты делаешь в Москве? — обратился он ко мне.
— Служу в трактире Павловского.
— На Трубной площади?
— Да. — Я удивился тому, что он знает адрес трактира.
— Что же ты там делаешь?
— Занимаюсь мытьем чайной посуды. — Давно в Москве?
— Недавно, месяц с небольшим.

Разговаривая, он внимательно оглядывал меня. Я стоял в поношенной поддевке со сборами и мял в руках шапчонку, из которой выбивалась серая пакля. Расспросив обо всем, он стремительно удалился.

Мы остались одни.

— Какой у тебя хозяин-то… Должно быть, строгий, свирепый. Уж очень у него вид-то… А?

— Не-е-е-е… Он бознать какой хороший. Не взыскательный, — ответил Ваня, — страсть добрый.

Через некоторое время снова слышим за дверью тот же шум и грохот; дверь по-прежнему отлетает, и в комнату снова входит Владимир Алексеевич.

— Шапка у тебя, я вижу, износилась, на-ка вот надень, — сказал он и подал мне новенькую шелковистой шерсти.

Я расправил сложенный пирогом убор и быстро надел его на голову.

— Ну, как? — спросил он.

— Самый раз, — отвечаю с улыбкой и смущением.

Он тоже улыбнулся, и лицо его мгновенно преобразилось, просияло, оно стало ласковое, приветливое. «Он только на первый взгляд сердитый, — подумалось мне, — а на самом деле велик добротой».

Утром на другой день, явившись на службу, я показал шапку Александру Митрофановичу, одному из старейших половых. Уж очень мне хотелось похвастаться подарком и поделиться радостью.

— Это мне хозяин земляка подарил, — сказал я.

— Кто же это такой хозяин, что так раздобрился? — удивился Александр Митрофанович, разглядывая шапку. — Богатый подарок, даже не верится. Он тебе, может, родня?

— Нет, увидел впервой.

— Кто же он?

— Гиляровский, писатель.

— Владимир Алексеевич?

— Да, а вы его разве знаете? — не без удивления спросил я.

— Кого я не знаю, если столько лет прослужил в трактирах. Знаю и многих писателей. Гиляровский известен.

В судомойку торопливо вошел Тоскин с подносами в обеих руках.

— Вот и он знает Гиляровского, — сказал Александр Митрофанович, выходя в зал.

— Как же не знать, — ответил седобородый Тоскин, — я из его табакерки нюхал, когда служил в трактире у Тестова. Душевный человек Гиляровский, за чернь стоит. Господа при мне говорили в трактире: он о простонародье книгу выпустил, а правительство велело ее сжечь… Во как!.. — закончил он.

Постылая служба продолжалась. Про себя я решил, что надо искать другое место. Мне предлагали работу в колониальном магазине, но там тоже рабочий день длился восемнадцать часов. Сунулся было в типографию, там сказали, что если у меня нет квартиры и домашних харчей, то в ученики не возьмут. Звали в ренсковой погреб торговать вином, но я отказался: не по душе было это дело. А еще омерзительнее было в трактире. Половые из молодых

ночью уходили куда-то пьянствовать. Мой товарищ Митька, как я стал замечать, все чаще стал прикладываться к горлышкам пустых бутылок, потягивать из них украдкой остатки рома, токая, портвейна, коньяка и прочих вин всяких фирм — Депре, Сараджева, Леве, Арабаки, он не отказывался и от изделий Петра Смирнова и вдовы Попова.

Но я избегал этого. Крепко помнил напутствие матери перед отъездом в Москву. «Не одурманивайся хмельным, — говорила она, — от этого дурмана идет все зло и погибель. Не слушай дурацких пословиц: «Пьян да умен — два угодья в нем» или «Пьяный проспится, а дурак — никогда». Эти пословицы выдумали пьянчужки для своего оправдания. Я еще не видела на своем веку умного пьяного. Зелье как раз и затуманивает разум, одурачивает человека, а если пьяный проспится, то часто встает нищим или преступником». Эти советы я считал верхом мудрости. Собрался я было поговорить с Митькой с видом «знатока» о гибельности пристрастия к хмельному, но поговорить не пришлось. Неожиданно ко мне явился Ваня Угаркин.

— Гиляровский требует, — выпалил он, тяжело дыша. — Мы с мамой в деревню уезжаем, и он хочет поставить тебя на мое место. Идем скорей, там уже других ребят рекомендуют, а он тебя вспомнил.

И вот я на службе у В. А. Гиляровского. Еще вчера мое жилье находилось в душном и темном подвале, а теперь мне отвели хорошую, светлую комнату с огромным окном и высоким потолком. В ней стоит кровать, ясеневый диван с ящиками, куда можно положить свои вещи, просторный стол, покрытый бордовым сукном и окруженный несколькими добротными стульями. В первый раз я почувствовал себя человеком.

Долгое время по привычке я просыпался около шести. В доме еще все спали, было тихо, и, повернувшись на другой бок, я опять засыпал. Часов в восемь на кухне слышалось движение, прислуга звякала медной самоварной крышкой, гремела трубой — это она готовила чай.

Поднимался и я. Умывшись, быстро спускался в швейцарскую, где висел наш почтовый ящик, вынимал оттуда газеты, журналы, письма и приносил в контору. Там меня ждал Владимир Алексеевич. Он часто возвращался домой поздно, когда уже все спали: задерживался в редакциях, в клубе или в литературном кружке, но вставал всегда рано.

Просмотр газет Владимир Алексеевич начинал с «Русских ведомостей», где он в то время работал. Он читал их не за столом, а стоя у дубовой конторки на высоких ножках.

Поспевал самовар. Домашние еще спали, и чай Владимиру Алексеевичу приносили в контору, а я шел пить в кухню. Но часто мы чаевничали на кухне вдвоем.

Около десяти часов Владимир Алексеевич уезжал по разным газетным делам.

Редакция «Журнала спорта», помещавшаяся в квартире Гиляровского, начинала свою работу тоже в десять утра. Приходил секретарь журнала В. В. Генерозов. Раздавались звонки телефона, приходили посетители. Секретарь давал мне прочитанные гранки журнала, и я вез их для правки в типографию, а оттуда привозил новые набранные материалы.

Конка тогда ходила, как шутили в народе, «в десять дней — девять верст». Едешь, бывало, к Волчанинову или в Марьину рощу, в типографию Чичерина, куда потом передали печатание журнала, или в дальнюю редакцию — обязательно берешь с собой книгу. Много проглотишь страниц при дальней дороге со множеством остановок.

В выборе книг мне часто помогал Владимир Алексеевич. Однажды он дал мне «Власть тьмы» Л. Н. Толстого.

Я раскрыл ее и удивился: «Власть тьмы» не похожа на другие книги, в других за первой главой идет вторая, за второй — третья, а в этой на первой странице я прочел:

«Явление первое

Петр, Анисья, Акулина. Последние поют в два голоса.

Петр (выглядывая из окна). Опять лошади ушли. Того и гляди, жеребенка убьют. Микита, а Микита!

Голос Микиты. Чего?

Петр. Лошадей загони».

Хотел было бросить, да побоялся: а вдруг Владимир Алексеевич спросит?

Нет уж, раз советует прочитать — значит, надо читать. После службы уселся за «Власть тьмы». Читаю одно явление за другим, за первым действием — второе. Так и читал без отрыва, пока не закончил.

На другой или третий день Владимир Алексеевич позвал меня в кабинет. Усадив против себя, он раскрыл табакерку.

— «Власть тьмы» прочитал?

— Прочитал, — ответил я.

— Что скажешь?

— «Власть тьмы» произвела на меня сильное впечатление. Я еще не читал ни одной такой книги, которая действовала бы так захватывающе.

— Что же производит сильное впечатление?

— Мне уже начинает казаться, не был ли у нас когда-нибудь в деревне Толстой. У нас есть старик — дедушка Василий Макушкин, которого почему-то все зовут Зюбой, он — две капли воды Аким Толстого, будто с него и написан. Только и слышишь от него «тае» да «того»: «Лука Иваныч, скажет он, как бы тае… не опоздать с посевом… посев того… в срок надоть…» Бабка Степанида Истратова у нас точь-в-точь говорит, как Матрена, жена Акима: «Сам видишь, как чижало живем, девку-то и приходится в город, в куфарки отдавать». Он такой дотошный, каждое слово у него на месте, будто сам из мужиков вышел.

Владимир Алексеевич отодвигает ящик письменного стола, где у него всегда есть что-нибудь про запас, достает оттуда конфетку и подает мне с доброй улыбкой.

— Это тебе гонорар за рецензию на «Власть тьмы». Таков был Гиляровский. С первых дней появления в его доме я не помню других отношений с его стороны, кроме товарищеских, дружеских, будто мы были родные или ровесники.

В один из вечеров В. А. Гиляровский рассказал мне о своей родословной. По семейным преданиям, прадеды его по мужской линии в старину жили в запорожских степях.

Один из них был выслан под надзор полиции в Новгородские края. Он слыл среди окружающих неуемным весельчаком, жизнелюбом и редкой доброты человеком. За свой веселый нрав он получил от друзей и близких кличку Гилярис (веселый). От этого латинского корня и пошла фамилия Гиляровских.

Отец писателя — Алексей Иванович — по окончании духовной семинарии служил помощником управляющего лесным имением графа Олсуфьева в Вологодских дремучих лесах. Сам управляющий, П. И. Усатый, был потомком запорожских казаков, бежавших на Кубань после уничтожения Запорожской сечи Екатериной II. У Усатого была дочь Надежда Петровна, на ней и женился Алексей Иванович. Таким образом, и по женской линии родословная вела писателя к запорожцам.

Гиляровский в жизни

Как-то, сидя за столом у Владимира Алексеевича, В. М. Дорошевич сказал:

— Соблазнительно, Гиляй, написать твою биографию.

Действительно, бурно и содержательно прожил Владимир Алексеевич свои восемьдесят два года. Про него можно сказать: этот человек не жил, а горел. В обычные человеческие нормы он не укладывался. Подобное отмечал и А. П. Чехов, сказавший ему однажды: «Тебя не опишешь, ты все рамки ломаешь».

— Душу В. А. Гиляровского на коне не объедешь, — так говорили и писали о нем современники.

Хорошо знавший В. А. Гиляровского сотрудник «Русского слова» С. В. Яблоновский писал: «Оригинален сам Гиляровский, как личность. Медвежья сила в душе, такой мягкой, такой ласковой, как у ребенка. Если как у писателя у него есть талант, то как у человека у него имеется гений, гений любви».

Он весь был для людей. Похлопотать за человека, помочь ему в чем-нибудь или, как он

говорил, «дать человеку перевернуться в трудный час» — словно было его призванием.

Многое повидав в жизни и многое пережив, Гиляровский стал другом обездоленных и всегда близко к сердцу принимал человеческую нужду. Кто только не приходил к нему в дом за помощью! Молодые художники, ученики Училища живописи, студенты, обитавшие на Ляпинке. Среди просителей можно было видеть писателей из народа, актеров и всякую бедноту, вплоть до хитрованцев. Мария Ивановна говорила ему: «Ты хоть хитрованцев-то не пускай в дом, ведь зарежут когда-нибудь». Были и такие просители, которые приходили часто. Они конфузились, извинялись за вынужденную надоедливость. Он, понимая это состояние, отвечал каламбуром:

Не бойся надоесть,
Когда надо есть.

Жена И. Е. Репина Нордман-Северова в своей книге «Воспоминания» передает такой случай. Репин, Нордман-Северова и Гиляровский ехали в трамвае с какой-то выставки. Вдруг на одной из остановок Гиляровский стремительно вылетел из вагона и через минуту возвратился обратно. Оказывается, он заметил на остановке одного из своих опекаемых и выскочил, чтобы сунуть ему деньги. Это выглядело немного странно, но потому его и называли оригиналом, человеком из легенды, что его действия часто выходили за общие рамки. Он не только помогал тем, кто к нему приходил, но и сам находил нуждающихся. Можно привести такой пример. Улица кишмя кишит народом, туда и обратно двигаются люди всякого вида, возраста и достатка. Вот показывается человек в сбитых ботинках, в костюме не первой свежести, в широкой шляпе, из-под которой выбиваются длинные волосы. «Кажется, актер», — срывается у Гиляровского, и он, загораживая дорогу неизвестному, протягивает ему руку:

— Гиляровский…

— Как же… Как же… Слыхал, знаю… Завязывается разговор. Выясняется, что неизвестный

действительно актер. Он рассказывает, откуда приехал, где играл, какие роли исполнял, и в том числе называет роль Наполеона. У них находятся общие знакомые. Но актер не может понять, зачем и почему его остановили. Однако это скоро выясняется. Гиляровский спрашивает, приятно улыбаясь:

— Пообедать-то сегодня есть на что? Актер конфузится, краснеет.

— Знаете ли… Видите ли…

А у Владимира Алексеевича уже сверкает в руке бумажка, которую он и сует ему. Тот поражен, растроган, благодарит.

— Я очень тронут, вы так относитесь… Писатель шутливо закругляет:

— Очень рад дать взаймы «Наполеону». До свиданья, заходите.

Гиляровский часто делился с беднотой своей трудовой копейкой и часто давал из последних.

Бывало и так. Утром на квартиру вваливается неизвестная старуха, крестьянка, в домотканой одежде, с кошелкой яиц в руках.

— Мне Елеровского, — говорит она.

Выясняется, что Гиляровский помог ей купить корову, и она в знак благодарности принесла ему яиц. Где находится деревня старухи, как попал Гиляровский туда и при каких обстоятельствах помог купить корову — этим дома никто не интересуется, это обычное явление.

Как-то вернувшись домой, Владимир Алексеевич услышал, как в кухне плачет домашняя работница. Она получила от матери из деревни письмо, в котором та писала, что у нее назначили на продажу с аукциона корову за неуплату оброка.

— Почему ты раньше не сказала? Попросила бы у меня денег, послала бы матери.

— Я посылала, мне Мария Ивановна денег дала, — отвечает работница со слезами, —

должно быть, недоимка большая, не хватило. Не знаю, сколько надо, только корову продадут, как бог свят, продадут, — решила она и снова заревела.

Дело требовало срочного решения. Отправлять деньги было нецелесообразно: они могли не попасть к сроку, а прислуга, если ее отправить в деревню, могла там в такое горячее время не добиться толку, и он решил поехать сам.

Гиляровский позвонил по телефону Струнникову и пригласил его в попутчики. Тот согласился. Они поездом поехали в Рязанскую или Тульскую губернию, высадились в каком-то городишке, а оттуда отправились в деревню на санях.

Мать всполошилась, узнав, что сам хозяин привез деньги. Она опустилась на колени и поклонилась ему в ноги. Недолго думая, Гиляровский тоже опустился на колени и поклонился в ноги старухе.

Приехали они, как выяснилось, вовремя. Начальство распорядилось назначить на завтра обход по деревне и отбирать у неплательщиков имущество. Как всегда, в зависимости от задолженности, отбирали у крестьян самовары, а если самовара нет, то брали тулуп или овцу; при большой задолженности уводили со двора корову или лошадь, даже если она была единственная скотина в хозяйстве. Таковы были нравы самодержавия.

Деревня, как рассказывал Струнников, была изумлена, узнав о причине приезда гостей. Мужики и бабы высыпали на улицу, толпились на снегу неподалеку от саней и качали головами от удивления. Слышались реплики:

— Ну и человек… Вот это да… Подумай только… Слыханное ли это дело, чтобы барин в кухаркину деревню приехал выручать корову.

Гиляровский зашел в волостное правление, а в городе — к земскому начальнику и просил, чтобы старуху не обижали.

Вот еще одна интересная деталь.

Летом 1933 года Гиляровских ограбили на даче. Грабители ворвались в дом, собрали в одну комнату домашних и заперли их на замок. Гиляровского дома не было, он был на прогулке в лесу. Зная это, бандиты выставили дозор.

Возвращаясь к завтраку, В. А. Гиляровский увидел около дома человека с финкой в руках. Он сразу почуял недоброе, насторожился, поняв, с кем имеет дело. Но не растерялся. Насупив седые брови, писатель строгим голосом скомандовал: «Убери!». Окрик возымел действие, вор повиновался: забрал финку внутрь рукава.

Гиляровскому в то время было уже 80 лет, он был глух и не видел на один глаз. Естественно, о сопротивлении здесь не могло быть и речи, тем более, что он волновался за домашних, не зная, какая участь их постигла.

Он сделал попытку повлиять на злоумышленников: назвал себя писателем, рассказал, кем он был, о ком писал и над чем теперь работает, и попросил оставить его в покое.

Преступники нагло ответили:

— Всякий занимается своим делом.

Его ввели в дом и заперли в той же комнате, где находились семейные. Увидев домашних целыми и невредимыми, только страшно перепуганными, он успокоился. Воры приступили к грабежу. Забрали все, даже коробки со спичками.

Об этом узнали в Москве. Районная милиция была поставлена на ноги. На другой день утром шайку арестовали, награбленные вещи полностью отобрали и возвратили владельцу.

Восьмидесятилетний писатель остался верен себе. Узнав, где содержатся арестованные, он отправился в дом заключения, поговорил с ними, расспросил, кто они, откуда, угостил табачком и, вернувшись домой, приказал домашним немедленно послать им передачу.

Спустя некоторое время, уже осужденные, преступники прислали Гиляровскому письмо из тюрьмы с извинениями за причиненное «беспокойство». Они писали: «Не знали мы, какой вы есть человек, мы ничего бы худого для вас не сделали». В конце письма они с неуверенностью просили: «…может статься, пожевать пришлете…».

— Может быть, выйдут из тюрьмы людьми, — сказал он, прочитав письмо. Было ясно, почему он посылал им передачу, почему ходил на свидание. Он видел в них прежде всего

людей, которым привык помогать, в защиту которых писал, людей, может быть, на время свихнувшихся. Ведь все в жизни бывает! Своим гуманным отношением он хотел дать им возможность одуматься и стать на правильный путь.

Щедро награжденный от природы исключительной физической силой, В. А. Гиляровский любил иногда выставить ее напоказ и при удобном случае повеселить, позабавить друзей. Бывало, у Чехова в Мелихове он посадит Антона Павловича в тачку и еще кого-нибудь из мужчин и катает их по аллее. В гостях у кого-нибудь скрутит за столом обеденную или чайную ложку винтом, согнет пополам двугривенный.

Сотрудник «Русского слова» С. В. Яблоновский так описывает знакомство В. А. Гиляровского с В. М. Дорошевичем. Человек внушительного веса и объема, В. М. Дорошевич, сидя однажды в редакции, почувствовал, как его вдруг вознесло на воздух вместе с креслом. Ничего не понимая, он оглянулся и увидел позади себя приземистого широкогрудого атлета, который держал его в своих объятиях вместе с креслом.

— Не бойся, сейчас тебя поставлю, — сказал силач на «ты», поставил кресло и отрекомендовался: Гиляровский.

Как-то, выйдя из ресторана с большой компанией, В. А. Гиляровский ухватился одной рукой за фонарь, а другой — за извозчичью пролетку и крикнул: «Погоняй!». Извозчик задергал вожжами, взмахнул кнутом, шумнул на клячу: «Но-о, пошла!». Лошадь напряглась, сделала усилие всей грудью, однако пролетку сдвинуть с места не смогла.

Природный юмор и неизбывная сила нередко проявлялись у него в незлобивом озорстве. Еще в детские и юные годы крепко любил он победокурить, за что был не раз наказан; слабость эта осталась и в зрелом возрасте. Но озорничал он всегда как-то мило, от полноты большой души, чтобы внести в общество оживление, посмешить людей.

Вздумалось ему проверить однажды работу Лондонского и Московского почтамтов. Он взял лист чистой почтовой бумаги, вложил в конверт и надписал: «Лондон, Вшивая горка. В. А. Гиляровскому». Через две недели письмо вернулось в Москву со штампом лондонской почты: «В Лондоне Вшивой горки нет». На конверте не было обратного адреса подателя, но письмо было доставлено ему Московским почтамтом в день прибытия из-за границы. Он заметил: «Лондонский почтамт должен был бы написать, что «Вшивой горки в Лондоне нет и что по справке адресного стола Гиляровский проживающим в Лондоне не значится». А Московский почтамт это сделал бы. Значит, Московский почтамт работает лучше Лондонского».

Кем-то было сказано, что читатель скорее способен присвоить книгу, нежели ее усвоить. Гиляровский часто страдал от того, что ему не возвращали книги. Тогда он придумал своеобразный экслибрис, который ставил на каждой книге. На экслибрисе было написано: «Эта книга украдена из библиотеки В. А. Гиляровского». Надпись возымела свое действие: книги стали возвращаться без задержки.

Открылась в Москве выставка «Ослиный хвост», вызвавшая в свое время много шума и критики. В. А. Гиляровский, как строгий, выдержанный реалист, относился к декадентам отрицательно, но, по заведенному обычаю, аккуратно посещал все выставки без исключения. На этой выставке мне пришлось быть с ним вместе. В одном из залов он обратил внимание на картину «Голубое в зеленом» или что-то *в* этом роде. С какой стороны ни зайдешь — ничего понять невозможно. Народу в зале было мало. Недолго думая, Владимир Алексеевич притащил стул, взобрался на него и быстро повесил эту картину вверх ногами.

Спустя некоторое время он заинтересовался: а как теперь висит картина? С озорными искорками в глазах, он предложил мне снова поехать на выставку. Приехали. Вошли в зал. Картина, к его удовольствию, висела по-прежнему в перевернутом виде. Никто не заметил ее неправильного положения. Так она и провисела до самого закрытия выставки…

При встрече с кем-нибудь на улице у него в руках сейчас же появлялась традиционная серебряная табакерка, а иногда и золотая — подарок друзей. Писали уже, что без табакерки его представить было невозможно. Табакерка служила ему «палочкой-выручалочкой», она помогала заводить новые знакомства, что было очень важно в работе журналиста. Он,

бывало, открывает табакерку и прежде всего подносит ее тому, с кем надо познакомиться. Тот улыбается и, непривычный к подобному угощению, говорит: «Спасибо», отказываясь тем от понюшки. Гиляровский настойчив.

— Из этой табакерки нюхал Толстой, — скажет он, и тут уж трудно отказаться. Незнакомец тянет щепотку из табакерки. За понюшкой следует обычное «апчхи». В ответ на чиханье раздается «будьте здоровы», смех, и вот люди познакомились. Затем завязывается шутливый разговор, а отсюда недалеко и до серьезного. И часто бывали случаи, когда новые знакомые давали ему кончик нити, помогающей размотать целый клубок какого-нибудь крупного дела.

Табаком он угощал всех: вельмож, миллионеров, писателей, актеров, почтальонов, дворников, швейцаров, городовых, рабочих и говорил: «У меня все равны».